

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 3 / 2 0 1 4



ВЛАДИСЛАВ
ОТРОШЕНКО
НОВОЧЕРКАССК

4



НАТАЛЬЯ
РУБАНОВА
МОСКВА

31



ИВАН
ЧУРКИН
САРОВ

64



ИГОРЬ
ЧУРДАЕВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

85



ИРИНА
КОРОТЕЕВА
РОСТОВ-НА-ДОНУ

95



АЛЕКСАНДР
ЛУШИН
НИЖНИЙ НОВГОРОД

131



МАРГАРИТА
ФИНЮКОВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД

170



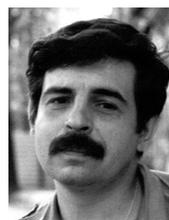
СЕМЁН
ПЕГОВ
МОСКВА

173



МИХАИЛ
ТАРКОВСКИЙ
КРАСНОЯРСКИЙ
КРАЙ

176



НИКОЛАЙ
МОРОЗИН
НИЖНИЙ НОВГОРОД

184



ОЛЕГ
ЗАХАРОВ
КСТОВО

205



ПАВЕЛ
КРУСАНОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

244



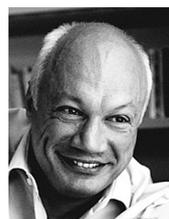
ВАЛЕРИЯ
БЕЛОНОГОВА
НИЖНИЙ НОВГОРОД

249



ЭДУАРД
КУЗНЕЦОВ
НИЖНИЙ НОВГОРОД

254



ЭРИК-ЭММАНУИЛ
ШМИТТ
БРЮССЕЛЬ

271

В НОМЕРЕ

Проза

Владислав ОТРОШЕНКО	
НОВОЧЕРКАССК	4
Наталья РУБАНОВА	
ВОСЬМАЯ НОТА	31
Мария АНУФРИЕВА	
ПОГОВОРИТЬ	47
Ольга РЁСНЕС	
ПО СОСЕДСТВУ	53
Иван ЧУРКИН	
ОЗОРНЫЕ БАРЫШНИ	64
БЫЛИЧКИ МАТУШКИ ПЬЯНЫ-РЕКИ	74

Поэзия

Игорь ЧУРДАЛЁВ	
МЫ ВРЕМЯ ОТЛАГАЛИ НА ПОТОМ...	85
Алексей ОСТУДИН	
ДО СУТИ НЕ ДОБРАТЬСЯ АВТОСТОПОМ...	90

Проза

Ирина КОРОТЕЕВА	
ПРО ЛЮБОВЬ	95
ДЕД	98
Георгий ПАНКРАТОВ	
СКРИПКА	101
Александр ЛУШИН	
МУХА БЛЯХА	131
ПОЕЗДКА В НИСУ	135
ТАЙНА ЩЕЛОКОВСКОГО ХУТОРА	141
Владимир НОВИКОВ	
НЕИСПРАВИМЫЙ	143
Александр МАРДАНЬ	
МЕНЮ	150
Дмитрий ВОРОНИН	
ТАКСИ	157
Дмитрий МАКАРОВ	
ДОРОГА К БОГУ	160
Сергей БЕЛОЗЕРОВ	
ПЕРЕЛОМНЫЕ МОМЕНТЫ	165
ГОЛОСА	169

Поэзия

Маргарита ФИНЮКОВА	
ЗНАТЬ, ЧТО СЧАСТЬЕ – ЕСТЬ!	170
Семён ПЕГОВ	
НАШУ ЛОДКУ ЛЮБИМИ ВОЛНАМИ КАЧАЙ...	173
Михаил ТАРКОВСКИЙ	
КАМЕНЬ	176

Публицистика

Николай БЕНЕДИКТОВ ОН ШЕЛ ПУТЕМ ПУШКИНА. К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова	179
Николай МОРОХИН СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ	184

Стихи по кругу

Евгений ЭРАСТОВ	191
Александр КЛИНДУХОВ	197
Юрий ТАТАРЕНКО	193
Ирина ДЕМЕНТЬЕВА	195
Екатерина КАРГОПОЛЬЦЕВА	196
Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ	197
Владимир ЛЕБЕДЕВ	198

Критический подход

Рамиль САРЧИН НА ЯЗЫКЕ ТРАВЫ. О поэзии Евгения Эрастова	200
Олег ЗАХАРОВ КАК НЕ НАДО ПИСАТЬ ПАРОДИИ	205
Николай БЕНЕДИКТОВ БЕЗ ФИМИАМА. «Прославит» ли Бог князя Грузинского?	217

Переводы

Весна КАПОР (перевод Оливера Жеренича) КАК В КИНОТЕАТРЕ	222
БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ	227

Вехи памяти

Розалия КУЗНЕЦОВА ЗАВЕТЫ ПАВЛА ФИЛОНОВА	232
Павел КРУСАНОВ ДАЙТЕ ЕМУ КУСОК КАМНЯ. Об увековечении памяти Николая Гумилева	244
Валерия БЕЛОНОГОВА НИЖЕГОРОДСКАЯ «МАДАМ КУРДЮКОВА»	249
Эдуард КУЗНЕЦОВ «ОБЛАДАЯ СТРАШНЫМ БАСОМ...» Фёдор Шаляпин в эпиграммах и шаржах	254

Круг чтения

Юрий НЕМЦОВ СЛЕДОВАТЕЛЬНО – СУЩЕСТВУЮ	263
Эрик-Эммануил ШМИТТ ЧИТАЮЩИЙ РЕБЁНОК – ЭТО СПАСЁННЫЙ РЕБЁНОК	271
ВКУС КЛАССИКИ. Дайджест от редакции	274

Владислав ОТРОШЕНКО

Родился в 1959 году в Новочеркасске. Окончил факультет журналистики МГУ. Член Русского ПЕН Центра и Союза российских писателей. Прозаик, эссеист.

Автор книг «Персона вне достоверности», «Тайная история творений», «Веди меня, слепец», «Приложение к фотоальбому», «Дело об инженерском городе», «Двор прадеда Гриши», «Гоголиана и другие истории». Лауреат премий «Ясная Поляна» им. Л.Н. Толстого, Ивана Петровича Белкина за лучшую повесть на русском языке, Горьковской литературной премии, Международной литературной премии Италии «Гринцане Кавур», V Берлинского международного литературного конкурса «Лучшая книга года 2014» (золотая медаль). Произведения писателя переведены на многие языки.

Живет в Москве.

НОВОЧЕРКАССК

Повесть в рассказах

Плохая жаба

– Ты всё, батюшка, в одной поре, – говорили Троне нищенки, сидевшие на паперти Войскового собора. Троня тоже там иногда сидел среди нищенок – сидел спокойно, прямо, положив руки на колени и глядя куда то в пространство соборной площади, открытой ветру и солнцу. Он мог часами сидеть так, не обращая внимания ни на нищенок, ни на добротнo одетых старух, которые терпеливо и аккуратно, стараясь не заслонять ему зрелища, топтались рядом с ним, протягивая ему время от времени маленькие узелки, зажатые в ладонях.

– Возьми у меня, Трофим... У меня возьми, – повторяли старухи тихо и монотонно, опасаясь Троню спугнуть: в любую минуту он мог подняться и уйти от собора прочь, не взяв узелок ни у кого.

В узелках были завернуты жабы.

Троня вдруг вставал решительно – так, словно собирался двинуться в путь. Но куда не двигался. Выхватывал узелок у какой-нибудь старухи, разворачивал жабу и поднимал её высоко двумя руками за передние лапки. Какое-то время он смотрел на нее с интересом. А потом вдруг шмякал её о гранитные ступеньки, так, что она разлеталась в брызги, и говорил старухе быстро-быстро:

– Плохая у тебя жаба, скоро сдохнешь, иди домой, становись коромыслом, жопу печке показывай!

И старуха отходила, нисколько не обижаясь на Троню; пятилась вниз по ступенькам, кланялась – благодарила его за верную весть.

Благодарили Троню и другие старухи – те, которых он бил живой жабой по лбу и по щекам.

– Благословляет! – радостно объясняли они друг дружке. – Ещё поживем.

– А сам-то он – сколько живёт? – спрашивал я у старух, пользуясь случаем: бабушка иногда посылала меня к собору, чтобы я отыскал там Троню и довёл его до дома, – ей вообразалось, что Троня, любивший ходить по улицам скорым шагом и в одном направлении, нечаянно выйдет из города в степь по Крещенскому спуску и будет идти и идти – до Кавказских гор, до Чёрного моря.

– А ты вот у него самого и узнай – сколько... Или – у бабушки своей, – мирно отвечали мне одни. Другие же отвечали недружелюбно.

– Нисколько. Никогда не рождался, никогда не умирал, – говорили. – Ступай себе, ступай...

Но я и не думал «ступать». Позабыв о бабушкином поручении, я принимался дразнить неприветливых старух.

– Все рождаются и умирают, – пререкался я с ними. И азартно крутил им дули в ответ на их возражения; пугал их плохими жабами, особенно ту – маленькую, остроносую, с индюшачьими щеками, катавшимися по воротнику черного бархатного жакета, – которая тараторила злее всех, мотая головой и ругая меня «малахольным чёртом».

– Вот увидишь, – пообещал я ей однажды, – завтра Троня твою жабу так хлобыстнет, что она и квакнуть не успеет!

Но назавтра Троня к собору не пришёл.

Помню, в тот день Фирс разбудил меня чуть свет. Я спал во дворе на топчане под вишней, и снился мне, быть может, только первый сон, потому что до глубокой ночи, забравшись на крышу высокого каменного сарая с тремя арочными дверями и множеством квадратных окошек под самой крышей (когда-то давно – когда бабушка Анна была гимназисткой – этот сарай был конюшней), я разглядывал луну в тот вожделенный древний телескоп на чугунной ножке, который беспризорно кочевал по всей округе – скакал по Кавказской и по Почтовой; не раз поднимался вверх по спуску Разина до самой Архангельской, до её щеголеватых домов, красовавшихся вблизи Атаманского сада; едва не сгинул где-то на нижних дремотных улицах у берегов Аксяя и таки очутился у меня, выменянный на стайку жемчужных гурами.

Растолкав, Фирс затащил меня – ещё полусонного – по шаткой деревянной лестнице на крышу сарая, туда, где я ночью оставил телескоп и откуда днём хорошо виделись и левый берег Аксяя, огибающего город с юга, и все аксайское займище, поросшее камышами и низкими ивами, и гладкая – без камышей, без ив, – ясная степь за займищем, бледно и ровно желтевшая до берега Дона, до пёстрога края утренних небес.

Фирс одной рукой отчаянно тряс в воздухе, указывая ею высоко в степь; другой – он шевелил мою голову, то приподнимая её, то опуская, – нацеливал мои глаза, пока я наконец не разглядел у самого горизонта, там, где уже чувствовался яркий свет от невидимого Дона, человеческую фигурку.

– Ква-ква! – вдруг прозвучало у моего уха. И я, окончательно пробуждаясь, мгновенно вспомнил, как вспоминают ускользящее сновидение, и вчерашних жаб, и маленькую старуху в засаленном бархатном жакете, и невыполненное бабушкино поручение, и свое страшное обещание той старухе – тоже невыполненное.

– Ква-ква!

Это говорил Фирс, умевший произносить некоторые звуки.

«Ква-ква» – так он называл Троню, умевшего предсказывать по жабам жизнь и смерть...

Как у латыша

Троне было... не знаю, сколько лет. Никто не знал. Нельзя было этого определить. Иногда я присматривался к нему, и мне казалось, что лет ему столько же, сколько соседскому древнему деду Корнею Манилову, давно уже разучившемуся толком бодрствовать, но ещё не избавившемуся окончательно от лютой своей непоседливости, которая каждое утро выгоняла его вон из дома с ведром или с сумкой на средину улицы, где он и дремал до вечера, выставив ногу далеко вперед.

В другие минуты, бывало, я говорил себе, украдкой разглядывая Троню, что он нисколько не старше здорового, с длинным лицом латыша, который квартировал круглый год без дров и без угля у бабушки моей, Анны, в прохладных низах – нижних, наполовину утопленных в землю комнатах – и который так и приманивал к её дому окрестных балдушек, потому что весь был покрыт рыжей шерстью, мелко на нем кучерявившейся от весёлой природы и молодости.

Порой я целыми днями развлекал себя тем, что разгадывал возраст Трони. Но развлечение это, не прельщавшее, к моему огорчению, никого, кроме немого Фирса – он сидел вместе со мною на корточках возле палисадника и азартно разглаживал пыльную кашу на тропинке, готовя место для новой цифры: «18», ещё более невероятной, чем прежняя: «90», нарисованная им же, – это развлечение только и делало, что развлекало. Никаких устойчивых результатов оно не приносило, потому что сравнивать Троню по возрасту можно было с кем угодно – хоть с латышом, хоть с дедом Корнеем, хоть с Фирсом, писавшим, указывая на себя, – «35».

Сам Троня от этих сравнений не менялся. Совсем не менялся.

Не менялся никак – ни молодец, ни старел. Всегда был одинаковый – в бумазейной тёплой рубашке зелёного цвета, застёгнутой на все пуговички под самое горло, и в коричневых полотняных брюках, подпоясанных узким кожаным ремешком очень высоко, чуть ли не под мышками; тонкие губы его всегда были крепко сжаты, всегда были растянуты в прямую линию, а выпуклый сморщенный подбородок беспрестанно вздрагивал – так, что если смотреть только на губы и подбородок, не заглядывая в безмятежно приветливые, крошечные Тронины глаза, глубоко запрятанные в тёмных глазницах под высоким и гладким лбом, то можно было нечаянно подумать, будто Троня чем-то сильно обижен и будто бы он подыскивает злобным умом в отместку за эту обиду дерзкое слово, которое он вот сейчас и выпалит.

Нет, конечно же, в каком то времени, о котором даже бабушка Анна, отличавшаяся от своих младших сестер, моих двоюродных бабок, Наты и Ангелины, не только жизнерадостной набожностью, но и особого рода, жизнотворной, памятью, рассуждала сбивчиво, называя его то временем атамана Самсонова – «покойного», говорила она, как будто Самсонов упокоился в прошлую пятницу в своём доме на Троицкой площади, именуемой отчего то площадью Октябрьской Революции, то временем этой самой революции, то временем после неё, – в каком то времени существовал, должен был существовать такой день, когда Троня появился на свет.

Но Троня о таком необычном времени и о таком особенном дне не имел ни малейшего представления. А поскольку жил он во все времена один – на Кавказской улице в Новочеркасске, на чётной её стороне, густо заросшей чайными розами и кустами дикой жердёлы, прямо напротив дома

бабушки Анны, то и спросить о том, сколько Троне лет, было не у кого. Да и кому бы это и для чего могло понадобиться – выведывать, старый Троня или молодой? В округе просто все знали, что вот, есть Троня.

Бабушка Анна ласково называла его – если говорила о нём заглазно – Тронечкой блаженным. В глаза же обращалась к нему обыденно, без всякой ласковости – Троня, Трофим. Разговаривала с ним различно: когда – вежливо, когда – шутливо, когда – взыскательно. Так же, как и со мной. Если же мне случалось назвать Троню Троней-дурачком – а случалось это обычно тогда, когда для какой-то неясной цели, для того, чтобы оживить событием бесплодный послеполуденный час, посеявший дрему по всей округе, я подзывал к высоким парадным дверям бабушкиного дома Троню, шагавшего неизвестно куда по улице, приоткрывал двери и громко, во весь голос, так, чтобы бабушка могла меня расслышать из отдалённых комнат, сообщал: «К нам Троня-дурачок пришел!» – если это случалось, то бабушка как-то чересчур уж быстро появлялась в передней, куда я едва успевал войти вместе с Троней, осторожно подталкивая его в спину, чересчур уж быстро сбегала вниз по истёртым каменным ступенькам, сплошь усеянным фиолетовыми, рубиновыми, изумрудными и медовыми пятнами света, перенявшего окраску витражных стекол в круглом окне над дверью, и так же быстро, казалось, гораздо быстрее, чем эти пятна замирали на прежних местах, скользнув по бабушкиному платью, награждала меня за моё сообщение зычными подзатыльниками – одним... другим... третьим, – говоря Троне:

– Не слушай его, Трофим! Это он – дурачок. А ты – умный.

Троня искренне радовался такому обороту дела. Он бил себя по затылку обеими ладонями (изображал моё наказание) и весело восклицал:

– Так его, бабушка! Так его, так его! Он – дурачок, а я – умный!..

– И богатый! – вдруг добавлял он важно. И бабушка замирала. Испуганно настораживалась, предчувствуя что-то недоброе.

И недоброе случалось.

Троня запускал руку в свой необыкновенно глубокий – до колена – карман, вытаскивал оттуда железный рубль, вертел его пальцами высоко над головой и объявлял:

– Вот, бабушка, у меня рублик! А у него – как у латыша – хрен да душа!

«Хрен да душа!.. хрен да душа!..» – доносилось уже с улицы, с её противоположной – жаркой, солнечной – стороны, по которой Троня быстро шагал куда то сквозь мутно лоснящийся воздух, продолжая свой бодрый путь наперекор полуденному зною.

Вареник счастья

В рождественскую ночь к бабушке Анне приходили колядовать ряженные со всей округи.

Приходил немой Фирс, переодетый в толстую бабу так ловко, – щёки нарумянены, на голове по бокам скрученные косы, под платьем задница и сиськи из подушек – как настоящие, – что узнать его было бы невозможно, если бы Фирс молчал, когда все хором запевали колядку.

Шли мы степью к вам, несли лодочку,
Никого в степи не обидели,
Только в небо мы смотрели – да на звёздочку,
Мы младенчика Христа в небе видели!

Но Фирсу не хотелось молча получать от бабушки Анны подарки – серебряную мелочь, новые рукавицы, шарф, – и он тоже по-своему пел колядку.

– Му мы мы! Му мы мы! – мелодично мычал он, вытягивая шею и подплясывая на месте.

Поднимался из низов латыш – страшный, босой, с огромным посохом и лохматою бородою из пакли, завёрнутый от колен до подмышек прямо поверх собственной шерсти в седую косулюшку, по которой в другое время он расхаживал у себя в низах с гантелями или эспандером в одной только этой своей рыжей шерсти, разглядывая в зеркале то широкую грудь, то длинные крепкие ягодицы.

Вваливался в двери с мороза вместе с клубами сверкающего пара дед Манилов – бабка Манилиха вела его на поводке, переодетого в медведя; сама же была в сапогах, в атласных огненных шароварах, в намалеванных черных усах и в сереге кольцом – представлялась цыганом.

– Гэй на на нэ, золотой! – кричала она медведю не своим голосом. – А ну, кувыркайся, милок, потешай народ!

Грозно стучал кулаком в двери отец Василий, поп Васёк, живший на вершине спуска Разина в мрачно красивом доме при Александровской церкви, уже много лет закрытой, – стучал, тарабанил, а потом вдруг вошёл, вкатывался – маленький, круглый, весь в ужасных обмотках, в тряпках, в дырявых платках, в облезлой шубёнке. «Подайте заради праздничка нищему бродяге!» – весело вопил.

В тулупах наизнанку заскакивали вслед за ним маниловские близняшки, внучки деда Манилова, – на головах пустые тыквы, в которых вырезаны круглые глаза и улыбающиеся рты.

Троня тоже в рождественскую ночь переодевался.

Оставаясь, как есть, в своих полотняных брюках и бумазейной рубашке (мороз, как и зной, ему был нипочем), он надевал на голову самую обыкновенную шляпу, такую же, в какой ходил на работу сын Ангелины Лёсик, начальствовавший над кинотеатром в Атаманском саду, и воображал, что он наряжен до неузнаваемости.

Приходил же Троня позже всех. Подкрадывался к парадным дверям, стараясь не наступать на озарённый горящими окнами снег. Рядом с дверями на косяке был электрический звонок, жалобно пищавший в передней; был и другой звонок, тот, с которым я водил задушевную дружбу, потому что он бодро стрекотал на весь дом, если сильно повернуть вертушку, торчавшую в дверной створке и похожую на увеличенный ключик для заводной игрушки; было и тяжелое бронзовое кольцо с глубокой ложбинкой под ним, народившейся за сто лет от ударов в двери.

Но Троня не прикасался ни к звонку, ни к вертушке, ни к бронзовому кольцу. Он стоял в шляпе под дверями, втянув голову в плечи, – так, что плечи упирались в уши, – и негромко выкрикивал:

– Тук-тук! Кто-то пришёл!

Расслышать его сразу было невозможно, потому что в передней уже стоял весёлый шум, сопровождавший долгожданное действие: бабушка Анна, отпробовав под пение колядок кутьи, которую принесли ряженые, уже бросала им в мешки подарки и деньги, а Ната и Ангелина уже выносили из соседнего зала, наполненного запахом разогретой хвои и тёплых свечных огней, те волшебные вареники, которые с вечера наготовила Анна. Во всех варениках – творог и только в трёх – творога нет.

В одном – мукá: кому он попадет на вилку из большой фарфоровой чашки, на дне которой усердно загалкивают в штормящее море парусник

не то разбойники, не то рыбаки, тому – му́ка весь год. Другой – пустой, весь из теста: кто его съест, тому не будет ни добра, ни худа. А в третьем – серебряный рубль с поцарапанной головой царя Николая, – это вареник счастья...

– Тук-тук! Кто-то пришел! – выкрикивал Троня чуть погромче. – Тук-тук! – старательно повторял он до тех пор, пока, наконец, маниловские близняшки, вдруг услышавшие его из-под своих тыкв, не открывали ему двери, приложив указательные пальцы к вырезанным в тыквах рта.

Троня входил в переднюю шаркающими мелкими шажками, всё так же держа голову втянутой в плечи по самые уши: изображал незнакомца.

– Ой, да кто это?! – удивленно вскрикивала бабушка Анна, притворяясь, что она Троню не узнаёт.

Притворялась и Ната.

– Да это же наш латыш! – говорила она, складывая перед собою ладони и пятясь назад, на самого латыша, возвышавшегося за ней и давно уже всеми опознанного по кучерявой шерсти и могучему росту.

– Да нет же, Наточка, нет же! Это мой Лёсик! Мой Лёсик! – быстро возражала ей Ангелина, тряся в воздухе костистыми длинными пальцами. – Вот посмотри, посмотри – и шляпа его... фетровая, серенькая! – бойко щебетала она.

Но Троне не хотелось быть ни латышом, ни Лёсиком.

Не меняя выражения своего тела – как бы прячась всем телом под маленькой шляпой, – Троня стоял посреди передней и затаённо ждал других предположений... Ждал, ждал; поворачивал глаза из стороны в сторону, улыбаясь своей особенной улыбкой, не всем лицом, а только морщинами возле глаз и на носу, – в губах же и подбородке сидела, как всегда неразрушимая обида, – и вдруг не выдерживал, снимал шляпу и уверенно выкрикивал:

– Я Фирс!

– Да как же это – Фирс, миленький? – ласково сомневалась Ната. – Фирс не разговаривает.

– Фирс! Фирс! – повторял Троня ещё более уверенно. И тут же, указывая на латыша, радостно сообщал: – А вон то – чёрт!

И сердце у меня вздрагивало. Потому что я отчётливо представлял, что сейчас сделает Троня... Вот сейчас – уже виделось мне – он коротко топнет двумя ногами и, выплясывая, забрасывая на затылок то одну, то другую ладонь, громко, с ядовитым задором пропоёт те слова, которые однажды уже пел на улице:

Чёрт! Чёрт! Рыжий чёрт!

В аду яйцами трясёт!

Девочками зовёт!

«Да каких же это девочек, Тронечка?» – уже слышался мне строгий голос Ангелины, чьё неуёмное любопытство всегда таило в себе и простодушие, и коварство. Слышался мне и голос Трони, знающего всё, что происходит в округе, на свете, и отвечающего старательно и беззлобно, даже поощрительно: «А вот таких, бабушка Глина, с которыми ваш внучек играет в карты... Хороших... Балдушек...»

Но, на мою счастье, так, как мне виделось, как мне слышалось, в ту рождественскую ночь не случилось, хотя и должно было случиться наверняка.

Спасая себя, я быстро и деловито, интонацией Ангелины, проговорил, напомнил: «А что ж мы ряженого-то не угощаем варениками?» И тут же

протянул Троне на вилке тот вареник, который за минуту до этого я нечаянно выловил из чашки и в котором – я это знал, потому что вилка в варенике уперлась во что-то твердое и беззвучно там царапнула, – был серебряный рубль с головой царя Николая.

Минуту спустя, когда Троня надкусил волшебный вареник и извлёк из него под всеобщее ликование своё счастье на целый год, я уже был спокоен. Железные рубли, чья бы голова на них ни красовалась – царя или Ленина, – Троня страшно любил. Он крепко сжал в кулаке царский рубль, повернулся, метнулся в открытую дверь, в темноту, в сверкающую метель, и там исчез...

Майя

Вечерами она тихонько стучала в окно моей комнаты, а когда я выглядывал на её стук, она быстро снимала с головы круглую, в мелких дырочках шляпку, выпуская на волю свои косы, чтобы по этим косам, коротким, пружинистым, с вплетёнными в них разноцветными ленточками, я тут же узнал её, отличил от сестры...

Это была Майя, та из близняшек – близняшка-балдушка, – которая охотно разрешала целовать себя в губы, когда проигрывала мне в карты. Когда же проигрывал я – ей и её хитрым подругам, Олимпиаде и Саше, – мне приходилось показывать им латыша: таково было их требование; такова была моя ставка.

Мы играли в полуразрушенной, обросшей кустами шиповника и вьющимся хмелем, каменной беседке, которую бабушка Анна называла Платовской ротондой (Троня говорил: «ритонда»); другую ротонду, точно такую же, но ухоженную, выбеленную, сохранившую при себе только один сиреневый кустик, торчавший из-под железной купольной крыши, она называла Максимовской, потому что её построили при атамане Максимове, – прибавили к Платовской аж через век; обе стояли на середине спуска Разина по разным его сторонам и были хорошо видны из окон бабушкиного дома, но меня это нисколько не беспокоило, потому что Платовская ротонда даже днём не просматривалась насквозь. Мы же играли поздним вечером.

Олимпиада и Саша сидели прямо на круглом мраморном столе, разложив по нему свои короткие расклешённые юбки и маленькие сумочки.

Майя стояла рядом со мной и наверняка заглядывала ко мне в карты, хотя я и прятал их от карманного фонарика, которым нам светила её сестрица, вторая близняшка, Катя, сама никогда не игравшая и даже гордо удалявшаяся из ротонды, когда я получал свой выигрыш... Я играл кое-как, потому что голова у меня шла кругом – от звона цикад, от пения сверчков, от запаха цветущего хмеля, от протяжных, хрустящих щелчков зажигалки, вслед за которыми бойко разгоралась мятная сигарета, озарявшая то и дело подкрашенные губы Олимпиады, от ночи, от звёздного неба, струившегося сквозь громадные дыры в крыше, от самого воздуха в ротонде, расшитого стараниями светлячков фиолетовыми искрящимися узорами, и от того, что Катя иногда вдруг освещала подвижным лучом фонарика беспечно расставленные коленки моих противниц, восседавших по-турецки на столе. Взгляд мой сливался с этим жёлтым дрожащим лучом, и я уже не мог обдумать свой ход, думая только о той завораживающей тени в глубине меж скрещённых ног, которую слабый луч света не успевал разрушить, беспорядочно прыгая по ногам, – одни были темными, лоснящимися, они принадлежали Олимпиаде, высокой, смуглой, носившей толстую чёрную

косу до поясницы; другие были светлыми, светящимися, в свежих мелких царапинах выше коленок... Мне хотелось выиграть трижды, чтобы поцеловать и Майю, и Сашу, и Олимпиаду – в её накрашенные мутно блестящие губы. Но этого не случилось.

Мой выигрыш всегда был очень скудный – один поцелуй Майи, который она прерывала небрежным шлепком по моей щеке и возгласом: «Хватит! Играем дальше...»

Проиграв, я заводил балдушек во двор тайным ходом через узкий, шириной всего в один шаг проулок, образовавшийся оттого, что соседний дом примыкал не вплотную глухой стеной к глухой же стене бабушкиного дома. От улицы проулок был загорожен высокой железной калиткой, закрытой изнутри на засов, который я заранее, с вечера, отодвигал, предвидя свои неизбежные проигрыши. Запустив за калитку Майю, Сашу и Олимпиаду, я сначала пробирался один, стараясь не хрустеть каменной крошкой под ногами, до угла дома, до конца проулка, туда, где гранитные шатающиеся ступеньки выводили во двор, прямо под древний полувысохший абрикос, чудом приносивший плоды величиною с куриное яйцо, а потом уже взмахом руки звал за собой балдушек, убедившись, что во дворе никого нет и что окна у латыша горят – здесь, со двора, они выступали из земли, из узких, выложенных ракушечником ям, гораздо выше, чем с фасада, и здесь латыш их никогда не зашторивал. «Один, два, три, четыре... девяносто восемь, девяносто девять...» – считал я до ста двадцати, добросовестно отмеряя те две минуты, во время которых балдушки с веселым и жадным интересом разглядывали латыша, сдвинув головы, зажав ладони коленками и наклонившись на прямых ногах над окном так низко, что их задравшиеся юбки открывали мне сочное, разноцветное и сплоченное зрелище, поднимавшее во мне от живота до ключиц знобящую волну, но взглядеться как следует я, увы, не мог: я осматривал то и дело двор, стоя на страже под абрикосом...

Играть в дурака на свои поцелуи и на моего латыша Майя и её подружки готовы были хоть зимой, хоть летом, потому что голым у себя в низах латыш расхаживал во всякое время года, отважно делая гимнастику. И только весной, ранней весной, когда в воздухе впервые после зимы обнаруживался смешанный запах тёплых камней, влажной пыли и нарождающейся травы, Майя не в силах была играть. Она не могла даже постучать в окно – отчётливо, коротко, так, как стучала всегда, вызывая меня на игру. Лишь однажды, в поздние мартовские сумерки, мне удалось расслышать за окном странный звук – точно по оконному стеклу разгуливал воробей. Я отодвинул штору и увидел руку – бледную лапку, царапавшую накрашенными ногтями стекло. А когда открыл окно, увидел и Майю.

Она была без шапки, без шляпки, в одном только зимнем пальто, из-под которого видны были её голые ключицы. Она стояла под окном, прижавшись щекой к стене, и тихо, как закливание, повторяла: «...К латышу... к латышу...» Потом замолчала, опустила руку и сползла по стене на землю, словно раненая или мертвая.

Печенеги

Лёсиком Лёсика звали потому, что он сам себя называл Лёсиком. Всегда сюсюкал, как сюсюкала когда-то, разговаривая с ним по-младенчески до самой его женитьбы, Ангелина, и всегда рассуждал о себе как о постороннем.

– Да сто вы к Лёсику плистали – покатай, покатай! Лёсик лаботал, Лёсик устал, – хмуро отвечал он близняшкам, когда те просили его, чтобы он покатал их на своем животе, как иногда катал меня.

– Ну покатай же, сладенький, хороший... покатай нас... как племянничка, – выдавливали они из себя, захлебываясь смехом и приседая от смеха на корточки.

– Племяннисик – худенький, легкий, – серьезно объяснял им Лёсик, – а вы узэ дылды, у вас зопы тязолые.

Катать меня верхом на своем животе Лёсику и вправду было легко и сподручно, потому что у него была особенная походка...

Помню, как он возвращался домой с работы, из кинотеатра. Шёл по спуску Разина вниз – не шёл, а словно съезжал по нему на спине, глядя в небо: так сильно приходилось ему заваливаться назад, чтобы перевесить выпуклый живот. Во дворе же, куда он старался попасть первым делом (любил полежать на топчане прежде, чем зайти в дом), Лёсик никогда не появлялся весь сразу. Сначала распахивалась маленькая калитка, врезанная в створку широких ворот, и заходили во двор – как бы сами собой – одни только его ноги; потом долго – и тоже самостоятельно – въезжал в калитку живот; за ним постепенно показывалась грудь; просовывалась подбородком вперёд голова – всегда при серой шляпе, лежавшей на лбу, на голубых глазах; последними объявлялись руки, висевшие далеко за спиной: в одной руке кожаная папка, в другой бутылка с красным вином.

Близняшки, хотя и изводили Лёсика просьбами (заведомо неисполнимыми: «покатай»; «отдай вино»; «подари папку»), но все же любили его. Часто встречали его на углу Кавказской и спуска Разина, где Лёсик останавливался и покорно ждал, не выпуская из рук бутылку и папку, пока близняшки шарили по его карманам – искали контрамарки на вечерний сеанс в кинотеатр, которые заготовил для них Лёсик. Находили, а потом преувеличенно и весело благодарили его: Майя вдруг отступала назад и отвешивала ему поклон, проводя рукой по траве, а Катя ставила ему на живот железную кружку, полную вишен, с которой Лёсик так и шёл домой. Меня в кинотеатр пускали без контрамарок на любой сеанс.

– Заходи, племяннисик дилектола, – говорили мне билетерши, пердразнивая Лёсика, которого они нисколько не боялись, потому что, во-первых, Лёсику всегда было безразлично, как разговаривают с ним или о нём, то есть о том Лёсике, на чье безмятежное существование он и сам – безмятежно же – взирал со стороны; а во-вторых, Лёсик редко добирался до кинотеатра, отправляясь на работу.

Кинотеатр стоял в самом центре Атаманского сада, поднимавшегося тремя террасами (на каждой – своя аллея) от церкви Александра Невского до дворца, который бабушка Анна, повергая в ужас Ангелину, тоже называла Атаманским. «Да ты, Анечка, с ума сошла!» – испуганно шептала ей Ангелина, называвшая дворец совсем по-другому – каркающим словом «горком». Как и дворец, кинотеатр был старинным, но не каменным, а деревянным, с огромными лирами на круглых белых плашках, прилепленных к бирюзовым стенам; с резными плоскими колоннами по углам и обширной, заплетенной дикой лозою верандой, которая выходила прямо в сквер, отгороженный от аллеи высокой выбеленной балюстрадой. Чтобы попасть в кинотеатр, нужно было зайти через низкую арку в сквер, где на выпуклых клумбах валялись – на боку, на спине, на животе – курганные бабы и где стоял, возвышаясь заостренной шатровой крышей над густыми кронами каштанов, буфетный павильон, похожий на парковую карусель. В этом-то павильоне, окольцованном глубоким каналом, по которому плавали, раздвигая ряску, утки, и

сидел целыми днями Лёсик. Иногда сидел до позднего вечера, до звёзд, до луны, до разноцветных огней, заживавшихся по краю павильонной крыши. Улыбаясь буфетчицам, которые время от времени меняли пузатые графины на его столе; улыбаясь всякому посетителю, перебравшемуся в павильон по сторбленному мостику, он курил одну за другой сухие хрустящие папироски и пил стакан за стаканом вино – но ничуть не пьянел, а только глаза его становились такими же бирюзовыми, как стены кинотеатра. За стенами крутилось кино – крутилось, мерцало, вспыхивало, разнообразно озаряя зал, казавшийся мне безграничным. Он был и в самом деле огромным, таким, что по нему было просторно летать воробьям и ласточкам. Экран, светившийся во всю ширину кинотеатра над высокой сценой, даже от кресел первого ряда был удален на большое расстояние. Я обычно сидел в первом ряду, хотя мне хотелось сидеть в последнем, там, где устраивалась со своими подружками Майя; там они пили украдкой вино, заранее купленное в павильоне; там Олимпиада сажала меня на колени и я, откинувшись назад, ощущал спиной её плоский тугой живот, твёрдые рёбра, тёплые груди, ощущал её крупные прохладные соски – они, казалось, сверлили мне лопатки и вливали в меня вместе с живой прохладой непобедимый яд, заставлявший все мое тело то дрожать, то цепенеть; там я вдыхал в себя, преодолевая кашель, мятный дым сигареты, которую Олимпиада вдруг подносила к моим губам, пряча в ладонях от взглядов билетёрш алый огонёк... Оттуда, с последнего ряда, мне хотелось смотреть кино. Но я не мог бросить Троню.

Кинотеатр Троню чем-то всегда привлекал, но заходить в него один он боялся – стоял у входных дверей и осторожно заглядывал в зал; с любопытством осматривал бронзовые светильники на стенах, деревянные кресла, покрытые черным лаком, слепо белеющий экран. Стоило мне подойти к дверям, как Троня хватал меня за руку и сам затаскивал меня в зал с таким решительным видом, как будто я, а не он, боялся туда войти. Он усаживался на первый ряд, куда и мне приходилось садиться, потому что моя рука была стиснута в его руке, словно в клещах, и он не отпускал её до тех пор, пока не заканчивалось кино.

Троне воображалось, что кино существует только одно, одно-единственное – то, которое он однажды видел вместе со мною: про печенегов. Про то, как летит на свирепых конях по степи громадное войско, всё в пушистых, пёстрых мехах, и про то, как падает с деревянной башни воин в остроконечном шлеме, успевая нащупать стрелу в груди и тихо вымолвить: «Печенеги...»

Что бы ни происходило на экране – плясала ли там, приставляя длинные пальцы к щекам, голоживотая индианка, бежал ли по крыше вагона хитрец-удалец в галифе, охотно стреляя из маузера во все стороны, целовал ли у моря растрёпанную девицу, жарко катаясь с ней по песку, гибкий и ласковый оборванец, – Троня ждал печенегов. И, не дождавшись, выкрикивал сам на весь зал:

– Печенеги!

– Да, печенеги, Тронечка, печенеги... Уже уехали, – успокаивала его Катя, часто сидевшая рядом со мною, когда я попадал к Троне в плен.

Она не хотела курить сигареты и пить вино с подружками Майи в последнем ряду. Она не переносила ни табачного дыма, ни вина, и поэтому я очень удивился, когда однажды – после того, как мы вышли с ней из кинотеатра в сквер, – она вдруг наклонилась к моему уху и прошептала: «Пойдем к Лёсику пить вино...»

Лёсик встретил нас в павильоне своей обычной, ласково-равнодушной улыбкой, как бы говорившей всему миру: вот он – Лёсик, вот он – тихий

вечер, вот оно – вино. Помню, эта улыбка не сходила с его лица ни тогда, когда Катя попросила его налить ей полный стакан вина, который она выпила быстро и лихо – зачем-то тряхнула даже головой над пустым стаканом, – ни тогда, когда она сама, не спрашивая Лёсика, наполнила вином стакан и протянула его мне.

Я тоже постарался выпить вино быстро, не показывая Кате, что я делаю это в первый раз. Горячий сладковатый дух перехватил мне горло, замер в груди, пополз вниз; какое-то время он медленно двигался у меня в животе, обдавая жаром мои внутренности, а потом вдруг помчался вверх, к голове и рассыпался там на тысячи хрустальных иголок. Они кололи мне голову изнутри; плясали снаружи на онемевших щеках. Я видел, как Катя снова наливает себе вино и снова пьёт его быстрыми глотками; видел не своими, а чьими то чужими скользящими глазами, как мы выходим из павильона в сквер; видел по губам Кати, как она что-то говорит Лёсику – но вникнуть в её слова я не мог, потому что мой слух отделился от меня и свободно плавал где то сбоку, вверху, в ночном небе, где дрожали и кружились размазанные звёзды...

Слух мой вернулся ко мне вместе с тошнотой в ту минуту, когда я обнаружил себя сидящим на плечах Лёсика. «Курва! Шалава! Слезай сию минуту!» – отчетливо услышал я голос Заиры, жены Лёсика. Черноволосая, кучерявая, всегда злобная и проворная, она бежала вверх по спуску Разина навстречу нам – навстречу мне, Лёсику и Кате, которая тоже сидела на Лёсике. Она сидела верхом на его животе и, широко раскинув длинные ноги, облокотившись на его грудь, весело распевала:

– Печенеги, печенеги едут с горки на телеге!

Её непослушная голова с двумя конскими хвостиками по бокам раскачивалась из стороны в сторону так сильно, что и Лёсик, никогда от вина не пьяневший, качался, как пьяный, и подпевал ей: «Едут, едут песенегии!..»

Планетарий

Поп Васёк был совсем не таким попом, какие служили в Войсковом соборе. Там они были важными, грозными, с длинными плоскими бородами по живот. У попа Васька борода была маленькая и такая же круглая, как и весь он сам. Он не то что охотно, а даже азартно играл в айданы со мной и Володей – сыном бабушки Наты, моим двоюродным дядей, который был старше меня всего на два года, – и с нашими друзьями Родей и Андреем. Иногда Васёк выигрывал у нас подчистую все айданы – такие маленькие квадратные косточки из коленки овцы. Их нужно было ставить рядом на кон – в прямоугольник, начерченный на земле, – и сбивать с расстояния десяти шагов *байбаком* – точно такой же косточкой, но покрупнее. Если байбак после удара становился на бок – это называлось *арцо*, – то можно было повторить удар с гораздо меньшего расстояния, оттуда, где выпадало арцо. У попа Васька байбак беспрестанно *арчил*, и поэтому он не метил им в кон, а просто *гнался* – подбрасывал байбак вплотную к кону, а потом сбивал им все айданы, закрутив его пальцами, запустив его по земле волчком. Обыгрывал нас и уходил, очень довольный, улыбающийся. Да ещё поучал: «Вот так надо играть в игру ваших пращуров, отроки никчёмные!»

Говорить с попом Васьком можно было о чем угодно: о рыбках, о марках, о телескопе, о Луне, о Боге – существует Он или нет?

– Существует, существует, – отвечал поп Васёк очень буднично (гораздо торжественней он объявлял: «Гонюсь!») – подбрасывая к кону непобе-

димый айдан). – И Бог существует, и Его Сын, и Богоматерь, и апостолы... У меня арцо, отроки!

– А попадья? – спрашивал кто-нибудь.

– Что попадья?

– Попадья существует?

– Я вот те дам попадью, сукин сын! Я вот те холку сейчас так обрею!

Только про попадью и нельзя было говорить с попом Васьком.

Попадью никто никогда не видел, и поэтому её воображали себе какой угодно. Одни говорили, что она старая, уродливая: все лицо в бородавках и жестких волосьях. Другие утверждали, что она страшно юная, тонкая и лицом необыкновенно красивая, но что есть у неё острый горб на спине.

– Да, красивая, но не тонкая и не горбатая, а огромная... Задница у неё вот такая! – возражал на это Володя, возражал и больше не вступал в спор; молча смотрел куда-то перед собою, остановив у пухлой, румяной щеки раскуренную сигаретку, и видно было, как в его светлых, мечтательно умных глазах всё разрастается и разрастается эта выдуманная им задница: одна половинка – как весь поп Васёк.

Вот об этом-то – существует ли попадья или нет – я и думал в тот день, когда мне удалось проникнуть незамеченным за чугунную ограду, которая охватывала скобой Александровскую церковь. Само это пространство за оградой, застывшее, сумрачное, пропитанное запахом плесневеющих кирпичей и затопленное сонной тишиной, манило меня своей непричастностью к окрестному подвижному миру. Меня манило там всё – и гранитные плиты у церковной стены, покрытые длинными надписями на неведомом мне языке; и низкий, кое-как заколоченный гнилыми досками дверной проём в стене, через который можно было забраться в церковный подвал; и валявшиеся под деревьями, вросшие в землю колокола; и дом попа Васька, узкий, длинный, в тяжёлой лепнине над окнами, закрытыми наглухо днём и ночью, зимой и летом деревянными ставнями, которые притягивали к себе мой взгляд так же властно, как закрытые выпуклые глаза и жёлтое лицо деда Корнея, когда того однажды вынесли на улицу в глубоком гробу... Но больше всего меня манила огромная тютюна, что росла за оградой у самой церкви, дотягиваясь верхними ветвями до высокого арочного окна, где в железной раме ещё торчали осколки разноцветных стёкол. Ни на одной тютюне в округе нельзя было найти таких ягод – белого налива, – как на этой. Они были сочными, нестерпимо сладкими, тучными – некоторые не уступали величиною грецкому ореху. Но добраться до этих вожделенных ягод было почти невозможно. Нет, конечно, пролезть через ограду, аккуратно просунув голову, а потом и все тело, между двух чугунных пик, не составляло труда. И я это делал не раз. А потом шёл к тютюне – крался к ней, ощущая, как каменеют от осторожных движений все мои сухожилия. Прежде чем забраться на дерево, нужно было наступить на толстую гранитную плиту под ним: она помогала подняться повыше и ухватиться за нижнюю ветку. Но я не торопился. Я стоял под тютюной, скованный точно такой же выжидательной неподвижностью, какую хранили серые ящерицы, гревшиеся на плите среди высеченных букв. Ящерицы смотрели на меня; я же присматривался к дому попа Васька. Там всё тихо и слепо. Нет ни единой щели между ставнями. Дверь, покрытая пылью и шелушащейся краской неясного цвета, выглядит так, как будто её не открывали уже много лет, как будто дом мертвый, заброшенный. Я наступаю на плиту – и дом оживает. Дверь распаивается, из нее вылетает поп Васёк и, радуясь удавшемуся коварству, кричит: «Куда, твою мать, по могиле протоиерея!»

Так было всегда.

Но так не могло быть в тот день, когда я забрался таки на тютину, тревожно спрашивая взглядом – у слепых окон, у запыленной двери, – существует ли попадьё? Попа Васька дома не было. В тот день, я это видел, он вышел из церковного двора, чем-то сильно озабоченный, и вместе с двумя другими попами, чьи розовые гладкие лица над плоскими бородами излучали спокойную строгость, отправился через Атаманский сад куда-то в сторону Дворцовой площади, одетый, как и эти попы, в чёрную рясу...

Целый день я смело разгуливал по церковному двору, уже не желая даже смотреть на дерево, накормившее меня своими плодами до сонного головокружения. К вечеру я обследовал во дворе всё, кроме древнего, похожего на карету, автомобиля, который стоял возле дома, в нескольких шагах от дверей, утопленный по толстые стекла, сплошь покрашенные белой масляной краской, в лопухи и бурьян.

Было уже темно, когда я решил забраться в автомобиль. Я с силой дернул дверцу, и она, опережая мое усилие, быстро и широко открылась. Из автомобиля с грохотом покатались, повалились наружу пустые бочки, вёдра, тазы. Они ещё продолжали шевелиться и гремять, когда под железным козырьком, висевшим на цепях над дверью, зажглась тусклая, грязная лампочка. Я успел спрятаться за угол дома прежде, чем дверь распахнулась и на крыльцо, составленное из двух каменных плит, осторожно вышла попадьё.

«Вот она, существует!» – мысленно воскликнул я, разглядывая ее. Худощавая, длиннорукая, затянутая в черное платье от голых ступней до шеи, она какое то время стояла неподвижно и, казалось, всем своим лицом вслушивалась в темноту, повернув его в мою сторону. Такого лица я никогда ещё в жизни не видел!

Глубокий шрам, тянувшийся наискось по правой щеке и задиравший край верхней губы так высоко, что из под нее виднелись два зуба вместе с деснами, делал это лицо не просто уродливым, а уродливым до отвращения. Но с этим нечаянным, нахально торжествующим уродством отважно боролась врожденная красота всех чёрт юного лица попадьё. И эта борьба, не проигранная и не выигранная, но живая, продолжающаяся, обладала такой завораживающей силой, что мне захотелось сию же минуту выйти из своего укрытия и сказать попадьё, что красивее её нет никого на свете, и даже поцеловать её в обезображенные губы. Но вместо этого я затаился ещё надёжнее – лег в лопухи, – потому что попадьё вдруг шагнула с крыльца в темноту и, продвигаясь ощупью вдоль стены к углу дома, прямо на меня, испуганно спросила:

– Кто здесь?.. Васенька, ты?..

– Я... я... Иди в дом, Анюта! – услышал я в то же мгновение сердитый голос попа Васька.

Его круглую фигуру в черной рясе я сразу же различил в темноте, как только *Анюта*, быстро скрывшись в доме, погасила электрический свет, озарявший крыльцо.

Поп Васёк стоял посреди церковного двора спиной к дому и, запрокинув голову, смотрел на центральный, могучий, чуть приплюснутый купол церкви, под которым блестели в лунном свете стёкла крохотных арочных окон, разделённых тонкими колоннами.

– Планетарием будешь, матушка... Планетарий из тебя постановили сделать в горькоме! – проговорил он, не опуская головы. Потом развернулся и, как-то злобно шатаясь из стороны в сторону, направился к дому – исчез там, звучно захлопнув за собою дверь.

Я уже был в безопасности – за церковной оградой, – когда снова увидел попадьё Анюту. Извиваясь и спотыкаясь, повторяя на ходу: «Не надо,

Васенька... пожалуйста... пожалуйста...», она выскочила из дома вслед за попом Васьком. Он уже был без рясы – стоял среди могильных плит в одной только длинной белой рубахе.

– Ах вы ж, стервы блестящие!.. Планетарий!.. Я вам покажу планетарий, мать вашу коромыслом!! – грозно кричал он куда то в ночное небо, в звёзды...

Восьмой пароход

Дом у Трони был. Но что это был за дом! Это была такая круглая башенка при воротах, от которых уцелела только одна створка из толстых железных прутьев, сплетённых в узор.

Когда-то давно, когда в двухэтажном доме с плоскими колоннами между окон, что стоял за воротами в глубине двора, жил один дед Корней Манилов, у которого, говорила бабушка Анна, «было семь пароходов в Азове и миллион рублей серебром», в этой тесной башенке, сменяя друг друга, сидели маниловские сторожа, охранявшие дом. Как и когда в башенке поселился Троня, в округе никто не помнил. Не помнил этого и сам Троня. Иногда он и вовсе забывал, что сторожевая башенка – его дом.

– Иди, Тлоня, домой! – бывало, командовал ему мимоходом Лёсик, заметив, что Троня бодрствует поздним вечером, забравшись с ногами на холодный валун у колонки. И Троня шёл. Но не в башню, а мимо неё – по улице. Или вдруг говорил Лёсику, не двигаясь с места:

– Не хочу домой. Хочу в башенке пожить.

– Да ты сто, Тлоня, дулак! Ты там и зывёс! – отвечал ему Лёсик взволнованно, стараясь Троню обрадовать.

После такого сообщения Троня, случалось, несколько дней никого не подпускал к своей башне – кричал с ехидной гордостью, с лютым задором всякому, кто пытался приблизиться к ней, что это его дом! что ему Лёсик сказал! Но проходило ещё несколько дней, и Троне наскучивала эта забота, мешавшая другой его заботе – быстро шагать туда-сюда по всему городу, не расставаясь с явью ни днём ни ночью.

Он снова куда-то шёл – то по одной, то по другой улице, пересекал площади, спешил к собору, спускался к Аксаю, выходил в степь, возвращался в город. Башенку в разгар такого бодрствования он даже не замечал, а если и заходил в неё, то так, как заходят в чужое жилище, – со сдержанным любопытством и вежливой осторожностью.

В башенке у Трони, в круглой каменной комнате, где едва помещались табуретка и стол (на нем Троня спал), я был много раз. Мне нравилось сидеть там среди ясного жаркого дня в полумраке и смотреть на улицу через узкие – шириной в две ладони – окна без стекол. Всё отсюда выглядело иначе. Все казалось далёким, неизвестным и вместе с тем необыкновенно отчётливым, словно я смотрел с обратной стороны в телескоп, пользуясь его подспудной, удаляющей силой. Даже бабушкин дом представлялся мне незнакомым, оттого что он виделся весь целиком в ярком и плотном свете, сдавленном глубокими оконными проёмами. Чем дольше я смотрел сквозь них на улицу, тем неподвижней становился мой взгляд, равномерно рассеиваясь на всех предметах – и дальних, и ближних. Предметы сначала теряли свою отчетливость, потом раздельность; потом превращались в сплошную пёструю пелену. А вслед за этим во мне поселялось странное состояние, которому невозможно было сопротивляться в силу его чужеродности. Оно как будто бы не принадлежало мне; оно наплывало на меня со стороны, извне, вытесняя моё «я». Не я, а какое-то совершенно бездумное и бесформенное

существо, вдруг завладевшее моим зрением, смотрело из башенки и наслаждалось этим свойственным для него состоянием, в котором соединялись одновременно и упоительное оцепенение, и радостная заворожённость, и обморочное безразличие ко всему, что происходит перед глазами, на улице, в округе, за толстыми стенами башенки, в башенке – где бы то ни было. Мне не то чтобы не хотелось крикнуть незнакомому велосипедисту, который быстро и беззвучно катился по улице, по травяной кромке вдоль мостовой, что он – вот сейчас – упадет в глубокую яму (обросшую по краям высокой лебедой и потому для него незаметную); я просто не в силах был этого сделать: я мог только наблюдать – без сочувствия, без насмешки, и даже без любопытства, – как он падает; как исчезают с поверхности земли переднее колесо, хромированный руль, сгорбленная спина, а потом и заднее колесо, сверкнувшее напоследок спицами. Мне было вовсе не обидно, что Родя лежит в *нашем* палисаднике и, запрокинув голову на ладони (делая вид, что спит), подглядывает за *нашей* Заирой, которая теперь собирает сливы в кастрюлю, забравшись в цветастой юбке на дерево и расставив ноги на ветках прямо над Родиной головой. Я не испытывал горячего азарта, видя, что на улице появляется, выворачивая из за угла спуска Разина, долгожданный старьевщик в обвислой шляпе, запряжённый вместо коня в разрисованную арбу: ему можно было принести теперь любую дрянь, хотя бы и поломанный бабушкин веер, который она прятала в горке среди посуды, и взамен получить губную гармошку, глиняную свистульку или даже перочинный нож. Но я и не думал бежать за веером. В эти минуты я вообще не мог о чём-либо думать, в чём-либо участвовать действием или мыслью, чего-либо хотеть или не хотеть. Моя воля, словно испорченный оптический прибор, из которого нельзя извлечь искомую резкость, не настраивалась ни на какое событие в окрестном мире. Заира, старьевщик, Родя, проворный велосипедист, блестящий тёмно-зелёный жук на каменном подоконнике в башенке, печные трубы на отдалённых крышах, макушки пирамидальных тополей на нижних улицах – все это я видел одновременно и в то же время не видел ничего. Мир не воздействовал на мои чувства; я даже не осознавал в эти минуты, что мир существует и что я существую в нём. Это была какая-то особая форма небытия, возникавшая по недоразумению – от чрезмерной рассеянности взгляда – в недрах самой жизни. Почему-то именно в Трониной башенке мой взгляд заражался этой мертвящей и блаженной рассеянностью. Иногда, конечно, случалось, что и вдали от башенки, например на террасе за летним обедом, когда Ангелина разливала дымящийся суп по тарелкам (обедами на террасе всегда распоряжалась она, а не бабушка Анна), меня вдруг охватывало точно такое же состояние. Но длиться долго оно не могло. «Засмотрелся!» – тут же говорила Ангелина, словно уличая меня в чём-то опасном или вредном. «Ну-ка, очнись! – приказывала она. – Немедленно! Слышишь?» Я машинально кивал в ответ, хотя слышал одни только звуки, а не сами слова, составленные из них, и, кивая, продолжал смотреть куда-то в никуда – в глубину туманного разноцветного кома. И тогда Ангелина, утопив в бокастой фарфоровой супнице тяжёлый половник, принималась махать освободившейся ладонью перед моими глазами с такой же заботливой энергичностью, с какой растирают обмороженные щеки. И делала она это до тех пор пока глаза мои – вместе с чувствами и мыслями – не начинали двигаться, схватывая предметы в их привычном, раздельном и ясном, виде. После чего Ангелина строго объясняла мне, что так засматриваться нельзя; что от такого *засматривания* можно нечаянно ослепнуть; можно даже незаметно умереть.

– Или сделаться дурачком, – подхватывала Ната.

– Как Троня? – спрашивал я, зная, что Ната и Ангелина не посмеют в присутствии бабушки Анны согласиться со мной, а лишь промолчат в ответ и на том прекратят разговор, уже обещающий превратиться в дружное назидание о том, как правильно нужно смотреть, чтобы уберечь и зрение, и жизнь, и ум; и о том, как вообще следует вести себя воспитанному мальчику.

В башенке у Трони я мог засматриваться сколько угодно. И этому никто не мог помешать, кроме самого Трони. Однажды он очутился у меня за спиной, когда я смотрел в то окно, из которого виден был дед Корней, спавший стоя с пустым ведром на мостовой – всегда на одном месте, на перекрёстке Кавказской и спуска Разина, недалеко от колонки, – видны были сама колонка и густая ива рядом с ней, похожая на пышный фонтан. Троня осторожно ткнул меня твердым острым пальцем в плечо и негромко проговорил:

– Что, нравится смотреть из башенки?.. Она хорошая.

Он сказал это как-то так (мечтательно? понимающе? – не знаю), что я на мгновение усомнился в том, что он дурачок. Но в то же мгновение сомнения мои рассеялись. Глянув в окно, а затем просунув в него голову, Троня вдруг заорал тем своим резким противным голосом, который был знаком всем в округе и в котором слышались одновременно ноты воинственной обиды и отчаянного, кривляющегося веселья:

– Корней! Корней!! Где твой пароход?! Просыпайся!.. Вон твой пароход плывет!!

«Пароход... пароход... А я то думаю, что за пароход?..» – приговаривала два дня спустя не то радостно, не то сокрушенно бабка Манилиха, стоя вместе со всеми в толпе возле своего дома и глядя, как выплывает, покачиваясь на руках, из распахнутых настежь дверей, из стойкого сумрака на яркий полуденный свет, огромный, с высокими бортами гроб. Дед Корней, сделавшийся каким-то очень плоским, одетый в пиджак, какого он никогда не носил, лежал в нем с желтым лицом, без фуражки, и, казалось, что-то усердно рассматривал в мыслях под голым лбом.

Там

Ни с кем мне не хотелось целоваться – ни с Майей, ни с Сашей, ни с Олимпиадой – после того, как я увидел попадьё Анюту. Поздними вечерами, засыпая в одиночестве на топчане под вишней или в компании с Володей на открытой, выходящей во двор деревянной террасе, я думал только о попадьё Анюте. Мне даже не хотелось говорить с Володей о том, о чём мы обычно говорили в эти сладкие предсонные минуты, кутаясь в верблюжьи одеяла (я у стены на грузной оттоманке, он на легкой кушетке у края террасы, под самыми перилами), – о покойниках, об айданах, о том, что завтра нам надо наконец-таки разыскать на Аксайской улице *Енота* и какнибудь выменять у него или выиграть в карты всех моих *негров* – четырнадцать серебристых марок родом из Бурунди, скитающихся по округе с тех пор, как я променял их на негодную (чвирк-пырк) зажигалку; об отдаленности Венеры, сияющей в обманчивой близости над кроной старого абрикоса; о пылком злодействе деда Корнея Манилова, который будто бы взял и отрубил длинной шашкой головы двум молодым актёрам и своей первой бабке, то есть, конечно, не бабке, а тоже юной актрисе, за то, что она очутилась с актёрами голой в садовой беседке («Тс-с, видишь?!» – «Что?» – «Кто то идёт... *Они* идут! Все трое – без голов!» – «Ты

врешь... перестань, Володя...» – «Смотри! Смотри! И дед Корней идёт! С шашкой идёт... видишь, блестит?...» – «Ничего не блестит: деда Корнея похоронили». – «Ну да, похоронили. А он идёт!»); о том, что Лёсик, хоть он и добрый, а тоже, наверное, отрубил бы чем-нибудь голову своей Заире, если б узнал нашу тайну; и, наконец, об этой заманчивой тайне – о голой Заире.

Голой её видел я. Но мне почему-то всегда было интереснее слушать Володю, слушать, как *он* рассказывает мне о моем приключении – о том, как беззвучным, томительно-жарким полднем я забрался в сарай, надеясь там отыскать (на будущее) какие-нибудь вещицы, подходящие для старьевщика: искать их в доме я уже не решался с тех пор, как отдал старьевщику за две раскрашенные свистульки бабушкин веер, который, как выяснилось потом, когда бабушка целый день ругала старьевщика «шаромыжником», а меня «безмозглым анчуткой», был ей «дороже всех свистулек на свете».

Зайдя в сарай, я плотно закрыл за собою высокую, обитую железом дверь. Из крохотных окошек под крышей сюда проникали мутные лучи, в которых медленно двигалась пыль. Они слабо освещали только переднюю часть сарая, где хранились аккуратно сложенные дрова, колотый уголь, бочонки с керосином, инструменты, всевозможные стулья, столы и кресла, сосланные сюда из дома по дряхлости или по увечности; задняя же часть сарая, отделённая высокими загородками, за которыми когда-то, как говорила бабушка Анна, стояли лошади, была совершенно тёмной. Но именно там, за этими дощатыми загородками с уцелевшими кое-где дверцами, и можно было найти такие вещи (сбрую, седло, железный поднос, подсвечник), которые зажигали в весёлых глазах старьевщика беспокойные огоньки.

Сидя за загородкой, я неспешно перебирал разнообразный хлам, как вдруг дверь в сарай приоткрылась, потом захлопнулась, перекусив широкий луч света. И в то же мгновение я услышал голос Заиры.

– Боже мой!.. Ну и пусть! Ну и пусть! – испуганно говорила она кому-то.

Бесшумно наступив на ящик, лежавший возле загородки, я осторожно выглянул в широкую щель между верхними досками. Заира была одна. Она стояла возле изорванного кожаного кресла, и вид у нее был такой, будто она только что очнулась от кошмарного сна. Какое-то время она ерошила свои короткие кучерявые волосы, быстро двигая растопыренными пальцами вверх от висков. Такими же быстрыми движениями она вдруг стала расстёгивать пуговицы своей блузки, потом широкий лакированный пояс на юбке. Я видел, как юбка упала на земляной утрамбованный пол рядом с блузкой, как Заира, перешагнув через юбку, наклонилась, подняла к груди сначала одно, потом другое колено, и тут же выпрямилась. Я не сразу понял, что она была теперь голой: её кожа на ягодицах светилась такой же яркой белизной, как и трусы, которые она, скомкав, швырнула в кресло.

– Входи! – сказала она, глянув в сторону железной двери. Дверь тут же открылась, и в сарай вошел Рюмкин. Это был худощавый, длинноволосый, с подвижным острым кадыком студент, который три раза в неделю занимался математикой с Ангелиной и который очень смешил меня и Володю тем, что называл Ангелину, будто мужчину, профессором («профессор сказала»; «профессор пообещала»; «профессор разрешила мне у вас пообедать»).

Увидев Рюмкина, Заира нисколько не испугалась. Напротив, с весёлой и злой отвагой она повернулась к нему лицом и, запрокинув вверх подбородок так резко, будто кто-то её дернул сзади за волосы, проговорила:

– Ну вот, Рюмочка, смотри! Где у меня шерсть?

Рюмкин осторожным движением, каким он это делал всегда, когда собирался во время урока что-нибудь возразить Ангелине, снял свои круглые толстые очки, медленно протаскивая их вниз по носу, и виновато отвернулся в сторону.

– Я думаю... то есть я совсем не то хотел сказать, когда говорил... – начал он было что-то объяснять Заире.

Но она его не слушала.

– Смотри, смотри! – повторяла она, поворачиваясь на месте и качая руками над головой, словно в танце.

– Я уже посмотрел... мне очень нравится... но только я пошутил, – бормотал Рюмкин, не глядя на Заиру.

– Ах, пошутил?! А я не шучу! – Она сердито, но не сильно шлепнула Рюмкина ладонью по щеке.

И в эту минуту перевернутый ящик из тонких дощечек, на котором я стоял за загородкой, с громким треском проломился под моей ногой. Из сарая Рюмкин успел выскочить прежде, чем Заира, подхватив с пола юбку, воскликнула:

– Кто здесь?

Я молча вышел из своего укрытия. Заира стояла в пыльных янтарных лучах, прикрывая юбкой грудь и согнувшись всем телом так, словно она собиралась прыгнуть.

Не зная, что делать, я не двигался с места.

– Это ты?.. Ты подглядывал! Подглядывал!! Сволочь, шалава! – Взгляд Заиры горел такой ненавистью и злобой, каких я никогда ещё не видел в её глазах – даже в те минуты, когда она ругалась с Лёсиком.

Ноги у меня сделались ватными от страха; мне казалось, что Заира сейчас бросится на меня и задушит своими крепкими темными пальцами в серебряных кольцах. Но вдруг лицо её переменилось. Какое-то странное выражение – не то умиления, не то озорства – проступило на нём. Она быстро подошла ко мне и села передо мной на корточки, взяв мою голову в ладони.

– Прости меня, ну прости, прости, – произнесла она ласковой скороговоркой. – Знаешь, он меня обидел, этот Рюмкин, обидел! Он сказал, что я противная волосатая ведьма, что у меня везде шерсть, как у нашего латыша, только чёрная, а у меня нет никакой шерсти, ты видел... видишь... Ты никому не скажешь? – внезапно спросила она, отодвинув назад мою голову, чтоб заглянуть мне в глаза. Я покорно кивнул. Она снова притянула мою голову к своему лицу и ещё долго что-то говорила мне, то улыбаясь, то плача, то требуя от меня страшных клятв, которые я произносил монотонно и бесчувственно, потому что чувствовал только одно – как больно вдавливаются её прохладные кольца в мои горящие уши...

Потом, когда эту историю мне пересказывал Володя (так запальчиво и подробно, как будто он, а не я был её участником), я охотно верил ему, что в ту минуту, когда Заира сидела передо мной на корточках, я чувствовал и видел очень многое – видел вблизи её плечи, колени, живот, качающиеся груди, внимательно рассматривал её сплюснутые соски в центре больших темно-коричневых кругов, чувствовал какое-то мягкое, ароматное тепло, исходившее от её шеи... О голой Заире мы обычно говорили с Володей до поздней ночи, радостно свидетельствуя друг перед другом, что шерсти у Заиры нет нигде – только под мышками и там. И это заповедное там, эта вертикальная выпуклая полоска черных волос (короткая полоска, а вовсе не размашистый треугольник, как рисовало грубое воображение Володи), то и дело проникало в мои сны, где Заира, голая и огромная, выше Платовской

ротонды, стояла, раскинув ноги, на середине спуска Разина, покрытого льдом, и в то время, как я пролетал по льду на санях под её ногами, словно под аркой, грозно кричала мне: «Смотри! Смотри!»

Но все это было раньше, до того, как я увидел попадью Анюту, до того, как я влюбился в её узкое бледное лицо, изуродованное безжалостным шрамом; влюбился в сам этот шрам, который, как мне казалось, возник на её непобедимо-красивом лице не от какого-то будничного несчастья, а силою сказочной злой ворожбы; влюбился в её чёрное полотняное платье, которое скрывало всю её тонкую высокую фигуру от щиколоток до шеи и которое даже смутно, даже краешком мысли не позволяло воображать никакого *там*. Мое воображение, за которым бдительно следила душа, возвышенно и нежно тоскующая о попадье Анюте, только тогда и получало свободу и обретало способность рисовать отчетливые картины, когда оно уносило прочь от всего, что могло скрываться под черным платьем.

Ночами, на террасе, дождавшись той минуты, когда Володя засыпал, думая, что и я уснул под его оживленный говор, я откидывал одеяло и, глядя сквозь крону старого абрикоса на звёзды, представлял, что вот попадью Анюту схватили пираты, вроде тех, что делят сокровища под скалой у берега моря на красочном гобелене, который висит над кроватью в спальне бабушки Анны. Попадья Анюта беспомощно стонет. Пираты заламывают ей руки, рвут на ней платье, надменно хохочут. А один из них, тот, что по поясу голый, в фиолетовых шароварах и красном платке, завязанном на затылке, уже выдернул из-за пояса нож и занес его над лицом попадьи Анюты, чтоб оставить на нём ещё один шрам, на другой щеке. Но тут появляюсь я, одетый во что-то черное и очень красивое. У меня в руках пистолеты. «Негодяи!» – кричу я пиратам и тут же стреляю – они падают мёртвыми. Попадья Анюта растерянно плачет. Она ещё не верит в своё счастливое освобождение. Её платье разорвано на груди. Она закрывает локтями голые груди. Но я вовсе и не думаю разглядывать её, как разглядывал в сарае Заиру. Я гордо и благородно смотрю куда то в сторону и вверх. «Ты хочешь поцеловать меня?» – говорит Анюта, глядя на меня с покорной нежностью. «Нет, ничего этого не надо!» – великодушно отвечаю я; на моём лице выражение мужественной грусти... Или все ж таки я целую её – но не там, под скалой, внутри гобелена, а в какой-то жарко натопленной хижине посреди заснеженных гор, где я спас её от других злодеев... Или нет: весь израненный и измученный, после долгого боя с бесчестным соперником, который тоже любил попадью Анюту, но был мною убит, я говорю ей: «Прости! Я победил его!» – и устало уезжаю верхом на коне. А она кричит мне вдогонку: «Вернись, вернись! У меня нет никого, кроме тебя!» Попа Васька я, разумеется, не брал в расчёт; ему не было места в этих картинах, и он, словно зная об этом, сразу же исчезал из моей головы вместе со своим нелюдимым домом, Александровской церковью, круглой бородкой, перепачканной рясой и подвижными глазами, полными весёлого сверкающего коварства, как только моя фантазия, поставленная на службу печальной и одинокой любви, принималась за свою утешительную работу.

Я засыпал лишь под утро, не замечая, как мои послушные грезы, превращаются в своевольные сны, где всё происходит совсем не так, как мне хочется, где я убегаю и никак не могу убежать (потому что воздух вокруг меня слишком плотный) от попа Васька, который гонится за мной по улице, возглавляя недобрую толпу, ошестинившуюся ножами и палками. «В степь его! Выгоняйте в степь! Там он не полетит!» – кричит поп Васёк, и я радостно вспоминаю, что могу полететь. Я машу руками. Плотный воздух уже не мешает мне, а, наоборот, помогает. Я отталкиваюсь от него

раскинутыми руками и медленно поднимаюсь вверх; потом переворачиваюсь горизонтально и лечу над толпой вниз лицом. Толпа страшно злится на это чудо, тычет в воздух ножами и палками, но достать до меня уже не может. Я очень высоко. Мне хочется подняться ещё выше. Я сильнее машу руками и с ужасом ощущаю, что начинаю падать – воздух не держит меня. Я падаю все быстрее и быстрее и с нарастающим страхом жду того мига, когда ударюсь о землю. Но вдруг какая-то сила все меняет вокруг меня – я оказываюсь на чердаке нашего дома и вижу: возле печной трубы стоит попадьё Анюта. Она нетерпеливо стучит кулаками в трубу и просит там кого-то: «Пустите меня! Пустите! Спрячьте!» Потом оглядывается на меня и говорит: «Ну что же ты стоишь, помогай мне!» Я подхожу к трубе и тоже стучу. Но мне не хочется, чтоб попадьё Анюту пустили туда, и поэтому я стучу тихонько – только делаю вид, что стучу. Она замечает это. «Не так! Не так! Стучи громче!» – выкрикивает она, и голос у неё такой же злой, как у Заиры. И тут я только вижу, что и блузка на ней такая же, как у Заиры, и кроме блузки больше нет ничего. Я принимаюсь бить кулаками в трубу изо всех сил, чтоб не смотреть на попадьё Анюту, но глаза мои сами поворачиваются к её голым, белым, как мел, ногам. И в тот миг, когда я уже должен увидеть, что у неё там, труба с грохотом рушится.

«Бум-бум-бум! Там-там-там!» – слышу я оглушительные звуки. Но они уже принадлежат утренней, солнечной яви, где Володя катается по террасе на самокате, сильно ударяя в пол ногой, чтоб разбудить меня.

Черва

Все в округе мечтали знать, зачем латыш живет у нас в низах, – что он там делает, кроме гимнастики? Но узнать это было невозможно, потому что латыш никого не пускал в свои комнаты – ни молочницу, ни почтальона, ни настырных подружек Майи, которые ночами царапались к нему в окна. И сам выходил редко. В жару вообще не показывался на улице. Зимой гулял охотней. Одевался легко даже в лютый мороз. Шел себе по скрипучему снегу в лакированных тонких туфлях, черных наглаженных брюках с серебряными блестками и коротком пальто поверх белой рубашки, расстегнутой на шерстяной груди, от которой клубами валил лоснящийся пар, пропитанный запахом «Шипра».

– Эй, Екабс! Яйца заморозишь! – кричала ему грубым, охрипшим голосом Олимпиада, закрывая пуховой варежкой простуженный нос.

– Иди ко мне, я тебе их отогрею в ладошках! – пищала, высовывая бледный подбородок из-под шарфа, Майя; она топталась возле нарядных подруг на углу Кавказской и спуска Разина, одетая в громадную шубу и валенки.

– Ты что, дура?! В твоих ладошках они не поместятся! – испуганно и сердито возражала ей Саша, смеясь глазами. – Они же у него вот такие! – она обхватывала растопыренными пальцами, туго затянутыми в красные кожаные перчатки, невидимый шар величиною с арбуз. – Правда, Екабс?

Екабс на это не обижался. На всякий возглас, обращённый к нему, насмешливый или дружелюбный, он радостно поднимал рыжие брови и, вытягивая голову вперёд и вниз, словно нырял в дверной проём под прихлопу, приветливо махал огромной ладонью возле виска. Обижались на него балдушки. Говорили, что он хоть и весёлый, а никого и ничего не любит, кроме своей длинной задницы, которую он по ночам целует, хитро изогнувшись. Но это были только их ядовитые выдумки.

Екабс на самом деле любил очень многое.

Любил ходить на Московскую – центральную улицу города – в ресторан «Южный», где он, по рассказам Заиры, игравшей там на пианино, заказывал много водки, вина, коньяка и разных дорогих блюд, которые все оставлял нетронутыми; тратил весь вечер деньги налево и направо, посылая шампанское всякому, кто его поприветствовал из-за столика; а ближе к полуночи с боем покупал одеколонный автомат – фигурный, похожий на тумбочку ящик с зеркальным фасадом и щелью для монеты, который висел на стене перед гардеробом и шумно выбрызгивал, проглатывая двадцать копеек, порцию одеколона из подвижного железного соска на макушке.

Швейцар и гардеробщик торопливо отключали злополучный автомат, снимали его со стены и, сгибаясь от тяжести, отдавали Екабсу, как только он, исполняя свою угрозу, принимался рвать на мелкие кусочки разноцветные деньги и пускать их по гардеробу, как конфетти. Екабс брал автомат под мышку и очень довольный уходил с ним домой.

Наутро Заира, заспанная, с помятыми волосами, отвозила автомат на тележке назад в ресторан и забирала там двести рублей, которые Екабс заплатил за него. Заира не сразу их отдавала латышу; она берегла их до того времени (наступавшего очень скоро), когда денег у латыша не было даже на сигареты и он, всё так же чисто одетый и выбритый, пахнущий одеколоном, подбирал на улице окурки, нисколько не стесняясь прохожих.

Получив от Заиры двести рублей, Екабс тут же исчезал куда то и пропадавал несколько дней. Потом возвращался – уставший, зевающий, с провалившимися щеками, покрытыми колечками рыжих волос, и очень счастливый: все карманы его были полны деньгами. На следующий день, выпавшись, он с радостью, с неумным азартом раздавал всем долги – иногда вдвойне и втройне; всякому верил с первого слова.

– А вот в позапрошлую среду, голубчик, ты брал у меня ещё троячок, – ударяя на слове «ещё», ласково выдумывала бабка Манилиха, уже получив один троячок – тоже в счёт придуманного долга. И латыш немедленно вручал ей десятку.

Не обделял он и Троню – просил меня или Володю незаметно подсунуть ему в карман железный рубль, хотя Троня не только ничего не давал ему, когда латыш в дни безденежья, резво шагая в красивом переливающимся костюме куда-то в сторону Горбатой улицы, спрашивал у него на ходу три копейки на трамвай, но и ещё испуганно злился – трясся, топал ногами и, ковыряя воздух скрюченным пальцем, кричал:

– Вона! Вона! Хрен свой продай балдушкам, нищенка проклятый!

Любил латыш играть на гитаре, которая казалась маленькой и хрупкой, когда он держал её в своих огромных, покрытых шерстью руках и осторожно, словно боясь раскрошить её пальцами, перебирал струны, сидя на широком подоконнике боком к раскрытому окну, выходившему во двор, в прохладную яму, выложенную ракушечником.

В низы к себе латыш пускал только Лёсика, которого он (единственный в округе) называл не Лёсиком, а Алёшей. Лёсик считался хозяином этих комнат, которые бабушка Анна, исполняя какое-то давнее обещание, подарила ему, как только он женился на Заире. Но Лёсик не хотел жить в низах. Он и женившись жил по привычке наверху, под боком у Ангелины, в её сумрачных комнатах, выходивших окнами во двор, а деньги, которые платил ему латыш – «квалтилантские», как он их называл, – беззаботно тратил в парковом павильоне на вино, папиросы и шоколад, уверяя Заиру, что он «всё до копеечки собирает и пляшет в надёжном месте».

– Это где ж такое место, курва?! В твоих залитых глазах?! Или у шлюх между ног?! – ехидно выщёптывала ему Заира.

– Каких глазах? Каких слух? – вспыскивал руками Лёсик – в точности, как Ангелина, когда у неё пригорали пирожки. И тут же бежал в низы, к латышу. Прятался там – лежал на оттоманке, пристроив рядом на полу бутылку вина и стакан и радуясь, что он теперь не видит и не слышит Заиру.

– Что, Алёша, опять тебя покусала за сердце твоя змея? – спросил у него как-то раз латыш, сидя на подоконнике и поглядывая с весёлым сочувствием на Лёсика, вошедшего в комнату с бутылкой вина и огромной подушкой. Латыш не заметил, что Заира в эту минуту стояла, подбоченясь, прямо над ним – на краю оконной ямы.

Подбородок Заиры затрясся, сжатые губы побелели. По её сузившимся глазам было видно, что она хотела сказать латышу что-то очень язвительное. Но вместо этого развернулась – так резко, что под её ногами захрустели камешки, – и быстро пошла в сад. Сидела там в беседке с осохшими, красными от выпланных слёз глазами и негромко, сквозь зубы ругалась: «Змея, сволочь! Сам он змея! Кобель рыжий! Не люблю его! Не люблю!»

С той поры Заира затаила обиду на латыша. Не разговаривала с ним, не здоровалась. Не отвозила в ресторан одеколонный автомат. За автоматом теперь приходил швейцар со своей тележкой. Угрюмый, коренастый, жидкой сквозящей бородой похожий на деда Корнея, он долго стоял у ворот и переминался с ноги на ногу, не решаясь открыть калитку.

– Этово, сынок, таво... Сюда... Ага!.. – обрадованно мямлил он, завидев меня сквозь щели в воротах.

Я впускал его во двор и с важностью недоверчивого хозяина, сложив на груди руки, молча провожал к летней кухне, возле которой на перевернутой бочке латыш всегда оставлял автомат. На старика швейцара эта моя притворная важность действовала пугающе.

– Щас щас щас, сынок! Щас! – подбадривал он себя виноватой скороговоркой, укладывая автомат на тележку и быстрыми суетливыми движениями заворачивая его в белую скатерть.

– А деньги кто Екабсу отдаст? – строго спрашивал я у него уже за воротами, подступив к нему вплотную и даже сощурился глаза, как это делала в злобе Заира.

Но за воротами старик не боялся меня.

– Не твоёго ума дело!.. Прочь, прочь! – огрызался он.

От старика сильно пахло свежесыпной водкой в то утро, когда он не стал огрызаться на моё требование вернуть латышу деньги. Ослабив потное, в пунцовых пятнах лицо так, что из-под растянувшихся губ блеснули мокрые розовые десны, он мирно проговорил:

– А на што они ему, эти деньги? Наиграет себе еш шо!

– Как наиграет? – спокойно спросил я, затаив удивление.

– Как-как... Охвицеров в карты обкромсает, и всё тут!

– А если офицеры у него выиграют, тогда что? – продолжал я рассудительным тоном, делая вид, что говорю об известном мне деле, и надеясь этой хитростью выманить у старика все тайны.

– Да кто ж у ёго выиграт! Он самый наилучший картёжник в городе! А можа, и во всёй области! – с гордостью отвечал раздухарившийся старик. – Вчэра, вон, двух майоров из Таганрога так обмухлевал, что те и до се воют на всю гостиницу: ажнок две тыщ щи за ночь у них оттяпал – пятьсот кровных и полторы казённых! Во!

Так я узнал от швейцара, что латыш – карточный игрок; что он постоянно ходит в гостиницу «Южная», которая над рестораном «Южный», на двух этажах; что там дни и ночи напролет он играет в карты на деньги то с заезжими офицерами, то с актёрами из театра Комиссаржевской;

что в гостинице его называют Екабсом Червой за его красно-рыжую масть и картежную славу; что играет он очень жестоко – не милует ни новичков, ни бывалых; и что нет для него на свете другой радости, кроме карт.

Два майора, две тысячи, карты, гостиница – всё это не выходило у меня из головы в тот апрельский день. Весь день украдкой и с жадной пристальностью я всматривался в латыша, стараясь найти в нём что-то новое, необыкновенное – того безжалостного Екабса Черву, который никого не милует и ничему не радуется. И не находил.

Латыш, как обычно, сидел на подоконнике, перебирал струны, курил, улыбался. И вдруг начинал петь. Сам рыжий, он с каким-то особенным волнением, закрывая глаза и мотая головой над гитарой, пел песню про рыжую шалаву.

Для кого ты, стерва, бровь свою подбрила,
 Для кого надела синий свой берет,
 И куда ты, сука, лыжи наострила?
 От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет!

Рыжая шалава, от меня не скроешь!
 Ну а если дальше будешь свой берет носить,
 Я тебя не трону, но живьём зарюю,
 Прикажу залить цементом, чтобы не отрыть, –

пел он с отчаянным наслаждением. Но поверить, что сердце его наслаждается тоскующей свирепостью этих слов, обещающих рыжей шалаве лютую казнь, было невозможно, потому что в светло-голубых глазах латыша, когда он их открывал, чтоб посмотреть из ямы на весеннее небо, сквозившее в ветках старого абрикоса, обсыпанных крупными и редкими цветами, светилось чувство счастья и беззлобного упоения жизнью.

Прорицание

Бабка Маленькая Махора была на самом деле не маленькой, а такой огромной, что заслоняла туловищем почти весь свой дом, возле которого она сидела на лавке целыми днями. Деревянный, выкрашенный ярко-синей краской, дом её стоял на Аксайской улице в конце спуска Разина. Спуск упирался в эту улицу, прямо в дом бабки Махоры, в бабку Махору, которая даже с вершины спуска, от Александровской церкви, была хорошо видна. Зимой и летом она сидела перед домом в высоких бурках и громадном тулупе – то крепко спала, то дымила трубкой, всегда торчавшей у нее во рту.

Иногда к бабке Махоре приезжал на коне откуда-то из-за Аксая цыган. Конь казался маленькой собачонкой рядом с ней; он стоял возле бабки Махоры и, наклонив вытянутую голову, осторожно щипал траву под её ногами. А цыган тем временем вытаскивал из-за мягких голенищ её бурок, засовывая туда руку до самой шеи, разные деньги – бумажные, железные, – которые ей опускали в бурки за то, что она разгадывала сны, открывала всякие тайны, гадала на картах, лечила кур, гусей и старух, что-то нашептывая над ними. Цыган был сыном Маленькой Махоры, которая тоже была цыганкой – но с цыганами в степи она никогда не жила. Не жила она и в доме, в котором, наверное, и не поместилась бы. Её мочил дождь, обдувал ветер; зимой, вся засыпанная приглаженным снегом, она была похожа на огромный сугроб, взбухший под домом после свирепой метели.

Я всегда смотрел на Маленькую Махору издалека – боялся к ней приблизиться. Меня пугало в ней всё – её черные с проседью космы, свисавшие на тулуп, по которому летом ползали бабочки и гусеницы, белки её полусонных коричневых глаз, подернутые мутной синевою, подвижные ноздри, шумно выпускавшие наружу клубы табачного дыма, которые в безветренную погоду ещё долго висели плоскими сизыми облаками возле её верхней губы, покрытой глубокими вертикальными трещинами и морщинами.

Ни за что на свете я не решился бы заговорить с Маленькой Махорой. Но разговаривать с ней мне пришлось.

Это случилось в самый разгар моей несчастной любви к попадье Анюте, когда каждое утро я просыпался с мыслью, что сегодня обязательно увижу её и даже скажу, что люблю. Но напрасно я караулил её возле верхней колонки, что стояла в начале спуска Разина, недалеко от церкви: за водой с двумя ведрами на коромысле выходил поп Васёк. Напрасно кидал камешки в деревянные ставни, когда попадья Анята оставалась дома одна: дом, скрывавший её в своих толстых стенах, терпеливо молчал, не отзываясь ни единым скрипом, ни единым звуком. Снова и снова я оказывался возле этого дома, потому что не находил себе никакого другого занятия, как часами смотреть на него, просунув голову между прутьев церковной ограды. Я перестал играть в айданы, забыл о марках, забросил рыбок, которые теперь плавали в мутно-зеленой воде, объедая грязь со стенок аквариума и иногда всплывая вверх животами. По ночам я уже не грезил, а просто плакал от отчаяния, оттого, что рядом со мной нет попадья Аняты. Моя любовь, к которой поначалу лишь осторожно примешивалось чувство лёгкой и светлой тоски, превратилась теперь в сплошную тоску, от которой не было никакого спасения. Все чаще и чаще я слышал, как Ната говорит бабушке Анне, что я плохо ем, плохо сплю и что я, наверное, заболел чахоткой. «Как наш папа», – шептала она, пугая бабушку Анну, и без того боящуюся самого этого слова чахотка, которым называлась болезнь папы – того худощавого, с плёткой в руке и гордо-злыми глазами на скуластом лице невысокого человека в погонах и портупях, которого я видел только на фотографии и о котором бабушка Анна говорила, что он есаул и мой прадед.

Меня теперь утешало только одно – та мрачная радость, с которой я думал о том, что я заболею *есаульской чахоткой* и умру. И вот тогда, думал я, попадья Анята узнает – ей расскажет об этом мой верный друг Родя, – как я сильно любил её и как мучился из-за неё.

– Ну почему, почему Васёк её прячет? Почему она не выходит на улицу? Когда я увижу её? – хмуро спрашивал я у Роди.

Родя на это пожимал плечами и предлагал мне пойти на Аксай, перебраться на другую сторону и спрятаться там в заброшенном ржавом катере, чтобы увидеть оттуда, из круглого окошка, затянутого крепкой паутиной, как загорает голый на песчаной ребристой прогалине в камышах сестра Енота.

– Спроси про свою Аняту у Маленькой Махоры, – посоветовал мне однажды Родя. – Она всё знает. Только деньги не забудь – без денег не подходи к ней.

– Почему?

– Она на тебя наступит ногой и раздавит. Или прикажет цыганам, чтобы они тебя украли и увезли в степь. Будешь у них танцевать по ночам и сапоги им чистить. Понял?

– А много ей надо денег? – спросил я.

– Не знаю. Много, – брякнул Родя. – Телескоп вон продай Еноту.

В тот же день я отправился искать Енота, самого жадного и хитрого меняльщика в округе. Как и Маленькая Махора, он жил на Аксайской улице. Но найти его там было почти невозможно. «Гайдает гдей-то!» – отвечал в любое время его одноглазый дед, беспрестанно чинивший ставни на окнах.

К полудню я уже ненавидел эту сонную и безлюдную Аксайскую улицу, чьи дряхлые домики – все, казалось, лежавшие на стенах от страха свалиться вниз, – кое-как лепились к крутому склону холма, там, где склон, выкапывая жёлтый сыпучий ракушечник, завершался расщелинами и обрывами. Я спускался в эти расщелины по узким тропинкам, выводившим к берегам Аксая, заглядывал в полузаброшенные сарайчики на задних дворах, излазил тесные, заросшие кустами проулки между дворами. Енота я нашёл только вечером на дне глубокой балки, где он бесцельно палил костёр. По моим свежим царапинам, запылённым сандалиям и частому дыханию Енот тут же понял, как долго и упорно я его искал. Он даже не глянул на телескоп, который я держал в руках, гудевших от неотлучной тяжести. Когда же я сказал, что продаю его, Енот изобразил на лице такое угрюмое равнодушие, как если бы речь шла о дымящейся головёшке, которую я только что подобрал с земли... Главную драгоценность в округе я продал всего лишь за три рубля! Больше Енот не давал, как я ни упрашивал его.

Выбравшись из балки, я пошел по Аксайской улице прямо к бабке Махоре, зажав в кулаке эти три рубля одной истертой бумажкой, добытые с таким трудом и с такими жертвами. Прощай, Луна в узорчатых серых пятнах! Прощай, Венера, сияющая бирюзовой бусиной в центре дрожащего тёмного круга!

– Дурень чёртов! Гэть отсюда! – вот и всё, что я услышал от Маленькой Махоры, когда, приблизившись к ней, показал на ладони деньги и спросил отстранённо, как у каменного изваяния, полюбит ли меня попадья Анюта и скоро ли я увижу её?

На следующий день, ранним утром, когда я понуро шёл вниз по спуску Разина к Аксайской улице с альбомом марок под мышкой и полными карманами айданов, чтобы выменять у Енота назад телескоп, Маленькая Махора ещё издалека поманила меня к себе рукой. Я подбежал к ней, остановился в трёх шагах от неё.

– Анюту любишь?.. Зимой её увидишь! На санках с ней полетишь, у-у-ух! – сказала Махора и захохотала, затряслась – так, что с её тулупа посыпались на землю сонные бабочки...

Зимой меня уже не мучила моя любовь. Я даже не вспоминал о попадье Анюте. Я радовался снегу, морозам, пьянящему жару от высокой выбеленной печи, возле которой бабушка Анна сажала меня на крохотной скамейке, как только я приходил с горы, чтобы передохнуть, съесть пирожок, обжигающий нёбо распаренной курагой, взять на заслонке сухие, окостеневшие варежки и снова бежать с санями на гору, к Александровской церкви.

Снежными январями на горе уже после обеда был шумно и тесно. А ближе к вечеру на вершине спуска Разина, у церковной ограды, в подвижной взвизгивающей толпе, из которой то и дело кто-нибудь вырывался и летел на санях вниз по плотному снегу, местами раскатанному в чернеющий лёд, можно было встретить обитателей всех окрестных улиц и переулков. Тут был и Енот, который летом не расставался с Аксайской улицей, и его старшая сестра, долговязая сутулая студентка, которую называли по прозвищу братца Енотихой, – она была старше Енота на десять лет, ровно на столько, сколько было самому Еноту, но он почему-то злобно командо-

вал ею: «Пальто застегни, сучка!», «Рейтузы подтяни, мокрощёлка!» – выдёргивая при каждом слове вперед свое крохотное заостренное личико в грязных подтеках; были тут и лихие Володины друзья Паша Черёмухин и Федот Мокрогубов – *Черёмуха* и *Мокрогуб*, – они бесстрашно катались в полный рост на ногах, гикая на ходу и куря сигареты, брызгавшие алыми искрами; были Саша и Олимпиада, которые то и дело подсаживались сзади на чьи-нибудь санки и, растопырив ноги, обтянутые длинными сапогами, неслись в сверкающем облаке снежной пыли с пронзительным визгом и задорной руганью, сыпавшейся на голову переднего седока: «Сука! Пацан! Куда рулишь, собачонок? Жопу мне отобьёшь!»; были Троня и немой Фирс, молча и с суровой важностью упорных работников ездившие по спуску вдвоем на громахающем листе железа; были маниловские близняшки – обе одинаково растрёпанные, покрасневшиеся от жаркого веселья на морозе. Было множество знакомых и полужнакомых лиц. Зимние торопливые сумерки быстро меняли окраску морозного воздуха; сначала янтарный, он вдруг становился розовым, потом зеленоватым, всё в нём казалось тонким, непрочным, исчезающим, таким же, как белесый полупрозрачный месяц, висевший в пустых небесах завитком дыма. Но уже в следующую минуту небеса окроплялись ранними мелкими звездами и в густой предночной синеве отчётливо вырисовывались темные ветки деревьев, антенны и трубы на заснеженных крышах; ярко проступали выбеленные колонны Максимовской ротонды и вспыхивали округлые макушки обочных сугробов, посеребрённые бледным светом из мутно сияющих, заиндевших окон. Катание в это время было в самом разгаре.

В такое время и вышла однажды с пустым ведром из-за церковной ограды попадья Анюта. Я увидел её как раз в ту минуту, когда поравнялся с верхней колонкой, поднимаясь с санями в гору. Наклонив голову, Анюта шла мне навстречу мелкими торопливыми шагами. Она была в белом пуховом платке; из-под серого кроличьего полушубка на темно-зелёные ботинки с медными пряжками спускалось то же самое – чёрное, узкое – платье, в котором я видел её летом. Знакомый шрам, множество раз возникавший в моих грёзах, мертвенно белел на её зарумянившейся от мороза щеке. Моё сердце застучало дробно и гулко; оно провалилось в какую-то бездонную яму, когда Анюта, приблизившись ко мне, вопросительно взглянула на меня: я стоял на её пути, прямо на узкой дорожке, посыпанной угольной жухелицей, не в силах сдвинуться с места.

– Посторонись, – сказала она, подождав немного и пощупав кончиком ботинка лёд за кромкой дорожки.

Но вместо того чтоб посторониться, я с неожиданной для себя решительностью быстро произнес слова, которые за мгновение до этого и не думал произносить:

– Я тебя знаю, ты Анюта, жена попа Васька.

– Не попа Васька, а отца Василия, – спокойно поправила она. И тут же улыбнулась, засмеялась. – И не жена вовсе.

– А кто?

– Много ты хочешь знать, мальчик. Пусти...

– Не пушу. Говори – кто?

– Ой, какой злой выискался, – усмехнулась Анюта и поставила рядом с дорожкой на лед звякнувшее ведро. – А вот ты Алексею Мироновичу – кто?

– Какому Алексею Миро... Лёсику, что ли? Племянник.

– И я племянница отцу Василию... Санки у тебя красивые, – вдруг добавила она без всякой связи.

– Ага, – самодовольно подтвердил я.

Сани у меня были действительно не такие, как у всех в округе – не железные и низкие с разноцветными рейками, а деревянные, высокие, с деревянными же круто загнутыми полозьями. Их привёз из Латвии Екабс и подарил мне вместе с мазью, которой я натирал полозья. Никто не мог обогнать меня на горе. Мои сани скользили легко и бесшумно – так, что я слышал за спиной только шуршание снежного вихря, поднятого ими.

– Хочешь прокатиться? – спросил я.

Анюта пожала плечами.

– В Махору боишься врезаться? – догадался я.

– Боюсь, – кивнула Анюта.

– Не бойся, поедем вместе. Я буду рулить.

Мы поднялись с ней к церкви на утопанную снежную площадку. Я установил сани. Анюта, высоко подобрав подол платья, села на них верхом. Я устроился впереди, раздвинув спиной её колени, обтянутые коричневыми ребристыми чулками. Кто-то из толпы подтолкнул нас. Как только сани нырнули с площадки на раскатанный лёд, Анюта вскрикнула и крепко обхватила меня руками.

Сани не сразу набрали привычную скорость. Но когда мы пролетели первый перекрёсток – спуска Разина и Архангельской улицы, – мне уже казалось, что я никогда в жизни не мчался с горы так быстро. Я задыхался от радости и волнения. Внутри меня то проваливался в живот, то поднимался к ключицам какой-то мягкий, сладостно подвижный ком; в лицо впивались снежные искры; разрозненные огни в окнах по обе стороны спуска сливались от скорости в сплошные сияющие гирлянды. Мы мчались все быстрее и быстрее. Но до конца горы было ещё далеко.

Мы ещё не пересекли Кавказскую и только приближались к ротондам, где в моих летних, полузабытых снах стояла, раскинув ноги (сама выше ротонд), голая Заира, когда мне захотелось убедиться, что теперь я не сплю, что мне не снится, будто я качусь на санях с Анютой, что вот она – рядом, здесь за моей спиной! Я обернулся, чтобы увидеть её лицо, и в тот же миг почувствовал, понял запоздало, как понимают во сне, что целую её, целую в губы, ощущая губами твердый желобок её шрама... Этот нечаянный поцелуй длился, как мне казалось, одно короткое мгновение. Но когда я глянул вперёд, я увидел, что мы давно уже пролетели и ротонды, и Кавказскую улицу, и то место напротив дома немого Фирса, где нужно было затормозить и свернуть в боковой сугроб, чтобы не врезаться в бабку Махору. Мы неслись прямо на неё... Я не сразу почувствовал стеклянно-режущую боль, протянувшуюся от ступни до колена в правой ноге, которую я выставил, чтобы развернуть сани. Снова я думал с той особенной отстраненностью от совершающегося события, какую мысль обретает во сне. Думал о том, как нелепо и бесполезно мы выглядим сейчас с Анютой – летим, кувыркаемся, бьёмся о снежные кочки и друг о друга, а где-то над нами летят и кувыркаются в воздухе сани, развернувшиеся и перевернувшиеся вместе с седоками...

Боль я почувствовал только тогда, когда всякое движение прекратилось, когда мы с Анютой лежали под ногами бабки Махоры, ударившись об её громадные бурки, с которых на нас обсыпался снег. Мы лежали рядом и смотрели в небо. Вокруг было удивительно тихо и ясно от ночного высокого месяца. Бабка Махора молчала. Она даже не шевельнулась. Она крепко спала.

Наталья РУБАНОВА

ВОСЬМАЯ НОТА

Родилась в 1974 году в Рязани. Окончила Рязанское музыкальное училище и Московский педагогический университет. Преподавала игру на фортепиано, работала в московских издательствах.

Автор книг «Москва по понедельникам» (2000), «Коллекция нефункциональных мужчин» (2005), «Люди сверху, люди снизу» (2008), «Сперматозоиды» (2013). Лауреат премий им. Катаева и «Нонконформизм». Печаталась в журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Урал», «Вопросы литературы» и др.

Член Союза российских писателей. Живет в Москве.

– Ялос, Ялос! – услышала Мария и обернулась. – Ялос!

Человек в белом напудренном парике, одетый по европейской моде восемнадцатого века, шел по Набережной и, размахивая руками, говорил сам с собой.

– Ялос! – человек приблизился к Марии, а, поравнявшись, пошел дальше. – Ялос!

«Еще один... Нажрутся, легенд этих идиотских наслушаются», – пробубнила уставшая от самой себя Мария и посмотрела вниз, где недалеко от воды фотографии с пошленькой бутафорией дольчевиты якобы двухсотлетней давности пытались привнести «красоту» в мир: приезжим – в изгаженную Ялту – за гривны.

Будто прочитав ее мысли, странный человек обернулся и, немного медля, поспешил назад, к Марии, пытавшейся достать сигарету. Но ветер был слишком силен: Мария никак не могла прикурить.

– Позвольте? – предложил незнакомец огниво.

Мария, быстро заглянув в зрачки мужчины, отметила, что тот трезв необычайно, и что его *платье* заметно отличается от тех дурацких пестрых подделок, оставшихся там, внизу, у фотографов. Мария глубоко затянулась и хотела уже было ограничиться «спасибо», однако что-то удержало ее. Быть может, это были руки безымянного человека с удлиненными фалангами пальцев, быть может, его выпуклый лоб, а может, глаза, цвет которых Мария удивленно и бессознательно, подобно 25-му кадру, отложит в выдвижные ящички памяти.

ОКОЧУРИТЬСЯ – умереть, издохнуть, околеть, побывшиться, протянуться. Обмереть, упасть в обморок.

...Ночную сорочку можно было надевать только спереди: из-за нарыва он не мог поворачиваться: руки и ноги были воспалены и отекали. Ватный халат сиротливо висел на спинке стула. Снова пришел доктор, чтобы сделать кровопускание и поставить на голову холодные примочки с уксусом:

после таких процедур больной часто терял сознание. Пение любимой канарейки слишком волновало его, поэтому клетку пришлось перенести в другую комнату.

Рвота отнимала все силы: почти полная неподвижность в течение последних пятнадцати дней. Когда 5 декабря 1791-го, около часу ночи, ОН умер, его и без того больная жена легла на ту самую постель, чтобы умереть от той же инфекции. Д-р Клоссет дал ей успокоительное: затем женщину с двумя детьми отправили к друзьям.

«Любой труп должен быть обследован перед погребением, чтобы было ясно, что не произошло насильственное умерщвление... умер ли человек естественной смертью или его жизнь закончилась насильственным образом. О выявленных случаях необходимо сообщать властям для дальнейшего официального обследования. По поводу убийств, самоубийств, преступлений должно быть назначено судебное расследование».

My tres chere Cousine! Прежде, чем написать Вам, я должен сходить на двор... теперь дело сделано! Ах, как стало снова легко на сердце! Словно камень с души свалился! Теперь снова можно лакомиться! Если опорожнится, то можно жить в своё удовольствие... Да-да, моя любимая девица-сестрица, вот так на свете этом: кому кошель, а кому монеты. Чем Вы держите это? Рукою, не правда ли? Хур-са-са! Кузнец, поддержи мне, молодец, но не жми, поддержи, но не жми, мне жопу оближи... Воистину, кто верит, тому воздастся, а кто не верит, тот в рай попадет; но попадет напрямик, а не так, как я пишу. Так что вы видите, что я могу писать, как захочу – красиво и дико, прямо и криво... Ничего нового не знаю кроме того, что старая корова насрала нового дерьма. Засим addieau, Анна-Мария-Замочница, урожденная Ключеделка. Будьте отменно здоровы и всегда любите меня; напишите мне поскорей, потому как страшный холод на дворе...*

Мария не знала, что делать: то ли тут же брать интервью, то ли пустить на самотек, то ли – нечто третье. ОН пристально посмотрел на нее и, видя замешательство, улыбнулся: «Вы всегда сможете найти меня в трактире Серебряная змея. Там всегда собираются актеры и музыканты». – «Но где это трактир и как я найдут его?» – «Там, сразу за гостиницей. Вы непременно его увидите!» – «А они? Они – тоже увидят?» – «Какое вам дело до них? Я же сказал, вы всегда найдете меня в "Серебряной змее"».

Мария отвернулась всего на секунду: рядом с ней уже никого не было. Она потеряла виски и огляделась. Набережная гудела, плыла, покачивалась на тяжелых волнах шашлычных испарений и промозглого морского воздуха. «Дикая смесь! – подумала Мария. – Совершенно дикая смесь! Как же я хочу в то место, где нет этих ужасных гор и этого проклятого чистого воздуха!»

Мария кашляла, вдыхая чистое.

ХИРЬ – хиль, хилина, хворь, болезнь, недуг. Хиреть – болеть, худеть, чахнуть, сохнуть, изнемогать, дряхнуть.

...В комнате стоял кисловатый запах; Констанце и Софи приходилось шить по несколько ночных сорочек – больной сильно потел, и на теле его от этого выступала просовидная сыпь. «Четыре гранта рвотного порошка растворить в одном фунте воды. Каждые четверть часа давать больному.

* Здесь и далее: Вольфганг Амадей Моцарт. Письма. – М.: Аграф, 2000.

После рвоты, чтобы облегчиться, давать пить теплую воду», – настаивал д-р Штолль.

А ОН вспоминал узкие улочки Зальцбурга и – сразу же, без модуляций – проданную за игорные долги клячу: она обошлась покупателю в четырнадцать дукатов. Ему хотелось на воздух: жареные ребрышки, кусок белуги, пиво... – было это или не было? А его слуга, Йозеф «Примус»? Он был? А струнный квинтет ре минор? Его проклассифицируют *потом, после*, как «KV 516»; квинтет был написан за 12 дней до смерти отца; что такое «KV 516»?! Что можно запихнуть в этот шифр? А пропахшие мышами ратуши Аугсбурга? Откуда этот запах, эти шорохи, эти голоса? И чье, черт возьми, это воспоминание – его или его отца? Он не помнит, не помнит, не помнит... Он только видит, как Констанца склоняется над ним, видит, как дрожат ее ресницы, как сжимаются ее губы. А ведь он женился, чтобы сделать свою жену счастливой! Умиравший оставлял семье 200 гульденов наличными, на 400 гульденов – имущества и долг около 3000 гульденов.

Маленький Карл плакал за дверью.

Mademoiselle Ma tres chere Cousine!

Возможно, Вы подумали или даже считаете, что я уже скончался! Я помер! Или издох? Но нет! Не думайте так, прошу Вас, потому что подумать и посрать – вещи очень разные! Как бы я мог так чудесно писать, если бы я был мертв? Как это было бы возможно?...Теперь же я имею честь задать вопрос: как Вы изволите поживать, регулярно ли ходили на двор? Не мучит ли Вас запор? Любите ли Вы еще меня? Между делом, часто ли пишете мелом? Вспоминали ли Вы обо мне хоть иногда? А повеситься пока еще не желали? Не злились ли Вы на меня, несчастного дурака? А если не хотите кончить добром, то, клянусь честью, обещаю Вам громкого подпустить! Что, Вы смеетесь?...Я победил! Я так и знал, что Вы не сможете дольше сопротивляться...

Мария приехала в Ялту, чтобы сменить обстановку. Собраться с мыслями. Взять интервью у некой знаменитости с тем, чтобы перевести текст и продать за очень неплохие бабки в очередной «...news». Мария приехала в Ялту, сменила обстановку, взяла интервью, почти перевела, но с мыслями так и не собралась.

Между тем оставалось еще несколько дней. Праздношатающаяся толпа на набережной, лениво шаркающая тапками и задевающая жирными пальцами пальмы, не вызывала у Марии ничего, кроме снисходительного презрения. Толстые – и не очень – тетьки и дядьки, худощавые загорелые дивчата и парубки, совсем мало – почти нет – правильной русской речи, торговцы бог знает чем, и – солнце, солнце, проклятое пофигистичное солнце, от которого *никуда не!* Мария понимала, что с каждым часом все больше и больше стервенеет и ненавидит эту изгаженную «разумными млекопитающими» красоту. Ей слишком хотелось исчезнуть, но обратный билет был только на понедельник. Еще несколько убитых дней. Вся жизнь и еще несколько убитых дней. Но что-то ведь ОН говорил о *Серебряной змее*. Быть может, это ее, Марии, шанс? Быть может, она приехала сюда именно за *этим* интервью? Не сочтут ли ее сумасшедшей? Но ведь она видела Его только что – здесь и сейчас, на набережной!

У него был цвет глаз, который Мария сразу отложила в выдвижные ящички памяти. Это всего лишь 25-й кадр.

КОРПИЯ – растереблённая ветошь, ветошные нитки или нарочно выделанная пушистая ткань для перевязки ран и язв.

Погребение по третьему разряду. 8 гульденов 36 крейцеров. 3 гульдена на дроги. Вполне приемлемое решение для вдовы с двумя детьми. Двое похоронщиков. «Свои-свои» и «свои». Зюсмайер, Дайнер, ван Свитен, Салльери. Сильная буря: снег и дождь. Констанца Моцарт остается дома.

Катафалк едет по большой Шуллерштрассе к кладбищу Святого Марка, что расположено в четырех километрах от собора Святого Стефана, в котором отпевали усопшего. Последние из сопровождающих рассасываются у Штубентор, не дойдя до самого кладбища: кучер подгоняет лошадей, буря усиливается – никак не поспеть за дрогами, да и какой уже в том смысл? Ужасная, вся в выбоинах, дорога. Полная темнота.

Приехав, могильщики оставляют тело в «хижине усопших», двери которой никогда не закрываются. Погребение совершается на следующее утро Симоном Пройшлем.

«Так как при похоронах ничего другого не предусматривается, как только быстрее отвезти тело, и чтобы не препятствовать этому, следует зашить его в гроб без всякой одежды в полотняный мешок, опустить в могилу, засыпать негашеной известью и сейчас же закрыть землей... Священники не должны сопровождать покойников до их могилы», – гласит приказ Иосифа II.

Необозначенные ряды могил. Надгробные камни только у стен кладбищ. Спустя восемь лет общие могилы заполняются заново. Спустя 17 лет после смерти мужа Констанца пытается найти место его погребения. Могильщик говорит ей, что предшественник сам недавно скончался, а он ничего не знает о тех, кто был похоронен до его вступления в эту должность. Констанца Ниссен поджимает губы и уходит.

У-хо-дит.

Мария оглядывается по сторонам: ищет. Но всюду одна только Ялта, город контрастов. Неулыбчивые – в отличие от столичных ребят – дивчата и парубки в «Макдональдсе», приехавшие из Хохляндии на заработки. Отдыхающие, не знающие, на что еще истратить *эти гривны*. Местные, предлагающие жилье «у самого синего моря». Букетики сушеной лаванды и можжевеловые подушки. Дыни, персики, пальмы, волны, чайки и – равнодушная к тому, что творится у собственного подножия, – Ай-Петри. Солнце.

Тихий ужас. Между тем, Мария мечтает взять интервью у Моцарта. Ведь он жив. Она только что с ним разговаривала! И где эта «Серебряная змея»? Нужно найти этот трактир... Найти во что бы то ни стало... Срочно продумать вопросы... так-так... ещё... Ведь это будет настоящей сенсацией – интервью с самим Моцартом! Никто никогда не брал у него интервью, а она – Мария – делает это первой! Нет-нет, ее не сочтут сумасшедшей и не отправят в дурдом. Нет-нет! Нет-нет... так-так... ещё...

Мария сворачивает на Чехова и оказывается как раз перед трактиром. «Странно, раньше я не замечала здесь этого заведения! Значит, всё правда... Как трогательно!»

Мария заходит в «Серебряную змею» и чувствует, что голова плывет. Обоянию не известны эти запахи. Оно не привыкло. Где-то как-то даже пованивает. Пожалуй, ее, Марию, сейчас стошнит. Странно: неужели здесь и вправду – ОН?

– Ау, маэстро! – кричит Мария. – А-у! Есть здесь кто-нибудь? – и окидывает взглядом пустой зал.

– Я здесь, – отвечает ОН издалека; Мария слышит Его приближающиеся шаги из второй комнатки. – Здесь.

Марии кажется, будто она впадает в глубокий сон – и в этом самом сне – наяву – всё видит.

– Выпейте тамариндовой настойки! – улыбается Моцарт. – Выпейте, выпейте! Не стесняйтесь, я же знаю, вы иногда – часто – пьете, – подмигивает Моцарт. – И даже позволяете себе напиваться! – Моцарт легонько хлопает Марию по плечу. – Я же не дам вам яду! Или вы думаете, что я предоставлю вам смесь из сурьмы, свинца и белого мышьяка, которую в семнадцатом веке получила некая Феофания ди Адамо? Говорят, между прочим, будто впервые подобное ассорти было применено дочерью этой самой сицилианки, Джулией Тофана, с целью убийства, – разговаривая, Моцарт подвел Марию к грубому деревянному столу, накрытому клетчатой скатертью, и предложил сесть.

Присев, Мария обнаружила на себе вместо джинсовых шорт и открытой белой майки длинное пышное платье розового цвета с почти выпадающей из него – наружу – грудью: последняя деталь, казалось, доставляла Моцарту ни с чем не сравнимое удовольствие: он довольно долго косился на вырез, а потом сказал:

– Вы напоминаете мне сейчас одну потаскушку из Милана. На ней было точно такое же платье, и ее вымя так же вываливалось наружу. Не обижайтесь! Я говорю не про ваше... – у вас шикарная грудь! Пожалуй, я не вижу только сосков. Что ж, наверняка мужчины уже много раз оценили их по достоинству, а, Мария? – Моцарт подмигнул ей.

– Что вы себе позволяете? – привстала она, хмуря брови. – Мне плевать, что вы гений. Если вам нужна шлюха, то на Набережной их хватает...

– Погодите, – перебил ее Моцарт. – Извините меня. Просто я хотел сказать, что ваше тело создано для любви, вот и все. *А у меня лет двести уже не было женщины, понимаете?*

БЛУД – слово это заключает в себе двоякий смысл: уклонение от прямого пути, в прямом и переносном смысле, а также относится собственно к незаконному, безбрачному сожитию, к любодейству.

My tres chere Cousine!

В большой спешке, с полным раскаянием и сожалением и с твердой решимостью пишу я Вам и сообщаю, что завтра отправляюсь в Мюнхен. Любимая сеструха, не будь страшнухой!... Если Вам также захочется видеть меня, как и мне Вас, то приезжайте в чудный город Мюнхен. Постарайтесь еще до Нового года сюда поспеть, чтобы мне вас спереди и сзади осмотреть. Я Вас хочу по городу поводить, и если нужно, то и клистиром угостить. Об одном я только сожалею, что не могу Вас у себя поселить. Потому что я не в гостинице, а у... где? Хотел бы я знать. Теперь шутки в сторону. Мне важно, чтобы Вы приехали, потому что Вам, возможно, придется сыграть большую роль. Так что приезжайте, а то срано очень...

Напишите мне тотчас в Мюнхен Poste restante небольшое письмишко странички на 24, но не пишите мне, где Вы остановились, чтобы я Вас, а Вы меня не нашли...

– Так вы согласны дать мне интервью, господин Моцарт? – спросила Мария гения, утопившего глаза в тамариндовой настойке.

Моцарт улыбнулся, поднимая голову:

– Что ж, вертите столик. Вертите, вертите, не бойтесь!

Мария подняла брови и крутанула грубый круглый стол.

– После каждого поворота задавайте вопросы.

– Но почему? – удивилась Мария. – Зачем мне вертеть его? Почему я не могу задать вам вопросы без этого?

– Потому что нам понадобятся третьи лица, – сказал Моцарт, и закурил сигару.

– Ну вот, он и завершил полный оборот, – сказала Мария, поглядывая на останавливающийся столик. – Мы кого-то ждем?

– Чуть позже, – ответил Моцарт и снова покосился на грудь Марии.

– Я могу достать диктофон?

– Конечно, – улыбнулся Моцарт. – И все-таки вы удивительно похожи на ту потаскушку. У нее были такие же большие влажные глаза. Карие. Как вишни в коньяке!

Мария сделала вид, что не расслышала: у гениев свои причуды, решила она, забив на кое-что, и включила диктофон. В конце концов именно от этого интервью зависит ее карьера. Да что там карьера! Именно эта публикация принесет Марии известность, возможности, деньги... Возможный *гипертекст* можно будет использовать в различных модификациях – наверняка, если его разложить на несколько уровней... так-так... ещё...

ИНТЕРВЬЮ (англ. *interview*) – жанр публицистики, беседа журналиста с одним или несколькими лицами по каким-либо актуальным вопросам. Подразделяется на **И.-сообщение**, преследующее главным образом информационную цель, и **И.-мнение**, комментирующее известные факты и события.

М.: Скажите, господин Моцарт, как более двухсот лет вам удавалось скрываться ото всего человечества, до сих пор с упорством кладоискателя ищущего место вашего захоронения, и так хорошо сохраниться? Где вы находились все это время на самом деле?

В. М.: ми-ре-ре, ми-ре-ре, ми-ре-ре-си, си-ля-соль, соль-фа-ми, ми-ре-до-до...

М.: Не совсем точный перевод, господин Моцарт. Не могли бы вы рассказать об этом поподробнее?

В. М.: ре-до-до, ре-до-до, ре-до-до-ля, ля-соль-#фа, #фа-ми-ре, ре-до-си-си...

М.: М-м-м. Спасибо, маэстро. А не могли бы вы поведать о ваших отношениях с кузиной – небезызвестной Марией Анной Теклой? Известно, что она была дочерью младшего брата вашего отца и вы провели с Марией Анной две недели в Аугсбурге, по пути в Париж. Сохранилось восемь или девять писем не совсем пристойного содержания, которые много раз хотели уничтожить ваши родственники. Что вы может сказать по этому поводу? *Было ли у вас что-нибудь?*

В. М.: До-ре-ми-до-ре-до.

М.: Вы, так же как и ваш отец, считаете, что «...жопа лечит голову?» Я позволила себе цитату из его письма к вашей матери.

В. М.: До-ре-ми-до-ре-до.

М.: Дорогой Моцарт, я чувствую, вы не в духе, и все же... Миллионы людей хотят получить правду из первых уст... неужели после двухсотлетнего молчания вы так ничего и не скажете? Милый Моцарт, вы не можете так поступить! Они же ждут, ждут, ждут ваших признаний! Они готовы сожрать их с потрохами! Я вырежу потом этот текст, не беспокойтесь... Скажите мне только, как вы относитесь к тому, что Констанца решила посетить вашу могилу лишь через 17 лет после вашей смерти? Как известно, она была особой ветреной и склонной к мотовству. За что вы любили

ее? Почему «занимали у Пьера, чтобы отдать Полю», в то время как ваша жена отдыхала на курортах?

В. М.: Ля-ля-#до-ми-ре-ре... Ре-ре, до-си-ля-соль-соль...

М.: К тому же ваша страсть к ее старшей сестре, Алоизии Вебер, модной певице, впоследствии вытеревшей о вас ноги... вышедшей за актера и художника Ланге...

В. М.: соль-ля-соль-фа-ми-ре-#до-#до...

М.: Вы не хотите говорить?

В. М.: Ля-ми-#до-соль-ми...

М.: Отец лишил вас наследства – за «непослушание» – несмотря на то, что с помощью денег, заработанных вами в многочисленных турне, он открыл свой музыкальный магазин и даже издал «Школу скрипичной игры». Ирония судьбы! Леопольда Моцарта лишила наследства собственная мать, когда тот забросил университет и стал музыкантом... Ваша сестра также была обижена на вас...

В. М.: си-ля-#соль-ля-до, ре-до-си-до-ми...

М.: Констанца после смерти второго мужа поселилась в Зальцбурге, но никогда не встречалась с вашей младшей сестрой Наннерль – женщины успешно обходили друг друга, хотя и ходили по одним и тем же улицам...

В. М.: фа-ми-#ре-ми-си-ля-#соль-ля-си-ля-#соль-ля-до...

М.: Вы любили карты, бильярд, вино и удовольствия, не так ли, господин Моцарт? Не прикрывайтесь масонством, вы были *еще тот* игрок, и ваши долги...

В. М.: Всё, что я хотел сказать, я сказал своей музыкой, Мария. Закончим этот маскарад, и отправимся поскорее в постель – мне не терпится хорошенько отодрать вас – как паршивую овцу.

М.: В постель? С вами? Но вы же мертвый! К тому же в вас всего 153 сантиметра росту! И вместо уха у вас щель, которую вы старательно прикрываете волосами! Думаете, врожденный дефект карлика незаметен?! Да и я не испытываю никакого влечения... *как же я пойду с вами в постель?* – повысила голос Мария.

В. М.: Ножками, милая, ножками! Они очаровательны не в пример вашему острому язычку – хотя, в деле и тот сгодится! У вас есть одно преимущество: вы – живая. И вот вы, такая живая, берете интервью у мертвого карлика. Интервью, которое ПОТРЯСЕТ ВЕСЬ МИР. Какая вам разница – брать интервью у гения или спать с ним? В обоих случаях об этом напишут во всех газетах! Боже, как же вы похожи на ту шлюху! Так бы и ущипнул вас за ...!

М.: Моцарт, вы хам.

В. М.: Я? Я – хам? – Моцарт расхохотался. – Это ВЫ, ВЫ выворачиваете наизнанку мое нижнее белье, пишете свои мерзкие статьи и еще смеете издавать мои письма и письма моей семьи! «Событие века!», «Впервые в истории!», «Полное собрание писем Моцарта», «Исповедь звезды!» Да как вы посмели? Как вы посмели ворошить то, что *вообще* нельзя трогать руками? Я представляю, что будет с архивом этой русской Цветаевой, когда до него допустят жаждущих *информации* букводумов! Знаете, больше всего я ненавижу всех ваших «...-ведов». Да потому, что они – недоумки, недоделки! Посвятить всю собственную жизнь тому, чтобы узнать, в каком году у Франца Шуберта был сифилис? Потратить ее на изучение диагнозов? *Между делом* слушая музыку? И вы – вы – туда же? Когда я увидел вас там, на Набережной, вы показались мне такой... другой! Поэтому я и предложил вам огниво! И вот, вы приходите сюда, в «Серебряную змею», чтобы задавать мне гнусные вопросы? В таком случае, кроме сисек

и жопы, в вас ничего нет, вы просто безмозглая дырка – отвратительная благоуханная дырка, с которой я не хочу иметь никаких дел!!! Более двухсот лет такие, как вы, не дают мне спать спокойно. **У меня постоянно болят ноты!!!** Постоянно!! Уходите, – Моцарт закурил сигару и отвернулся. – Убирайтесь к чертовой матери!

То, что он увидел, когда повернул голову назад, удивило и смягчило его: плачущая обнаженная женщина стояла перед ним на коленях:

М.: Если я не дам в номер *это* интервью, то навсегда сгнию в паршивой газете. Сгнию. Ты ведь знаешь, как это легко – сгнить?! Вольфганг...

ОХОЛОНУТЬ – остыть, простыть, терять жар, теплоту или пыл, рвение, усердие, страстную горячность.

– Мое рождение едва не стоило матери жизни. В восемь вечера 27 января 1756-го я появился на свет – хотя, лучше сказать, «на тьму», последним из семи детей. Правда, в живых остались только мы с Наннерль. Как и многих, нас не кормили грудью, давая вместо молока медовую воду.

– Нет, милый, нет! – запротестовала Мария, целуя тонкие пальцы Вольфганга. – Об этом можно прочитать в любой твоей биографии!

– Но что ты хочешь услышать? – Моцарт откинулся на подушку и положил руку на грудь Марии. – Неужели ты думаешь, что я расскажу тебе что-то новое? То, чего нет в этих дурацких «исследованиях»? Да, мой прадед был кучером, а дед – картузником. Отца лишили наследства из-за того, что он не захотел стать иезуитом. Мама умерла в парижской конуре, и я долго никак не мог сообщить об этом в Зальцбург... Мое полное имя – Иоганн Хризостом Вольфганг Теофиль. Он же – Готтлиб. Четыре имени означают четырех покровителей перед богом. Что ты еще хочешь знать?

– *Я люблю тебя в твоей музыке*, поэтому хочу знать о тебе всё. Я не буду давать интервью в номер. Я...

– Любишь? Любишь гениального карлика-мертвеца с врожденным дефектом уха? Карлика-Моцарта, про которого сняли «Амадеуса»? Карлика, которому, как пишут ваши «критики», Констанца изменяла с Зюсмайером, и не только? Карлика, так сильно увлекшегося ученицей Магдаленой, женой своего друга – масона Франца Хофдемля, что довел его до самоубийства? Он бросился с ножом на Магдалену, бывшую на пятом месяце, и вскрыл вены бритвой сразу после моей смерти... Но Магдалена выжила... Только... Только... – Моцарт взял лицо Марии в свои ладони. – Неужели ты не понимаешь, что меня уже нет?

– Врешь, милый! Ты есть! Есть! Я чувствую тебя, я слышу повсюду твои мелодии... Вольфганг! Я знаю, что без Констанцы ты иногда не мог написать ни ноты, но... что же делать мне? Вот я лежу с тобой – влюбленная, беззащитная, голая... Неужели ты выбросишь меня на помойку только за это?

– Знаешь, в детстве, гастролируя по Европе, я часто болел: отвратительные гостиницы и все такое. Ни к чему объяснять, про это тысячу раз писали. Так вот. Тогда отец клал поперек моей кровати доску. Ну, чтобы я мог сочинять. Записывать.

– К чему ты это говоришь?

– Тебе тоже нужна такая доска. Ты болеешь. Ты сочинишь блестящий текст. Запишешь его. Ты уйдешь из своей паршивой газеты.

– Это говоришь мне Ты?

– Это говорю тебе Я, – сказал Моцарт и исчез.

Мария осталась одна в гостиничном номере. Она не могла определить точно, где заканчивался сон, а где начиналась явь. Мария потрогала смя-

тую простынь: та была еще теплой и, казалось, пахла только что исчезнувшим Моцартом. Мария снова закрыла глаза и отчетливо увидела шенка Пимперля, вилявшего обрубком хвоста перед Вольферлом. Тот за обе щеки уплетал жареного каплуна, приготовленного кухаркой – толстухой Трезль. Рядом, за стулом Леопольда, примостилась любимая кошка Вольфганга.

«Вы меня любите?» – спрашивал чудо-ребенок родителей – действительно красивую пару. Те кивали, сдержанно улыбаясь, а Вольфганг уже несся к клавесину, несмотря на попытки Анны Марии его остановить, лелея мечту о свободе: с детства он воображал себя королем-музыкантом выдуманного царства Рюккен, где жили одни лишь дети.

Однако внезапный звук трубы, раздавшийся совсем близко, испугал «короля»: тот заплакал и долго не мог остановиться – ведь звуки трубы такие громкие, такие грубые! Они так не похожи на те мелодии, что текут вместе с кровью по его жилам! Он долго боялся их... поэтому стал сочинять *свою* музыку в пять.

Она (фаворитка курфюрста) – та, у которой в заднице торчит лисий хвост, а на ухе висит острая цепочка от часов, на пальце же – красивый перстень, я его сам видел, да порази меня смерть, если я вру, несчастный я человек без носа...

Входит сестра Моцарта.

При виде 76-летней полуслепой женщины Мария смущенно натягивает на себя простынь. Марианна же ходит по номеру, постукивая палочкой по полу – тихо-тихо, будто метит что-то: будто кошка, прикарманивающая территорию. Мария смотрит на нее, не в силах шевельнуться. Наконец Марианна останавливается.

– На карту было поставлено ЕГО будущее, – говорит она, пристально глядя в стену. – Я не была гениальна, но была талантлива. Ты не поймешь, – Марианна машет рукой. – Не поймешь. Я никогда не завидовала, хотя... – она поднимает слепые глаза к потолку, – ты не знаешь, что такое объездить всю Европу в юности, а потом – до смерти – жить в Зальцбурге. Как бы тебе объяснить... – она ёжится. – Представь, ты выступала и в Париже, и в Риме... Но, после того как тебе приоткрылось всё их великолепие, приходишь возвращаться в свою дыру: *пре-по-да-вать*. Уроки музыки с тупыми учениками. Не только тупыми, и всё же... Нет, тебе не понять, – Марианна снова машет рукой. – Не понять... С детства всё лучшее было отдано ему. Но я любила брата, это правда. Только не могла простить ему этой ужасной свадьбы, Констанци этой... Как-то в апреле он прислал мне из Вены письмо. Туда были вложены прелюдия и трехголосная fuga, «вдохновленные», как он писал, его... женой. Оказывается, цыпа наслушалась фуг Генделя и Баха и ничего кроме них слушать не желала. А узнав, что Вольферл не написал ни одной фуги, не отставала от него, пока мой брат не сочинил того, что ей так хотелось услышать... И он сочинил, конечно же!

Лишь позже, значительно позже я поняла, что уже никогда не вырвусь из Зальцбурга. К тому же что проку в том, если твое чувство – пусть глубокое и прекрасное – не приносит тебе счастья? Пытаясь жить дальше, я вышла замуж – так, как вы сейчас говорите, «выходят в тираж». Он был на пятнадцать старше и с пятью детьми. Похоронил двух жен. Жизнь с попечителем Зонненбургом превратилась в дурной сон, от которого мечтаешь проснуться – но, сколь ни щипай себя за руку, не просыпаешься – рад бы, да не выходит... После смерти папы, после всех этих наследных дел мы перестали общаться с Вольферлом. Я ничего не хотела. Или не могла.

Не помню, я ведь давно умерла... События как-то стираются... Последние годы, после смерти мужа, я зарабатывала уроками: фортепиано, ученики – в сущности, гроши, но лучше, чем ничего. Потом – глаза... Я пережила Вольферла на тридцать. Я не хочу, чтобы ты говорила кому-нибудь о том, что встречалась с ним в этом городке, тем более, в этой гостинице. Про Вольферла и так ходит слишком много сплетен... А он был замечательный. Действительно – замечательный! Его ЗАМЕЧАЛИ. Но только я, наверное, чувствовала его стремление к совершенству и... его отвращение к своим же «старым» сочинениям. Мне было слишком хорошо известно, что *мой брат тем меньше мог исполнять свои прежние произведения, чем сильнее он рос как композитор...*

Слепая старуха смотрит сквозь Марию. Мария натягивает до подбородка одеяло. Марии холодно. Старуха поворачивается к ней спиной и исчезает. Марию трясёт: она еле-еле успевает добежать до туалета: «Что такое *тошнота*? Какого такого Сартра?»

ЛЕТЬ – лязя, можно, вольно, льготно, дозволено. НЕЛЕТЬ – нельзя, заказано.

как же так можно чтоб всё осторожно
 да как же так можно чтоб всё осторожно
 чтоб всё осторожно да как же так можно
 да как же так можно чтоб всё осторожно?!
 Т-с-с! строго-острожно-строжайше-запретно –
 за-запределью – в острог – незаметно...
 Ах! как же так можно чтоб всё осторожно...
 как же так можно чтоб всё осторожно...
 чтоб всё осторожно
 да как же так можно
 как же так можно чтоб всё осторожно?!
 Т-с-с-с-с! А-ах!

Моцарт, размахивая руками, шел узкой ялтинской улочкой. Дорога поднималась в гору: одышка не прибавляла радости. Моцарта порядком достало интервью, но следующая за ним сцена вызвала странное, иное чувство – ему даже показалось, что на какую-то долю секунды он оказался вместе с Констанцией! Обхватив голову, постоянно сталкиваясь с отдыхающими, Моцарт приближался к какой-то пристани. Вдруг он остро ощутил запах Странной Женщины, которая в эту самую минуту уже видела перед собой Леопольда с Анной Марией и снова натягивала на себя одеяло. До подбородка.

Наидражайшая сеструха-страиныху!

Я исправно получил Ваше дорогое для меня послание и из него заключил-закрутил, что г-н Браток-молоток, и г-жа Сестрица-крольчица и Вы в отменном расположении духа-муха. Мы также, слава Богу, отменно здоровы-коровы. Сегодня я также исправно получил-закрутил в лапы письмо-клеймо от моего Папа-хаха. Я надеюсь, что Вы тоже получили-отмочили мое письмо-ярмо, которое я написал Вам из Мангейма. Тем лучше – лучше тем!..

Мария заметила, что тени на потолке приобрели очертания человеческих фигур.

– Кто здесь? – крикнула она.

В ответ раздался сухой кашель Леопольда, секундой позже – Анны Марии. Постепенно Мария различила мужской и женский силуэты. Казалось, они надвигались на нее. Мария закричала. Силуэты как будто отделились, а потом придвинулись снова. Анна Мария присела на краешек кровати, а Леопольд – на стул, стоявший рядом. Мария вскрикнула.

– Не бойтесь! – сказал отец чудо-ребенка. – Мертвые на самом деле не так страшны, какими могут на первый взгляд показаться! Мертвых бояться не надо; имеет смысл бояться живых! – он покачал головой. – Что, в сущности, сейчас перед вами? Мыслеформа. Всего лишь ваша собственная мыслеформа. Пусть вас не удивляет, что мне знакомо это слово. Поверьте, за столько времени можно научиться понимать не только это...

Мария немного расслабилась и вымученно улыбнулась:

– Здравствуйте...

– Так-то лучше. Вам, наверное, интересно знать, зачем мы здесь и почему наше семейство никак не оставит вас в покое?

– М-м-м... – Мария посмотрела на мыслеформу матери Моцарта, и ее передернуло: уж больно реальной та казалась.

– Сказать по правде, – продолжил Леопольд, – я вижу в вас неплохую жену для Вольфганга. Да-да, неплохую жену! Знаете, я всегда был против брака с Констанцей – впрочем, это вам должно быть известно по многочисленным биографиям моего сына, в которых, кстати сказать, так мало правды! Но скажу вам одно: Констанцу привлекали в Вольферле не столько его мужские, скажем так, достоинства, сколько то, что будущий муж вхож в высший свет и аристократы называют его «чудом Вены» да «несравненным и божественным музыкантом». На свадьбу он подарил этой стерве помимо нескольких десятков золотых луидоров, платьев и колец еще и роскошный дом с залом! Даже не получив моего благословения! Что самое неприятное – ее мамаша, грязная хабалка, до этого всего потребовала с Вольферла расписку! Впрочем, об этом тоже писали: ему надлежало жениться на Констанце в силу определенных причин или платить 300 гульденов ежегодно...

– Не забывай, что Констанца порвала эту бумажку, – вставила молчавшая до того Анна Мария.

– Не важно. Факт остается фактом! Он променял меня, нас – на паршивую девчонку! Бросил нас с Наннерль, *стал жить своей жизнью!* Как он смел?!

– А вам не кажется, – осмелела на последней фразе Мария, – что именно это вообще и нужно делать – *жить своей жизнью?* Глупо превращать ее в жертву – и не важно, во чье имя! Если бы ваш сын не сделал этого и если бы в какой-то момент он не бросил службу у Колоредо – простите, но в таком случае Моцарт просто не был бы Моцартом!

– Не идеализируйте! – поморщился Леопольд. – Это все басни. На самом деле, если бы не дурь, Вольфганг смог прожить еще немало лет и написать тысячи – слышите? тысячи! – прекрасных произведений! Но он выбрал...

– Он сделал правильно, – перебила внезапно мужа Анна Мария. – Он сделал все правильно! За всю жизнь я не сказала тебе ни одного слова против. Но с колокольни столько лет я стала видеть лучше тебя – тем более в какой-то мере я и старше тебя, потому как умерла раньше, чем преуспел в этом деле ты, Леопольд...

– Что? – он оторопел.

– Ничего, – спокойно продолжала Анна Мария. – Я умерла в ужасной комнате в Париже. Ты хотел славы для нашего сына. Денег, чтобы потешить собственные амбиции. Ты, конечно, не мог отпустить его *тогда* во Францию

одного. Я же была принесена в жертву так называемому искусству. Я жила – с марта по июнь – в чудесном городе в темной отвратительной квартирке с окнами на грязный двор. Я даже не могла вечерами вязать – настолько было темно, а на свете приходилось экономить... Когда же мы переехали на новое место в середине июня, мне стало плохо еще и физически, – голос Анны Марии срывался, дрожал. – Во всех этих ужасных биографиях только и пишут о том, какой у меня был прекрасный, мягкий характер и как легко... Так вот что я скажу: к черту. Уж на том-то свете я стану жить, как хочу – с этой самой минуты! Надеюсь, вы слышите меня, Мария? – мать Моцарта повернулась к ней. – Это единственное, что мы можем сделать хорошего на том и на этом свете, поверьте! Жить так, как хотим...

Леопольд стоял с опущенной головой, а Анна Мария продолжала – казалось, она не говорила лет тысячу:

– У меня тогда поднялась температура. Знобило так, что, кровать подомной тряслась. Голова болела жутко. Потом охрипла. Еще подробности? Понос, да. Понос... Я не верила французским врачам и только через неделю согласилась пригласить знакомого немецкого лекаря – доктора Гайна. Через пару дней тот сказал Вольфгангу, что положение мое безнадежно: я была в коме. Вольфганг очень плакал: я умерла 3 июля 1778 года. В половине одиннадцатого, было уже темно.

Леопольд укоризненно посмотрел на жену и, достав из кармана камзол бумагу, развернул ее и начал читать:

Дорогой папа!

Я должен сообщить Вам неприятную и печальную новость... Моя дорогая мама очень больна. Ей, как она привыкла, пустили кровь. Это было необходимо, так как ей после этого становилось лучше... Она очень слаба... Пусть будет то, что должно быть, потому что я знаю, что Бог делает, все на благо, если даже нам не всегда хорошо. Я верю в это, и никто меня не сможет переубедить в том, что ни доктор, ни какой-либо человек, ни горе, ни случай, никто не дает человеку жизнь и не сможет ее взять, один только Бог...

– Так какого дьявола он не сказал мне это сразу? Написал в Зальцбург, что ты еще жива... а тебя на самом деле уже не было, Анна Мария... – с этими словами Леопольд опустился на колени и подполз к ногам жены. – Я так любил тебя... Прости...

– Я тоже любила тебя, Леопольд. Быть может, слишком сильно для того, чтобы оставить кусочек жизни для себя лично... Но я ни в чем не виню тебя. Как не должен ты винить и Вольфганга, и даже Констанцу. Он просто боялся. Хотел подготовить тебя к тому, что меня уже нет. А девочка? После роскошного дома, который стоил половину годового дохода Вольфганга, они переехали в дешевую квартирку. Жили скромно... Чтобы заработать, наш сын брался за все... И как тебе в голову пришло лишить его наследства? Неужели забыл, как сам остался без гроша в его годы? Впрочем... – Анна Мария странно улыбнулась, – все это в прошлом. Главное, теперь мы можем жить так, как мы хотим.

– Так, как мы хотим? – повторил за ней Леопольд, продолжая стоять на коленях.

– Да, – улыбнулась мать гения и помогла ему встать, а потом поцеловала в щеку.

Мария почувствовала, что этот поцелуй был бесподобно и безнадежно нежен – на земле таких не бывает.

ПОРНО – крепко, надежно, прочно, споро; бойко, шибко, скоро, прытко. И не порно (сильно), да задорно. Кони порно бегут.

Мария спала плохо. Ей снились странные сны: партитуры «Реквиема», залитые сгущенкой. Когда она проснулась оказалось, что ее пальцы сладкие. Подняв глаза вверх, Мария заметила Констанцию – та была молода и если уж не очень красива, то прекрасно сложена и великолепно одета: длинное голубое платье с глубоким декольте подчеркивало фигуру.

– Ні! – сказала она.

– Ні! – ответила ей Мария, решившая уже ничему не удивляться.

Две женщины – живая и мертвая – смотрели друг в друга. Каждая – неосознанно – видела в другой соперницу. Каждая – неосознанно – тянулась к другой. Мария встала с кровати и, накинув на ночную рубашку халат, подошла к госте.

– Ты действительно всего лишь моя мыслеформа? – спросила она Констанцу.

– Похоже, так, – улыбнулась Констанца. – И, несмотря даже на это, свекр наговорил про меня кучу гадостей. Да, я знаю – они с дочерью до сих пор не могут меня терпеть – в любом качестве... Именно поэтому мы и не встречались с сестрицей Вольфганга в Зальцбурге, куда меня занесло под конец той жизни...

– По-моему, ты ошибаешься, – запинаясь, сказала Мария. – Анна Мария вчера сделал что-то совершенно особенное. Боюсь, что у *мыслеформ* не бывает таких поцелуев; мне кажется, я каждой своей клеточкой почувала ее тепло. Она что-то такое сделала... и с Леопольдом... я не могу объяснить... Это – не-язык-земли! Самим своим присутствием...

– Я понимаю, – перебила ее Констанца. – Но ведь историю не перепишешь...

– Ты была счастлива? Ты была счастлива с Моцартом? – выпалила неожиданно для себя Мария.

Констанца поежилась и стала накручивать на указательный палец тончайший шарф:

– Собственно, не знаю, зачем тебе всё это, да и нужно ли это мне самой... Весь этот «*моцарт*»... Странно, что тебя занимает прошлое – люди вашего времени обычно другие. Они торопятся. Зарабатывают деньги. Кладут их в банки. Ходят на презентации. Толкаются в час пик... Впрочем, если тебе интересно... Наш первенец, Раймунд, умер от колик на первом году. Третий, Иоганн – от удущья через месяц после появления на свет... Терезия и Анна-Мари также не успели пожить: последняя, бедняжка, скончалась через час после рождения. Выжили двое: Карл Томас и Вольфганг Амадей. Карл почти всю жизнь прожил в Италии, служил чиновником, немецкий знал не очень. Младший, родившийся за полгода до смерти Моцарта, ушел в музыку, но до отца «не дорос». Карл не был женат. Вольфганг тоже умер бездетным: на том род Моцартов и угас.

– Ты была счастлива? – снова спросила Мария.

– О наших отношениях написано слишком много дряни. И не только. Пусть каждый думает что хочет. Представь, недавно я прочитала о себе то, что якобы «страдала дефектом личности генетического происхождения» и «по своей природе была неспособна любить». С тех пор не люблю этих ваших модных психологов.

– Ты была с ним счастлива? – настаивала Мария.

– Я пережила его на 50 лет, – вздохнула Констанца. – Я пришла к нему на кладбище через 17 лет *после*. Я подписывалась как «Констанца, статская

советница Ниссен, в прошлом жена Моцарта». Я никогда ничего не расскажу тебе, Мария.

– Почему? – оторопела та.

– Да потому что с ним счастлива Ты...

...Милейшая женушка, у меня к тебе масса просьб:

1-е – прошу, не будь печальна.

2-е – следи за своим здоровьем и не особенно доверяй весеннему воздуху.

3-е – не выходи из дому одна пешком, а лучше всего совсем ходи пешком.

4-е – будь вполне уверена в моей любви к тебе; еще ни разу не писал я к тебе письма, не поставив перед собою твой милый портрет.

6-е и последнее – прошу тебя, будь обстоятельна в своих письмах.

...

5-е – прошу тебя, согласуй свое поведение не только со своей, но и моей честью. Думай о том, как оно может выглядеть со стороны. Не сердись на эту просьбу. Ведь тебе нужно еще более любить меня за то, что я дорожу своей честью.

Прощай же, милочка, чудо мое. Знай, что каждую ночь, прежде чем отойти ко сну, я добрые полчаса беседую с твоим портретом и то же делаю при пробуждении.

...

О штру! Штри! Целую тебя и прижимаю к груди своей 1095060437082 раз (можешь поупражняться в чтении этого числа) и остаюсь всегда

Твой самый верный супруг и друг

*В. А. Моцарт т/р**

Мария прочитала это, найдя на полу забытый Констанцей письмо, и улыбнулась чему-то.

СПОКОНУ, спокон веку – исстари, извеку, от веку, искони, издревле, с незапамятных времен. Свет спокон веку неправдой стоит.

Мария вышла из гостиницы и огляделась: та же толпа отдыхающих, те же пальмы, те же рестораны, те же экскурсии... Каким боком она вообще встретила здесь, в Ялте, Моцарта? Не сошла ли она с ума? Что это – реальность или невроз навязчивых состояний? Но почему ей тогда так легко, черт возьми? Почему ей так спокойно и хорошо? Мария купила пиво и заглянула в бутылочное горлышко: она чуть не вскрикнула, увидев на дне крошечного человечка. Он увеличивался у Марии на глазах и через какое-то время уже заполнил все застекленное пространство. Мария ахнула, узнав в лилипуте того, чье имя навеки срослось с именем маэстро.

– Выпусти меня, – попросил он Марию.

– Как? – удивилась Мария.

– Просто разбей бутылку. Не бойся, не убьешь.

Мария посмотрела на лилипута с недоверием, зажмурилась, а потом шарахнула бутылку о пальму. Когда она открыла глаза, то обнаружила перед собой самого Антонио Сальери – в полный рост. У него были крупные черты лица, суровые и не вызывающие неприязни. Мария сказала вдруг:

– Боже. Бывает ведь и нормальная жизнь, да?

– Да. Где-то бывает, – согласился Сальери.

– Вы думаете, я начну говорить с вами об отравлении? Не дождетесь, – сказала Мария, с сожалением посмотрев на разбитую бутылку: капельки

* Mani propria – собственной рукой (лат.)

пива блестели на солнце. Хотелось пить: разговор с Констанцей утомил ее, и как будто *осушил*.

– Нет, и дело не в Моцарте, – усмехнулся Сальери. – Я даже на Пушкина уже не злюсь – хороша больно трагедия получилась! Я всего лишь пытаюсь, старый дурак, понять природу гениальности! Но несколько веков жизни говорят мне только о том, что познать сие невозможно... На самом деле, барышня, наши отношения с Моцартом не были из рук вон плохи. И, между прочим, в 1791-м я сам дирижировал его ре-минорной симфонией – вас тогда на свете не было, вы не можете *всего* знать. Я очень любил его оперы. Как-то Моцарт лично привез нас с Кавальери на постановку «Волшебной флейты» ...Моцарт, которого Я отравил? Как глупо! Вот все пишут, что осенью 1823-го в состоянии «помрачения» я хотел перерезать себе бритвой горло; якобы меня замучила совесть. Но... мне почему-то хочется сказать это тебе, Мария: ничего правдивого в слухе об отравлении нет. Я говорил когда-то то же самое Мошелесу, перед смертью. Ты ведь знаешь – говорят, я отправил на тот свет гения. *Но нет, злость, чистая злость, скажите об этом миру...*

– Дорогой Сальери! – Мария взяла его за руку. – Не парьтесь. Я ни в чем не обвиняю вас. Мне просто иногда кажется, что я в этой самой Ялте – «жемчужине Крыма» – совершенно сошла с ума. Я разговариваю с давно умершими родственниками Моцарта, с вами, с Вольфгангом – как с живыми, а с теми – ну, с ними, – Мария показала рукой на *живых людей*, – не могу! Я ВСЯ КАК БУДТО НА ДРУГОМ ЯЗЫКЕ.

– Понимаю, – сказал Сальери. – Но тебе нужно еще разок увидеть Его.

– Еще разок?

– Еще разок! – подмигнул Марии Сальери и исчез.

ЛУКА – изгиб, погиб, кривизна, излучина; заворот реки, дуга... Црк. лукавство, кривизна души... ЛУКОМОРЬЕ – морской берег, морская лука.

...нежный, избалованный ребенок... родился 1756 года, 27 января... хроническое заболевание почек... протертая ячменная каша – с утра, а на ночь маленький стакан молока с толчеными зернами Melaun, немного макового семени... самое большое потрясение – в мюнхенском госпитале: безносый, из-за сифилиса, композитор Йозеф Мысливечек... пьет черный порошок и настой бузины, чтобы пропотеть: это катар, сопровождающийся... катар переходит в бронхит... принимает винный сок и миндальное масло, после чего чувствует себя лучше... соната для клавира a-moll KV 310, посвященная матери... наряду с Гёте и Лессингом был одним из трех виднейших масонов восемнадцатого века... «Масонская похоронная музыка» KV 477... жена теряет пятого ребенка... первые упоминания о роде датируются 1630-ми гг., когда его прадед-каменщик, Давид... Алоизия... бежать из Зальцбурга... бильярд, карты, верховые прогулки... австро-турецкая война, когда музыка по известным причинам переживала упадок... первый струнный квартет написан за вечер в заштатной харчевне итальянского городка... *очень болят пальцы, потому что все время пишу оперу...* за полчасика сочинен в Болонье сложнейший четырехголосный контрапункт... оба Гайдна и падре Мартини... трактир «Серебряная змея»... типа, гения нельзя оскорбить бытом... среди великих музыкантов был первым, кто предпочел необеспеченную жизнь свободного художника полукрепостной службе у... средства к существованию добывал эпизодическими изданиями сочинений, уроками игры на фортепиано и теории композиции, а также «академиями» (концертами)... должность императорского и королевского

камерного музыканта сковывала творчество... «приезжающий в Зальцбург через год глупеет, через два превращается в кретина и лишь спустя три года становится настоящим зальцбуржцем»... гармоническое и яркое по выразительности искусство... один из важнейших этапов в мировом развитии оперы, симфонии, концерта, камерной музыки... основоположник классической формы концерта... композитор нередко обходился без предварительных эскизов... отнюдь не был ангелом в земной жизни... *парлировать... пардонировать...* сложнее дело обстояло с синтаксисом музыканта... судьба публикаций сохранившихся писем к кузине необычна: сначала они были признаны непристойными... но его склонность к проказам... «Реквием», концерт ре-минор, «Женитьба Фигаро»... щелчки фотоаппаратов... Фантазия ре-минор, «Дон Жуан»... камера наезжает... «Пражская симфония»... глаза героя крупным планом... да здравствует... *#до-ре-#до ми-ми, си-#до-си-ре-ре...*

Мария, надев наушники и нажав Play коробочки, в которой приютилось интервью, стерла игру сразу после прослушивания, а потом положила на язычок конфету Mozart, забыв снять обертку. Не без удовольствия Мария откусила гению голову: это снова оказалось реально *вкусно* – Mozart! Впрочем, только что Мария выпила достаточно виски – она всегда боялась летать самолетами «Аэрофлота» .

– *#До-ре-#до ми-ми, си-#до си ре-ре...* – напевал человек в камзоле и белом парике, шагающий по ялтинскому воздуху: он еще не знал, что Мария не долетит. – *Ля, ля-си, си-#до, ми-ре-#до, си...*

Но с 1791-го он был счастлив: так говорила Мария.

Мария АНУФРИЕВА

Родилась в 1977 году в Петрозаводске. В 2001 г. с отличием окончила факультет журналистики С.-Петербургского госуниверситета. Работает в сфере рекламы.

Рассказы публиковались в журналах «Дружба народов», «Кольцо А» и «Пролог». Роман «Медведь» вышел в издательстве «Время» (2012).

Живет в Санкт-Петербурге.

ПОГОВОРИТЬ

Amor non est medicabilis herbis

Нет лекарства от любви

Овидий, «Героиды»

Уже полгода я западаю как сломанная кнопка «пуск» у переставшего скрежетать лифта. На мне никуда не уедешь, я никого никуда не привезу, даже двери не открою.

Шесть месяцев назад я поскользнулась на присыпанном опавшими листьями случайных встреч пути. Не удержалась на ногах и угодила в яму щекочущих живот мечтаний. И с тех пор падаю в нее вверх тормашками и все никак не могу приземлиться, словно лечу в ущелье Марианской впадины, мимо крутых ее склонов, к самому дну Земли.

«Бабочки в животе порхают» – красиво, но уже избито. Порхают ли? По-моему, дерутся или трахаются. Для бабочек это главное дело. Вот вы спросите у биологов... Самцы семейства Papilionidae оплодотворяют самок с ещё не расправленными крыльями, как только они выходят из куколок. Нимфалиды и толстоголовки преследуют самок как в полёте, так и сидя «на посту» – на верхушке дерева или куста... Один лауреат Нобелевской премии доказал, что самцы бабочек пытались преследовать птиц размером с дрозда и даже собственную тень. С известными одному лишь лауреату намерениями они стремительно кидались ко всему, что двигалось, будь то насекомое, падающий лист или идущий человек.

Мои «бабочки» охотно трахаются и без усталости размножаются. Иногда я ни о чем и думать не могу, только прислушиваюсь к их порханию. Если бы можно было их вытравить нафталином, подобно моли, я бы засыпала его себе в горло.

Да какие, к черту, бабочки. Когда я думаю о нем, то превращаюсь в старый разохшийся бочонок с квашеной капустой. На голове у меня лежит здоровый серый каменюга. Капусте он помог бы дойти до положенной кондиции засола. Но черепной коробке не на пользу: плющит пожухшие листья мыслей старых и хрупкие зачатки новых, оставляя лишь кочерыжку канючащего: «Я люблю его». Ребра стягивают ржавые железные обручи, и кислая квашеная жидкость сочится из щелок, переливается через

край, если замечтавшийся бочонок встряхнуть: «Станция метро "Лиговский проспект!" Следующая станция...»

Если уж начистоту, «до донца», до дна то есть бочонка, до кочерыжки – никакие это не шесть месяцев. Четыре раза по шесть. Стыдно признаться самой себе.

Но я борюсь – с собой, с ним, с его образом в моей голове. Один в поле не воин. Год назад я даже завела себе соратника.

Как Санчо Панса не сознавал безумия своего хозяина, так и мой постельный вассал, получивший во владение тело взамен на личную преданность, вряд ли может помыслить, что стал участником безумного действия: его клин призван вышибить засевший во мне клин. И не любовью мы занимаемся, а клин клином вышибаем, да все не вышибем.

Для чего нужны любовники? Для того чтобы заполнить пустоту. Внутри меня простираются пустоши, зияют пустоты – там, где должен быть он, и я заполняю их суррогатом любви, горстями глотая дженерики осуществленных желаний вместо одного лекарства с патентованным действующим веществом – любовью.

Впрочем, дженерики помогают. Действие их недолго, но эффект кумулятивный. Создают ровный фон, притупляют сознание.

Так и устроена жизнь: любишь человека, а он не подозревает об этом и тоже кого-то любит. Кто-то любит тебя, но тебе нет до этого дела. Кнопка сломана. Двери лифта закрыты. Будьте любезны топать пешком. Мимо.

Люблю мексиканскую кухню за ее чимичангу, начо и остроту, которая жжет нутро и травит поселившихся там бабочек. В мексиканские рестораны надо ходить именно с любовниками и заливать пустоту лавой горячего молочно-шоколадного с ванилью чокولاتля. Вождь ацтеков Монтесума так любил этот напиток, что ежедневно выпивал по пятьдесят бокалов. Может, и его, бедолагу, сжигала изнутри неутоленная жажда.

Яркая, без полутонов, вывеска. Красно-зеленый Saloon и круглое, румяное, улыбающееся черными усами лицо дона Педро. Ресторан «Салун Педро». Оставь свой сплин и рефлексию всяк сюда входящий. Добро пожаловать, ипохондрики, в Мексику.

Внутри зелено от стоящих вокруг столиков кактусов и красно от развешенных по стенам гирлянд красного стручкового перца. Кактусы повсюду: маленькие колючие пузаны на столах, похожие на зеленых колючих снеговиков фигурные кругляши в стенных нишах, утыканные шипами и усеянные розовыми соцветиями кустистые семейства на барной стойке, мясистые, в рост человека, буро-зеленые фаллические сталагмиты, вздымающиеся из кадок у входа.

Зеленой и красной краской расцвечены нарочито грубые деревянные стулья с вырезанными причудливыми узорами на высоких спинках. Зелеными и красными нитями вытканы орнаменты на развешенных по залу коврах.

В «Салуне Педро» мы одни, если не считать развалившегося на широком кованом сундуке ковбоя. Рука закинута за голову, добротный кожаный жилет распахнут, потертая рубашка в клетку топорщится на животе, широкополая черная шляпа надвинута на лицо, чтобы яркий свет не мешал спать.

– Хочешь поговорить? – спрашивает меня ковбой настоящий. Перегнувшись через маленький столик, он сжимает мою ладонь длинными пальцами и застывает.

Он не ждет скоро ответа на свой короткий вопрос. Привык, что люди раздумывают, когда он предлагает им поговорить, даже знакомые. С пси-

хиатрами разговоры по душам чреватые. Ляпнешь о себе лишнее, а диагноз уж готов. Неприятно. В лицо, конечно, не скажет, про себя подумает. Еще неприятнее.

«Поговорить» имеет совсем другое значение, не то, что у обычных людей: поболтать, посплетничать, обсудить новости. Поговорить – это обсудить скрытые страхи, выявить комплексы, обнажить тайные желания.

Познакомились мы на заправке, что, конечно же, с позиций психоанализа можно объяснить глубинными бессознательными мотивами. Секс и машины лежат в одном лукошке.

Людмила Добрыйвечер сумела стать королевой бензоколонки и кумиром миллионов зрителей в стране, где секса не было, как выяснилось позже, при ее распаде. Так что кладем заправки в то же лукошко.

Плакат с девушкой в стиле пин-ап, уверенно и крепко держащей над чуть запрокинутой головой шланг заправочного пистолета, ловящей раскрытыми алыми губами стекающие с него капли, – самая вульгарная и откровенная констатация этого факта. Я видела этот плакат на заправочной станции в унылой глубинке. Идеи феминизма и гендерного равноправия заплутали в лесах по дороге туда, где женщины тащат картошку с хилых совхозных полей и продают ее на обочине дороги, чтобы вытащить из нищеты детей, а мужчины считают судимости за совершенные по пьянке хулиганства и недосчитываются к сорока годам половины зубов. На заправочную станцию с девицей из другого мира выстраивается вереница машин, хотя по соседству есть и другие заправки.

С пистолетом в руке я крутила крышку бака, но она не давалась, засела как влитая, только пластмассово повизгивала в ответ на мои усилия.

– Позвольте я вам помогу. Ну что же вы, крутить-то надо в другую сторону! – сказал высокий молодящийся мужчина с седыми висками.

Вечно попадаю впросак, как только дело коснется автомобиля. Недавно оставила включенной магнитолу, всю ночь машина слушала песни, которые к утру усыпили ее аккумулятор.

– Наверное, за руль садитесь редко. Тут практика нужна! Кофе со мной выпьете? – спросил он, аккуратно вставляя хобот пистолета в послушно откряхшееся ему отверстие бензобака.

Психиатр мне нравится, особенно когда сквозь сжатые зубы у него вырывается стон, который я угадываю, еще не слыша, по одному только учащенному дыханию сзади. Главное, не оборачиваться: даже дергаясь и мыча мне в затылок, он смотрит участливо и серьезно, словно выписывает справку.

Он любит целоваться и говорит, что медицина доказала: секс без поцелуев – что непропеченный пирог. Из уважения к медицине я закрываю глаза и тянусь к нему, но в последний миг открываю их и вижу его с закрытыми глазами и вытянутым языком. Кроме носков на нем ничего нет, и я хохочу, забыв о кокетстве. Он открывает глаза и пытается поцеловать силой.

– Язык откушу! – обещаю я и, чтобы оторвать от себя, погружаю ногти в его плечи, такие же поджарые, как и все тело.

За «поджарые плечи» иной филолог поджарил бы меня живьем, но над тем филологом не качались эти плечи по десять минут три раза подряд. Поджарые, будто их поджарили.

– Извини, – говорю я, – давай лучше трахаться, без этих телячьих нежностей.

Он делает вид, что смирился, и покорно утыкается в меня, но еще несколько раз за вечер идет в романтические атаки и снова терпит в них поражение. Целоваться нельзя, это против правил.

«Поговорить»... Иногда я по несколько дней не выхожу из дома, занавешиваю окна и представляю, что все забыли обо мне. В такие дни я не умываюсь, много сплю и существую вопреки себе. Это не депрессия, потому что она имеет начало и конец, это обратная сторона меня. С ней бесполезно бороться, надо лишь дать ей почувствовать, что уважаешь, и время от времени выпускать на волю.

Но вообще-то я – очень милая. Заботливая, толковая, умненькая. Меня вроде любят, и я вроде не ошибаюсь.

«Поговорить»... Или, может быть, начать с того, что иногда мне хочется превратиться в матрасик. Когда я вижу над собойдвигающиеся в заворачивающемся ритме мужские плечи, мне хочется стать полосатым матрасиком. Небольшим, компактным, для односпальной кровати. Чтобы, когда движение плеч закончится, их обладатель мог скатать удобную подстилку, взять по мышку и забрать с собой, чтобы каждый раз, расстилая, оказываться на мне.

«Поговорить» и не забыть одну безделицу. Иногда мне кажется, что я – это не я. В разгар дня или перед сном, на знакомой улице или дома носом к красному ворсу ковра на стене.

Щёлк, и я не понимаю: «Что я тут делаю? Я девочка, у меня есть папа и мама, и здесь вообще-то мой дом. Какая девочка? Ты-то знаешь, что ты не девочка? Ну, то есть будь девочкой, сколько влезет, но ты – не она. Это не твоя жизнь, чужая, что ты делаешь в шкурке девочки?» – раздаётся голос в голове. «Что делаю? Вот лежу... И если я – не девочка, то девочка-то сама где? Жаль ее, если пропала, и что теперь делать, я-то кто, куда мне? И родителей жалко – где их девочка? Вдруг узнают, что я – не она». Щелк, и вроде все нормально.

Я старательно вживаюсь в свое существование до тех пор, пока не перестаю видеть противоречия между ним и собой. И тогда мне кажется, что я – это несколько девочек. И даже можно дать им разные имена. Вот только как они умудряются жить друг с другом в ладу, не подравшись, не ясно.

– Поговорить хочу, – киваю я головой. – Как дела на работе?

– Отлично! Психиатрическая лечебница – самое спокойное место в городе.

Я опрокидываю стопку текилы. Залпом. Как говорит психиатр, у меня высокая резистентность.

Он забыл трубку и согласился на мои сигареты. Врачи предпочитают курить трубки – так менее вредно. Они – Хемингуэи и не потребляют дерьмо, как их пациенты.

Когда-то он служил в Советской еще армии, а с Российской вовремя расстался, вылежав справку о негодности по здоровью в госпитале. Но военный человек нигде не пропадет. Вот и лечебное дело может оказаться прибыльным, если из полкового лекаря переквалифицироваться в психиатры.

Живет один. Его сын унаследовал отцовское слабое здоровье, но недуг дал знать о себе раньше. Не успела упасть в почтовый ящик повестка из военкомата, как юноша занемог. Жестокий приступ вегетососудистой дистонии приковал его к постели и слегка нарушил сознание прямо в больнице отца. Шутка ли, объяснял психиатр: сто пятьдесят симптомов и тридцать два синдрома клинических нарушений у этой дистонии. Одни только головокружения, дрожь в коленях неясной этиологии и похолодания рук и ног чего стоят...

Когда подтвердилось, что к службе сын негоден, отец отправил его лечиться от дрожи в Германию. О женах он мне никогда не рассказывал: ни о первой, ни о второй, ни о третьей.

Несмотря на то что пути с воинской службой разошлись, он сохранил некоторые армейские привычки. С первыми холодами надевает кальсоны, на случай долгого марш-броска от машины до кабинета. Вдруг его джип увязнет в снегах в тех трех кварталах, что отделяют дом от клиники, где он практикует, и больницы, где он числится. Быстро, по-солдатски одевается, закончив все дела в постели. Но в самой постели не спешит: дотошен, обстоятелен, вынослив и крайне трудолюбив. Как будто красит зеленой краской газон или копает траншею, не задавая лишних вопросов. Привычка – вторая натура.

Как человек в душе военный, хоть и пообтершийся до лоска на гражданке, он не очень понимает модное словечко «толерантность». Вариативность нормы в тонкой паутинке человеческой психики кажется ему сродни меню в солдатской столовой: макароны по-флотски, котлета с гарниром, рис с сосиской, четверг – рыбный день. Рыба потрошенная без головы: 120 г на человека в день.

Но профессия все же берет свое. Недавно психиатр с доверительным видом сообщил мне, что в полнолуние предпочитает не выезжать из дома, даже если самые денежные родственники пациентов одолевают его звонками и просьбами. Кроме того, американцы разработали систему климатического контроля над миром ХАРП, и небывалая жара, которая случается в северных широтах – их рук дело.

– Видишь, тучка на горизонте, в которую солнце садится, с четкими краями? В природе так не бывает. У настоящей, правильной тучки края размыты и нет четких границ. А это неправильная, их тучка...

Но это ерунда. Вот его коллега после напряженной рабочей недели едет на дачу, забирается на чердак, баррикадирует ходы-выходы и сидит там два дня, один-одинешенек. Даже биогоршок купил, чтобы не спускаться. А утром в понедельник горшок вынесет, лицо колодезной водой умоет, душ примет, кофе заварит и – на работу, возвращать психическое здоровье гражданам.

Другой коллега меняет галстуки восемь раз в день. В одном галстуке ему тяжело, он задыхается, начинает багроветь, будто воздуха не хватает, чешется, срывается на пациентов. А как сменит галстук – другой человек, душка, лапа, Айболит.

Так что полнолуние и подозрительные тучки – это ерунда. Небольшая брешь в крепкой броне психического здоровья психиатра.

Да, и у него отличное чувство юмора. Регулярное, как работа здорового кишечника. Специфически врачебное, как свет операционной лампы. Вроде и светло, а мурашки по коже от этого света. А ему ничего, он привык.

Я не знаю ни одного врача, который в глубине души не смеялся бы над пациентом. Нет, не над несчастным Васей, взрастившим к сорока годам язву желудка или геморрой. И даже не над Инной Ивановной, носящей заряженные магнитными наночастицами целебные турмалиновые трусы от варикозного расширения вен на ногах и прочего бесплодия. Над Пациентом – как явлением, сгустком невежества. Это смех сквозь слезы, но все же смех.

Я тоже чувствую себя идиоткой, когда психиатр объясняет мне «на салфетке», как работают ацетилхолиновые цепочки:

– Ну, поняла? Это же так просто!

– Поняла, – киваю я, чтобы скрыть, что не поняла ничего. Школьные уроки химии оставили мне скудный багаж знаний в виде одного словосочетания «лакмусовая бумажка».

Он говорит много умных слов, которые открывают мне: быстрее сильных мужских рук женские бедра могут раздвинуть умные мужские слова.

В такие минуты мне хочется подчиниться ему и подчинить. Подчинить то, что я не могу понять. Подчинить и поглотить. Поддаться и вместить в себе, растворить, насытиться. Стать его продолжением и началом.

Не исключено, что ему хочется того же. Но внимательные серые глаза, хоть и блестят, не дают мне ответа, они – выписывают справку.

Любой врач для обывателя немного иной. Я тоже обыватель и исследую психиатра как инопланетянина. Интересно, если ткнуть в него иголкой, выступит ли капля крови? И если да, не будет ли она синего цвета... А душа у него такая же, как у меня? И есть ли она вообще...

Исследование продолжается и в постели. Там он ведет себя предсказуемо. Обычный мужик, хотя нет... Разве обычный скажет:

– Я лекарство начал принимать, для нормализации сердечной деятельности. Период полувыведения четыре часа составляет. Ты ничего не заметила?

Да, пожалуй, он иной. Ни с кем другим я не представляла, лежа в постели, убористый шрифт медицинской инструкции и то, как медленно тают в желудке метаболиты сердечных пилюль.

– О-о-о, *musculus gluteus maximus*, – постанывает он за моей спиной и щиплет филейную часть, хотя мог бы просто сказать: – Ничего у тебя задница.

Иногда я думаю, что эта инаковость и есть тот главный рычаг, который приводит в движение механизм наших с ним отношений. Иной интересен, привлекателен, манящ, даже если отличие между вами не толще сложенной вчетверо бумажной инструкции.

– Ты хотела поговорить, – напоминает он.

Да, хотела. Понимаешь, я выбиваю, выдалбливаю, вытрахиваю, выгоняю тобой ненужную мне влюбленность. Я хотела бы влюбиться в тебя и выздороветь. Но как раковые клетки не хотят покидать человеческий организм, так мысли о другом пускают во мне метастазы. И, словно измученный борьбой с болезнью пациент, говорить я могу только о своем недуге или о ерунде. Собственно, все, что не касается недуга, для зацикленного больного и есть ерунда.

– Правда, что в истории про Винни-Пуха ослик Иа страдает тяжелой эндогенной депрессией, поросенок – психостеник, а у Тигры истерия?

Ковбой в углу по-прежнему безмятежно спит. Какой-то шутник расстегнул ему ширинку и вставил в нее свернутую трубочкой бумажную салфетку. Ковбой даже не заметил оскорбления и тем только обнаружил свою ненастоящность.

Психиатр сегодня тоже в клетчатой рубашке. Ему бы зеленый пиджак, а мне красное платье, и тогда мы станем частью этого двухцветного рая. Красивые и однозначные, завершенные, состоявшиеся, как и должно быть в раю. Готовые продолжить линейку безупречных восковых манекенов.

Даже если мы превратимся в идеальную восковую пару, тлеющий во мне огонь когда-нибудь вырвется наружу и спалит бутафорский рай к чертовой матери. Дотла. Без разговоров.

Ольга РЁСНЕС

Родилась в 1951 году в Воронеже, окончила физический факультет и факультет журналистики Воронежского госуниверситета. Доктор филологических наук.

Автор шести романов. Финалист VIII Международного мультимедийного фестиваля «Живое слово», победитель VI международного конкурса «Литературная Вена». Член Союза российских писателей и Норвежского союза писателей.

С 2001 года живет в Норвегии.

ПО СОСЕДСТВУ

Пропахший бензином и слежавшейся пылью куцый автобус рванул на последнюю вспышку зеленого света и, успев свернуть к остановке, безнадежно застрял в очереди еще не отъехавших от тротуара чудовищ, пыхающих черным, вонючим дымом на скучно и бездейственно ждущих, размякших на яростном майском солнце баб и старух, обычно едущих в это время с городского рынка...

Сидя впритык на узкой скамейке, с авоськами и ведрами на коленях, бабы терпеливо ждут автобуса. Жаркий май, с едва промелькнувшим черемуховым сквознячком и спекшейся на солнце сиренью, торопит уже яровые и всякого рода сорняк, и разговоры у баб об одном и том же: посадить, прополоть... ну и, конечно, про скотину, у кого загуляла, у кого отелилась корова. Бывает, бабы принимаются спорить, какой бык для случки годится, а какой так себе, и всегда выходит, что нет в деревне быка лучше Вартана и что достоинства у него бычьи. Спор нередко переходит в ленивую перебранку, задевающую мужа, соседа или зятя, хотя ни у кого из них нет и трети того, чем силен бык. Прохожий прислушивается, пытается вникнуть, и сдается ему, что бабы, они же старухи, посходили все разом с ума.

Бабка Тоня, шустрая в свои семьдесят с лишним лет, голубоглазая старушка с загорелым уже с ранней весны морщинистым лицом, крепкими, как у мужика, руками и все еще прямой, легко гнущейся спиной, отсиживает на остановке по два-три часа, экономя восемь рублей и имея в ожидании свой тайный старушечий смысл: мимо нет-нет да и проедет сын и махнет ей из кабины автобуса. Кроме двух коров, сына и внучки, никого у нее в мире не осталось, хотя соседей вокруг много и всем приходится угождать. Сын недавно отстроился, внучка взрослеет, и если бы не молоко, сметана и творог, охотно разбираемые на улице, не осталось бы в жизни ни одного выходного, все только работа. Богатым, сколько ни работай, все равно не станешь, а самое лучшее, что только в жизни бывает, оно бесплатно, это бабка Тоня знает наверняка. Никто ведь не назначает цену

радости, с которой при виде сына бабка Тоня достает из авоськи банан или апельсин, и сыну приходится больше положенного стоять на остановке, слыша сзади нетерпеливые гудки, паря в автобусе людей и нетерпеливо матери улыбаясь, и она долго потом машет ему вслед, и радости ее многие завидуют

Нехотя тронувшись с места, переполненный куцей автобус лениво катит мимо безнадежно унылых, пестрящих рекламой и телефонными номерами заборов и стен, мимо втиснутых в бетонные дыры, изнасилованных гарью и пылью кустов сирени и напрасно тянущихся вверх тополей, и не на что больше смотреть сквозь пыльные окна. Но чем ближе к окраине, тем быстрее мелькают тополя, заборы и прилепившиеся к обочине киоски, и вот наконец шоссе, продуваемое со всех сторон ветром, на открытой придонской равнине, среди томящихся уже от засухи полей.

У окна, рядом с бабкой Тоней, мается от жары Марина Мстиславовна, недавно переехавшая из города. Она еще не старуха, но в возрасте, с отеками, тяжелыми в коленях ногами и все еще сильным, хотя и располневшим телом. Лицо у нее строгое, всегда немного грустное, как бы даже нездешнее, глаза смотрят пронзительно и холодновато. Их цвет спрятан за толстыми стеклами очков, и лишь изредка, в особые минуты, угадывается в них зеленовато-голубое, прозрачное, солнечное. Разговоров она не слушает, все только глядит в окно, будто там, среди клочковато засеянных полей, есть что-то стоящее. Живет она напротив бабки Тони, на полдома со школьной учительницей, никакого богатства напоказ не выставляя, да и вряд ли что-то, кроме пенсии, имея. Огород у нее вторую уже весну не пахан и весь зарос одуванчиками и пылью, и собака гуляет, сколько ей хочется, по этому пустырю, вволю облаивая прохожих. Соседи, конечно, советуют: «Тута надо сажать картохи, а тута капусту...» Бог ведь за пустую землю накажет. И никакие одуванчики с клевером, никакие донники и ромашки не идут в счет: с огорода должна быть выручка. Вон у учительницы Лилии Николаевны: ряды помидоров и лука, редиски и укропа, клубники и огурцов. И между рядами ни одного сорняка, и все унавожено и полито. Учительница смотрит из-за забора, как носится по траве собака, и вдруг с изумлением замечает, что собака... в трусах! В настоящих, девчачьих, с кокетливой оборкой, трусах. Учительский опыт тут же Лилии Николаевне и подсказывает: либо соседка из психов? Догадка эта вскоре подтверждается: в дождь собака выходит в синем, с молнией на спине, комбинезоне, а как похолодает, на ней уже красный комбинезон, с меховым отворотом, а на носу замотана шнурком косичка.

Сосед Борька, держащий коз и по случаю подрабатывающий на стройках, первый прознал, что Марина Мстиславовна врач: только глянула раз, и уже знает, что за болезнь, и рецепт уже на бумажке пишет.

Лилия Николаевна поначалу не поверила, что соседка у нее врач: слишком уж незаметна. Важность, значительность, недоступность, где они? Врач должен производить впечатление ну что ли... заслуженного учителя. Оно ведь и зарплата у врача, неважно, какая: платят большие, заранее благодарные и просто перепуганные насмерть. Это почти как в школе, где ни один учитель не умер еще с голоду от бедности. Поразмыслив о взаимосо-седской выгоде и перспективе передвижения пограничного забора, Лилия Николаевна достает из морозилки кусок сала и, подумав, добавляет еще полкусочка и с этим идет к соседке:

– Будем теперь подругами.

Она говорит это со всей учительской искренностью, как на родительском собрании, давая словам таять, как свиному салу во рту. Говорит

многозначительно, округляя улыбкой требовательность заключенного в словах смысла: «Будешь у меня в подругах, и не спрашивай зачем!» Улыбка у Лилии Николаевны профессиональная и складывается из накрашенных губ сама собой, без малейших со стороны мозга усилий, и на эту липучку безотказно садятся мухи повиновения и страха, жужжа о сладости взаимопонимания. Но тут, в этой пахнувшей свежей сиренью прихожей, чувствуется холодок и сдержанность, от которых даже у заслуженной учительницы начинается путаница в понятиях. Обстановка тут, кстати, не бедная, есть к чему присмотреться. И уходить пока еще рано, надо бы расположиться, присесть. Едва не примяв лежащую на мягком стуле фасонную шляпу с шелковой розой, Лилия Николаевна деловито берет находку: от шляпы веет каким-то туманным, забугорным прошлым с большими магазинами и театрами, и очень она, пожалуй, идет к недавно сшитому учительскому пальто пятьдесят восьмого размера, и следует ее тут же, перед мутноватым, в дубовой оправе, зеркалом примерить. Зеркало тоже ничего, антикварное, как у Абрамовича, о чем рассказывают по телевизору очевидцы. Но не все сразу, постепенно. И хотя Марина Мстиславовна решительно прячет шляпу в шкаф, а насчет зеркала ничего не обещает, сомнений у Лилии Николаевны никаких нет: это добро уже не чужое. И чтобы утвердиться в своей учительской правоте, она непридуманно трогает рукав вязаной узорчатой кофты, по-домашнему мягкой и просторной:

– Не подаришь ли мне ее? Или, может, продашь? Или лучше свяжи мне точно такую же!

Кофта уже старая, не раз чиненная, и Марина Мстиславовна снимает ее с себя и, совсем еще теплую, протягивает учительнице, и та торопливо, словно у нее могут отнять, надевает ее на себя, туго обтянув рыхлым узором грудастый торс.

– Отлично, – повернувшись туда-сюда перед зеркалом, заключает она, – завтра у меня открытый урок, все обратят внимание... Не свяжешь ли ты мне носки?

Отойдя чуть в сторону, словно опасаясь обо что-то испачкаться, Марина Мстиславовна сдержанно кивает: носки так носки. Случай явно клинический: прогрессирующая в такт с возрастом жадность.

Автобус набирает под уклон скорость, несетя мимо заливных, с редкими ивами и березами, лугов, впуская в исхлестанные занавесками окна запах полыни, бензина и пыли. Разговоры по мере приближения к деревне становятся интереснее, даже шофер, и тот кричит что-то бабам из кабины, но те только приказывают: «Ехай, Витек, шибче!» И пока не доедут до Дона, не умолкнут, а то даже и перессорятся.

– Моя-то, как соберется телиться, все ходит туда-сюда, щиплет траву, волнуется, – держа между расставленных толстых ног набитую батонами авоську, охотно поясняет потная, мордастая бабенка в широкой цветастой блузе и с шифоновым шарфиком на короткой шее, – а я ей пшенной каши, да с молоком!

– А моя второй уже год не гуляет, – завистливо бормочет худая, с гладко зачесанными в косицу волосами, наполовину беззубая старуха, – я уж собиралась ее зарезать...

– Потому и не гуляет, что чует смерть, – весело отзывается бабенка, – чует твое душегубство!

– Уж прям, – сердито пыхтит старуха, – скотина ведь.

– У скотины тоже душа, – оборачивается к старухе Марина Мстиславовна, – с горестями и радостями, с животной к тому же страстью. Ты ешь,

к примеру, говядину, а душа убитой коровы тоже тут, рогато подступает к тебе...

– Не слушайте ее, бабы, городскую, – сердито перебивает ее жилистый, в поношенном, с полоской орденов, пиджаке, старик. – Она и коров-то никогда не видела! Скотина для того и существует, чтобы ее резать!

«Да какая же это у коровы душа? – недоверчиво думает бабка Тоня. – Мясо да молоко да еще приплод... и снова мясо и молоко...» О душе лучше до срока не вспоминать, а как придет срок, намаешься и отмучаешься, так и унесется она, больше уже ни на что не годная, к небесам. Бабка Тоня, впрочем, в это не верит: никто ее, душу, никогда не видел. А уж коровью душу и подавно: нет такой на свете.

Но вот наконец серо-голубая полоса реки, шофер осторожно въезжает на мост, под автобусом тяжело лязгают железные понтоны, шибая, как на ухабах, на каждом стыке, и медленно, натужно, неохотно автобус ползет к правому, высокому берегу, мимо заржавелых моторок и недостроенной каменной дамбы, мимо очереди стоящих в ряд машин, ползет на бугор, заросший никудышными, мусорными тополями, и, сменив со скрежетом скорость, выбирается на шоссе.

...Грузно ступая по заметенному черемуховыми лепестками асфальту, Марина Мстиславовна дает себя обгонять спешащим к своей скотине старухам, и те не без злобы думают: «Безхозяйственная, не наша». Они поглядывают, бывает, в ее окна, а там круглый год зелень, разные фикусы и пальмы, словно от этого есть какой-то прок, уж лучше бы держала помидорную рассаду. Но постепенно к этому привыкают, да просто перестают замечать городскую дурь, тем более что Марина Мстиславовна живет тихо и незаметно. Где-то в городе у нее сын, но тут она мается одна, с трудом доползая на распухших ногах до продуктового киоска. И всякий раз, принося молоко и творог, бабка Тоня примечает ту особую сноровку и терпение, с которыми Марина Мстиславовна моет бидон, замешивает тесто, разминает руками жирные катышки, лепя совершенно одинаковые, как на продажу, пирожки. Она ничего не продает, но угощает всегда охотно, будто для того только и старается. И хотя бабка Тоня ходит к ней за просто, расстояние между обеими остается порядочным: не так-то просто в душу к этой городской въехать. Нет, непросто. И это неодолимое расстояние наводит бабку Тоню на мысль о какой-то уж очень большой важности, с какой не всякому человеку удобно жить. Да что это, в самом деле, за важность? Редкое умение и хватка? Ум? Оно ведь и у других тоже есть ум, к примеру, у живущей рядом учительницы, но только не у всякого ума оказывается достаточно... понятливости. Сосед Борька, когда выпивши, соображает лучше других: брешет ну прямо как в Госдуме, заслушаешься. Но есть, оказывается, и на его светлую голову управа. Шел он как-то, злой, с похмелья, мимо калитки, и давай бросать комья земли в лающую за сеткой собаку:

– Оторву твоему кобелю яйца!

Марина Мстиславовна выходит, стоит на крыльце, наблюдает. Потом спокойно так, убедительно возражает:

– Не оторвешь.

Борьку это изумляет и злит еще больше: он-то не оторвет? Это он-то? Если надо уговорить корову, овцу, кролика, курицу, зовут кого? Борьку! Свиной, какие размером с обеденный стол, он бьет из двухстволки, поросят закалывает, не успеют те и пискнуть. Дернув себя для бодрости за шатающийся верхний зуб, Борька орет из-за сетки:

– Оторву!!!

Марина Мстиславовна достает из кармана фартука триста рублей, и так же спокойно:

– Даю пятьсот, что не оторвешь.

Борька, едва от злости на ногах, орет, пугая на деревьях ворон:

– Выпускай!!! Оторву!!!

А она спокойно, как в дежурной аптеке:

– Не оторвешь, потому что это сучка.

Чуть было сам не усомнившись в своем уме, Борька дал жене вволю над собой посмеяться и по ходу дела обнаружил, что прозевал самое главное: свое собственное, в глазах молодой бабенки, отражение. В ее прищуренных, угольных, жалящих, кусачих глазах. Ей вовсе не льстило слышать каждый день от соседей: «Твой-то проспался?» Соседи посмеиваются над Борькиной простотой: руки-то работают, но голова где-то гуляет. А тут еще эта сука, у которой не оторвешь яйца... смех и срам. Порой бабенка так от всего этого расстраивается, что готова поубивать соседей, если бы было можно. И черт, неотлучно возле нее дежуривший, спасибо, подсказал: бросить что-нибудь врачихиной собаке. Подойдя под вечер к калитке, она торопливо достала из пакета отравленную крысидом колбасу и швырнула ее за сетку, швырнула на всякий случай и соседской собаке, которая тоже часто на прохожих брехала. И стало ей после этого не то чтобы легче, но... как-то слаще: «Чтоб им всем сдохнуть!» Обе собаки начали сдыхать уже на следующее утро: из пасти, из носа, из глаз текла, не переставая, кровь. Никакой ум тут ничего поделывать уже не мог. Тут требовалось сердце. Соседка, чей кобель был отравлен, даже и смотреть на него не хотела: повалится возле забора и сдохнет. На это Марина Мстиславовна ничего возражать не стала, дело хозяйское, но кобеля перетащила к себе, мало ли что. Обе собаки умирали три дня, лежа под капельницей, и некому было им на несправедливость случая жаловаться. «Усыпить?..» – в отчаянии думала Марина Мстиславовна и тут же принималась поить обоих минералкой, колоть глюкозу и гормоны... Через неделю собаки лакали уже молоко, и соседка, взяв кобеля обратно, не сказала даже спасибо. Зато как радовалась Марина Мстиславовна: собаки носились по траве и по-прежнему лаяли на прохожих.

С Борькой дело было куда хуже: жена отвела его к наркологу. Накануне он пытался втолковать ей, дура, что если мужик не может сам бросить пить, то и не надо его торопить с этим: бросит в следующей жизни. «Да где это она, следующая? – придиричиво шурясь на Борьку, шипела ему в лицо жена. – Есть только одна, эта! И живешь ты, олух, со мной!» С последним Борька охотно соглашался: только олух и станет с нею жить. Но теперь он подшитый, непьющий. Он строит у бабки Тони новый коровник, старается во всем ей угодить, он теперь денежный. И вместо того, чтобы, как раньше, спросить с утра: «Твой-то проспался?», соседи сочувствуют: «И опять-то он на работе...» Борька и раньше был жилистый, один наваливал кузов коровьего навоза, а теперь появилась в нем новая прыть, когда уже нет надобности опохмеляться. Новый коровник у бабки Тони отстроили, страшно сказать, за десять дней, на одиннадцатый стали крыть крышу, и Борька полез наверх укладывать шифер. Бабка Тоня обещала ему еще и «сверх того», и деньги у нее пока были, и Борька, на пропой уже больше не собирая, рад был угодить жене. Он и взялся поэтому таскать шифер сам, и любо было бабке Тоне на его сноровку смотреть: родной сын не сделал бы лучше. Но после обеда у Борьки так заныло в спине, так резануло

в поясице, что он еле слез, скрючившись, по стремянке вниз. «Надорвался, – подумал он, ложась возле коровника на траву, – а не был бы подшитый, так и не вкалывал бы...» Он лежал так с полчаса, и спина только больше леденела и каменела, так что бабке Тоне пришлось звать сына, чтобы тот помог Борьке встать. Опираясь на обоих, Борька еле дотащился до калитки Марины Мстиславовны.

Уложив его на живот, она намазала йодом, крест-накрест, спину, приготовила ампулы с ледокаином. Борька помнил, что жена запретила ему болтать о том, что подшит, но сам он имел слабость разгласить тайну и осторожно об этом намекнул...

– Да как же ты молчал! – ахнула Марина Мстиславовна, видя, что спиртовой йод начинает уже действовать. – Вот бы я вколола тебе, подшитому, ледокаин!

Борька успел только махнуть, словно на прощание, рукой, и душа его рванулась прочь, оставив тело в судорогах кататься по полу. Той дури, которая оставалась еще в его теле, хватило бы, чтобы смести с пола ковровую дорожку, и вместе с ней стол и расставленные вокруг стулья, сдвинуть с места диван, опрокинуть книжный шкаф, вломиться в стекло серванта... Хорошо, что сын бабки Тони навалился на него всем весом, свел за спиной беспорядочно колотящие воздух руки. Но Борька ухитрился куснуть его чуть пониже локтя, отпечатав все свои зубы. «Привей его от бешенства», – усмехнулся тот, смывая под краном кровь. А Борька мычал, как рвущийся на случку бык, пузырил на губах пену, и запертая в спальне собака, слыша это, беспокойно и протяжно выла...

...Посматривая через забор, Лилия Николаевна замечает всякие у Марины Мстиславовны перемены: тут всходит укроп, там зеленеет молодая елочка, возле сколоченной Борькой скамьи цветет вишня... и даже развешенные на веревке простыни, и те проходят пристальную из-за забора проверку. «Приживается, – не без досады думает она, – обустроивается и меня ни о чем даже и не спрашивает, будто меня и вовсе нет!» Ей хочется застать соседку врасплох, когда та еще не встала или моется в ванной, и она стучит, бывает, в семь утра, но чаще входит без стука, как своя, вводя в заблуждение приученную к порядку собаку и заставляя Марину Мстиславовну ронять от неожиданности ложки и сковородки. Учительнице ведь важно знать, знают ли другие, что с нею, почти уже заслуженной, поделаться ничего нельзя. Сама же она знает, что власти у зла хоть отбавляй, а о добре болтают лишь неудачники. И Марина Мстиславовна вряд ли из тех, кому в жизни везет: одинока в старости и еле ползает на своих распухших ногах. И уж никак не нужен ей, одинокой, резной круглый стол на гнутых, с львиными лапами, ножках, и еще меньше – бронзовая, под онисовым колпаком, лампа. Эти редкие вещицы Лилия Николаевна считает уже своими, и ее раздражает, что они по-прежнему стоят у соседки. Одно только ей в утешение: прокрасться по коридору незаметно, увидеть испуг, недоумение. Разве может допустить она, почти уже заслуженная, чтобы кто-то жил за забором отдельно, в свое удовольствие? Чтобы несколько не нуждался ни в советах, ни в... разрешении на саму эту самодостаточность. Чтобы радовался самому себе. Учительница учила и будет учить, что это не по-соседски, не по-нашему: иметь свой, а не соседский ум.

– Будем таперича подругами, – в который уже раз напоминает она Марине Мстиславовне, пока та поливает, опершись на палку, посаженную возле забора черемуху. Нет ничего проще эту черемуху извести: вылить под корень ведро кипятка с солью. Но это потом, потом... Марина Мстиславовна позовет собирать вишню, абрикосы... самой-то ей ничего уже не

надо. – Я к тебе за стиральной машиной, моя совсем не фурьчит. Да ты не бойся, это ж не насовсем!

Прохладный майский ветерок надувает парусом висящие на веревке пододеяльники, и к свежему, ландышевому запаху выстиранного белья примешивается такой гадкий, тошнотворный запах... пора к нему уже привыкнуть. Это не просто запах свинарника, но запах учительского свинарника, где провонявшие мочой свиньи такие от грязи злые, что загрызут, если сунешься. Им, свиньям, без разницы, день теперь или ночь: единственное в тесном закуте окошко заткнуто пыльной мешковиной. Они стоят впритык бок к боку, по колено в моче и навозе, и крысам удается жрать прямо с живого, выгрызая на загривках щетину, и напрасно свиньи трутся о железную загородку. Смысл их свинячьей жизни заключен единственно в том, чтобы перерабатывать комбикорм на сало, и это сало легко укладывается потом на широкие учительские бока, зад и живот, тем самым помогая учительскому весу поспеть за учительским авторитетом. Свинина воняет учительским, из-под мышек, потом, свиные мозги наводят на мысль об интеллигентности. И когда в закут заглядывает сосед Борька и метит из двухстволки в свинячью башку, свинья думает в первый и последний раз: «Наконец-то, счастье!» Ей мнится, свинье, в миг разлуки с адом, как хрюкается ей, чисто вымытой, в каких-то забугорных далях: у входа в белый деревянный домик висит собственный ее свинский портрет с «Добро пожаловать», дальше гостиная с портретами всех родственников, включая новорожденных поросят, потом спальня... ах, со свежей соломой, с настоящей хрустальной люстрой! Под этой сверкающей люстрой хочется мечтать о чем-то человеческом, возвышенном, хочется выйти на солнечную террасу, с которой открывается чудесный вид на конюшню и курятник, хочется... просто хрюкнуть: живут же свиньи.

– Это ты про что? – хмуро интересуется Лилия Николаевна, тяжеловесно сядя на табуретку. – По телевизору такого не показывают, и значит, нет этого вообще. Хрустальная люстра в свинарнике! Ты лучше продай мне свою лампу, на что она тебе?

– Память о муже, – нехотя поясняет Марина Мстиславовна, опасаясь заводить с соседкой долгий разговор: та не встанет с табуретки, пока все не выведает. И тут как нарочно табуретка под нею трещит, и не ухватись она за ручку холодильника, наверняка бы грохнулась на пол. Ручку, правда, пришлось менять, и сосед Борька в недоумении матерился: ну и силища у бабы. Он сказал еще, что учительнице быть заслуженной разве что у черта в аду, да и то по родственной с ним, чертом, линии...

– Болезни начинаются с непропорциональных движений души, – будто бы и не Борьке, а кому-то более терпеливому и разумному, пускается разьяснять Марина Мстиславовна, – с душевной неудовлетворенности и жажды, тоски, вожделения, ярости... Душа теряет равновесие, возникает путаница в теле, одно наезжает на другое, расхищает тело и грабит...

Борька слушает и тупо кивает, его уже клонит в сон от этих сказок, он как будто бы даже пьян. «Заморочила по полной программе», – думает он и принимается чинить табуретку, ставит на отломанную ножку железную скобу. Он думает, что врачей скоро в мире ни одного не останется, да и откуда им браться, если нет ни у кого сочувствия к человеку. Что человек, что скотина, ест, спит, телится... а надо бы знать тонкие материи, не прощитые ни корыстью, ни жадностью, ни даже личным интересом. Оно и скотину надо уважать, тем более что ни в чем она перед человеком не виновата. И даже бывает куда умнее человека, что ли, мудрее. Взять хотя бы

училкиного хряка Буша: он хоть и не из Белого дома, и ни разу в жизни не мылся, и мозгов всего-то на маленькую сковородку, и позволяет хрюшке Ягодке на себя мочиться, но врага своего знает: знает, кому ляжет на бока его сало. Есть у Буша сынок, такой же злобный и невымытый Яндекс Точка Ру, и это ему на днях Борька отрезал яйца, тем самым гарантировав качество вкуса свинины. Но Яндекс Точка Ру перестал жрать комбикорм, которого у училки две с лишним тонны, и соглашается только на бутерброд с «Эдамом», кофе со сливками и дольку грейпфрута... вот ведь скотина, как умен! Он, видите ли, перед смертью голодает, не вынося больше никакого свинства! И хотя двухстволка уже заряжена, сдается Борьке, что Яндекс Точка Ру в самой своей свинячьей сущности никуда от меткого выстрела в лоб не денется: свинину заморозят и пошлют, но идея свиньи, мировая свинячья сеть... Точка. Ру.

...Посматривая на привязанного к футбольным воротам бычка, Лилия Николаевна замечает, что у нее скачет давление, поднимается жар, выплескивается сверх меры адреналин, а главное, бегут, опережая друг друга, интересные такие мысли: двести килограммов бесплатной говядины, и это не ей, почти уже заслуженной учительнице, а бабке Тоне. Собираясь на педсовет, она надевает сшитый по фигуре креповый, пятьдесят восьмого размера, костюм, прикалывает на правую грудь лиловую бархатную розу, отступает на шаг от вделанного в дверцу шкафа зеркала, оправляет на животе намекающий на следы талии пояс, встряхивает еще не расчесанными после бигудей завитками густых, неохотно сидящих волос. В свои пятьдесят три она в прекрасной форме, и если уж кто кого в сельской школе пересидит, так это, бесспорно, она: никакой директор не обнаружит у нее ни одного профессионального изъяна. Напротив, все ее достоинства, а их не счесть, налицо, и нет такого родителя, которому не хотелось бы отблагодарить дорогую учительницу... да, она не дешевая. Тот, кто сам еле сводит концы с концами, пашет, как скотина, у нее в огороде, красит в доме полы, клеит обои, да мало ли что еще. Другие куда благодарнее: везут дорогую учительницу на своих иномарках на городской рынок, и она только выбирает, выбирает... пока в багажнике не останется места.

...Еще раз глянув в окно, Лилия Николаевна морщит напудренный лоб: рыжий бычок дотянулся до столба и шиплет вьющийся мышинный горошек, шиплет и смотрит по сторонам, и басовито мычит: «му-у-у-у...» Так мало ему, скотине, для радости надо. И главное, все это бесплатно. Совершенно бесплатно! Оно ведь и бабка Тоня так говорит: «Все самое лучшее – бесплатно». Откуда только такие глупости в голову людям приходят! На Пасху бабка Тоня угощает соседей творогом, бери сколько хочешь, будто сама она богаче других. И хотя у нее две коровы, и теперь еще этот бычок, но завтра – кто знает... На футбольном поле ни души, бледное полуденное небо одиноко и пусто, лишь жаркий ветерок треплет цветущие у обочины ромашки и крапиву. Кому-то дан мир и покой, скромное довольство малым, независтливое расположение к жизни. Лежать вот так, на траве, на солнце, с наслаждением пережевывая одуванчики, и только мычать, мычать... Внезапно Лилию Николаевну берет такая злоба, что, окажись перед нею замешкавшийся ученик, она огрела бы его классным журналом или указкой. Этот рыжий бычок уязвлял ее почти уже заслуженное самолюбие: он просто жил. Жил ради одной только радости пищеварения, нисколько не считаясь ни с близостью школы и учительской, ни с парадом педсовета. Да как он смеет так... жить!

Окликнув амстаффа, она спускает его с цепи, и тот, непонимающе оглянувшись, словно спрашивая, так ли это, неуклюже трусит к футбольному полю. Он выполняет команду, хотя лучше было бы в такую жару лежать в тени под вишней. И Лилия Николаевна зорко следит, стоя возле калитки, за ходом дела. В своем напряженном, похожем на вожделение внимании она не слышит отчаянного рева бычка, видя только, как амстаф виснет у него на морде. Пес не очень старается, чуя знакомый запах бабки Тони, наливавшей ему в миску парное молоко, он только рванул чуть-чуть, играя...

Услышав дикий рев, Марина Мстиславовна ковыляет на перебинтованных ногах к окну: к бычку бежит, сломя голову, бабка Тоня и что-то кричит, и все живущие поблизости собаки заливисто лают в ответ. Кое-как спустившись с крутых ступеней, Марина Мстиславовна ковыляет к калитке, идет, опираясь на палку, через дорогу... а надо бежать. Ее обгоняет Борька, останавливается, хватая под руку, тащит, как на буксире. Бычок ревет, обливаясь до шеи кровью: трудно сказать, жить ему теперь или нет.

Никто не видел амстаффа, придраться не к чему. Превосходно. Еще раз оглядев себя в зеркало, Лилия Николаевна сбрызгивает взбитую прическу родительской «Шанелью»: как раз сегодня ее будут рекомендовать на педсовете в заслуженные.

Добравшись наконец до бычка, Марина Мстиславовна, ахает: правый глаз вырван и висит на клочке кожи. Здоровенный, залитый кровью бычий глаз. Тут либо инфекция и смерть, либо... чудо.

– Тащи меня обратно домой, сию минуту, – командует она Борьке, – скорее, Боречка!

Дома она роется в собачьей аптечке, находит кривую толстую иглу, такую страшную на вид, что Борька, угомонивший за свою жизнь много всякой скотины, отворачивается. Таким крючком – и по живому. Вдев в широкое ушко иглы капроновую нитку, она берет бинт, пузырек, вату, и Борька снова хватая ее под локоть, почти тащит на себе...

Бычок устал уже реветь и теперь покорно стоит с вывалившимся глазом, уставя другой глаз на бабку Тоню. Ему должно быть самому ясно: ничем тут уже не поможешь. А бабка Тоня что... только ахает и крестится. Телятина слишком еще молодая, да и веса пока никакого.

– Так... – едва переведя дух от жары и спешки, подходит к бычку Марина Мстиславовна. – Зови мужиков держать! Буду шить без наркоза!

Бычок, чуя скорую над собой пытку, шархается от нее, едва не сбив бабку Тоню с ног, и двое соседей тут же берутся за мотающуюся на шее веревку, сын бабки Тони хватая бычка за хвост. Но даже в такой заварухе бычок не намерен был сдаваться, видно, вышел силой в Вартана: ну прямо танк. Сама же бабка Тоня и уломала его: схватила за переносицу, дернула, потянула. Бычок мгновенно замер и так, не шелохнувшись, и вытерпел над собою страшное издевательство: глаз, висевший на клочке кожи, был шит кривой иглой, по живому, обратно. Потом, уже с забинтованной головой, бычок с таким ужасом скосил на Марину Мстиславовну здоровый глаз, что та сама и прослезилась бы, если бы жизнь не отучила ее от слез.

– Я же не мучить тебя пришла, родненький...

Борька отвел бычка в новый коровник, по пути намекнув бабке Тоне, что двухстволка у него заряжена. Но бабка Тоня, видно, ничего теперь не понимала, только всхлипывала и утиралась пестрым передником. Она-то знала, что это натворила учительница, вот только не знала зачем. Все будет по-прежнему: молоко, творог, сметана. Лилия Николаевна будет долго считать копейки, бабка Тоня будет терпеливо ждать. «Прости нам долги

наши, как прощаем мы должникам нашим...» И не Тонина это вина, что мучается Лилия Николаевна от неумной, выжигающей ей сердце жадности. Никто ведь не знает, разве что Яндекс Точка Ру, как велики на самом деле ее мучения: жрать сало и никогда не наедаться.

Вернувшись, Борька нарвал у себя в саду охапку синих ирисов и отнес Марине Мстиславовне: из всего, что он видел в жизни, этот пришитый бычий глаз был единственной правдой. И пришит он был по-живому. Страшной кривой иглой.

Через неделю пора было снимать швы, но бабка Тоня бычка не вела, словно и забыв про это. И когда она принесла, как обычно, творог и молоко, лицо ее, всегда свежее и румяное, сияло еще больше:

– Бычок-то жив-здоров, позову на печенку!

– На какую еще печенку?

– Да на яго!

Марина Мстиславовна устало садится на табуретку. Так всегда у людей: несчастье ничему их не учит, тогда как счастье закрывает им глаза, и нет ни в ком мудрости.

– Как же могу есть того, кого лечила? Я же его спасла!

Бабка Тоня смотрит в сторону, мнет в ладони рубли, ей это в новость. Она ведь не жадная, она отдаст врачу хоть всю бычью печенку, и телятинки свежей в придачу. Но Марине Мстиславне, видно, того мало: ей хочется... жизни! Вот ведь, какая еще прихоть: жизнь. – Людей защищают плохие ли, хорошие ли законы, – нехотя поясняет она, словно и не надеясь, что кто-то ее услышит, – но кто защитит от мучений, издевательств, истребления всякую другую живую тварь? Ты. Кроме тебя, некому. И тут только два исхода: либо жизнь, либо смерть. Ты любишь жизнь, Тоня?

– Да как же ее, жизнь, не любить! – охотно подхватывает та, – Вот и внучка растет, и сарай к коровнику пристраиваем, и вторая корова скоро отелится!

– А старую, само собой, зарежешь, толку с нее уже мало. За пять лет дала тонну молока, народила троих телят, теперь вот отдает свое же мясо.

Бабка Тоня кивает, так оно и есть: пять лет для коровы немалый срок. А что до коровьих там, телячьих нежностей, так за это ведь никто ничего не платит... хотя, с другой стороны, самое лучшее и есть бесплатное. Да что это она морочит себе голову? Что за разговор тут такой?

Все лето они только кивали друг другу, хотя бабка Тоня по-прежнему приносила творог и молоко. И как-то раз, уже в начале сентября, они стояли на автобусной остановке, и обеим кивнула, спеша в школу, Лилия Николаевна.

– Здорово, – бодро бросает бабке Тоне на ходу Лилия Николаевна, – с утрачка, что ли, в город? Возьми мне буханку черного и два батона к чаю, и не перепутай: к чаю.

Бабка Тоня сдержанно, послушно кивает: она не перепутает. В авоське у нее с десяток пластмассовых бутылок, молоко в них еще теплое, она станет возле подземного перехода, у всех на виду, и к двенадцати уже вернется, набив авоську хлебом и гостинцами для сына. Она не перечит Лилии Николаевне, та ведь уже заслуженная. Внучка сидит у нее в классе на первой парте, а дома зубрит, зубрит... да еще ходит два раза в неделю домой, так теперь делают все.

– Ноги-то как, Мстиславна? – так же бодро продолжает Лилия Николаевна, – Вижу, полно у тебя нынче абрикосов, а ты и не собираешь. Так я к тебе вечером, подставлю табуретку, доберусь аж до самых высоких, сниму все до одного. Вчера ведро абрикосов отдавали по триста рублей...

...Подъехал автобус, обдав пылью росистую на обочине траву, все полезли, лениво толкаясь авоськами, в переднюю дверь. Шофер берет, не считая, деньги, зная, кому где выходить, и кто-то уступает Марине Мстиславовне место, и бабка Тоня пристраивается рядом, на краешке.

– Ну вот, так помаленьку и доедем, – удовлетворенно заключает бабка Тоня, – Приходи нынче вечером на печенку. Со свежими картохами, с укропом и с луком.

Марина Мстиславовна молчит, смотрит, опершись на палку, себе под ноги. Автобус подбрасывает всех на ухабах, сталкивает коленями и плечами и порой тормозит так, что стоящие валяются на сидящих, и кто-то непременно, хотя и беззлобно, орет шоферу: «Не картошку, твою-то мать, везешь!»

– А вот телятины нет, – озабоченно продолжает бабка Тоня, – всю отдала Лилии Николаевне, она ведь с внучкой занимается бесплатно, по-соседски. И хорошо еще согласилась, знает, что у сына всего одна зарплата.

Бабка Тоня торопливо сморкается в чистый платочек, вытирает глаза, морщинистый рот, искоса смотрит на Марину Мстиславовну, и кажется ей, что та, отвернувшись к окну, тоже торопливо вытирает глаза. И обе они, старые, всю дорогу молчат, прижавшись друг к другу плечами.

Иван ЧУРКИН

Родился в 1951 году в селе Кремёнки Дивеевского района Горьковской области. Окончил Арзамасский педагогический институт. Работал журналистом, преподавателем русского языка и литературы в школе. В настоящее время работает в аппарате главы администрации города Сарова Нижегородской области. Прозаик и публицист. Член Союза писателей

ОЗОРНЫЕ БАРЫШНИ

I

Как войска-то разинские разгромили, князь московский Юрий Долгорукий и повелел:

– Разбросать надобно повстанцев по миру. Кого в Сибирь, кого на Урал, а кого и по центру к поселению привязать.

Зол был Долгорукий. А то как же – сколько ему пришлось с отрядами Степана Разина повозиться. Почитай, из засушливой Астрахани пешим строем, на ладьях по Волге до самой первопрестольной с разбоями да казнями добрались. Спуску никому не давали. Одно твердили: замучили крепостники простой народ, можно было кожу содрать – содрали бы. Без гроша, без полушки люди жили, только трудились и трудились. Мужики в тридцать лет на стариков походили, а бабы, казалось, никогда и молодыми не были.

Вот и поднялся народ донской. С вилами, косами, пищалями, у кого они хранились, пошли все войной за Разиным. За таким же, донским казаком, только упрямым и настырным.

– Доколе, – вопрошал он по станицам да куреням, – нам в неволе на родной земле жить? Али мы другого счастья не заслужили? Всю жизнь и мы, и предки наши пределы российские охраняем, хлеб растим, а сыты не бываем. Посмотрите на детей своих – краше в гроб кладут. Неужто и дальше так жить будем?

Жить так дальше казаки донские не хотели, вот и собрались в войско, вот и отправились на Москву правду добывать.

Да разве дойдут? За правдой-то многие в путь отправлялись, только назад с ней не возвращались. Поищут, поищут, да и пропадут навечно.

Почти к Москве разинцы добрались – в нижегородских землях воюют. Тут царица Екатерина и позвала к себе князя Долгорукова.

– Приказываю тебе не мешкать, а изничтожить проказников воровских. Ишь что надумали: мое царство-государство порушить, мужицкую власть на престол царственный возвести.

Юрий Долгорукий быстрехонько так в наши земли войско обученное да крепко вооруженное привел. Уж злобствовал, уж тешился, а разинские

отряды, расколовшись на большие и малые группы, спуску не давали. Одна монахиня Алена, что из арзамасского Николина монастыря сбежала, страху на царское войско нагоняла. Где ее со товарищами не ждали, там она и появлялась. В одном только кадомском сельце Кременки неделю Долгорукова держала, будто телка на привязи. Тот и силу подтянул небывалую, и разведка его по Алениным пятам хаживала, а справиться не могли с Аленой.

На восьмой или девятый день в центре сельца, аккурат возле храма, где две речушки в одну сходились, не выдержали донцы, стрельцы беглые, нижегородцы, что Алене в верности поклялись, и проиграли Долгорукому. Уж что потом было! В реке не водица бежала – кровь алела теплыми еще октябрьскими днями.

Только не справился Долгорукий с Аленой здесь, он ее догнал в мордовской земле – в Темникове, где и повелел, как злодейку и нехрестя, в костре пожечь.

Сдержали слово – пожгли.

А вскорости под большое село Вознесенское долгоруковские ратники привели человек двадцать-тридцать пленных. Вчера еще они у Разина воинствовали, а теперь вот связанные по рукам и ногам стоят, участи своей дожидаются. Откуда среди них бабы с малыми дитятками, никто и ведать не ведает. Только жалко вознесенскому народу оборванных и голодных, потому украдкой суют им кто картошку вареную, кто краюху хлеба.

Привели пленных в дремучий лес. Кто из них откуда, только им это ведомо. Руки-ноги развязали и повелели:

– Здесь отныне жить станете. Кланяйтесь матушке-царице, что милость к вам проявила, а то бы качаться вам каждому на сосне, а теперь вот живите.

С тем и укатили набольшие, оставили только реденькую охрану, чтобы не сбежали. А куда бежать, если и справа дремучий лес, и слева, солнышка только и видать, если голову высоко запрокинуть. Качается оно где-то по верхушкам деревьев.

Перво-наперво, решили мужики-разинцы: расчистить дремучий лес надобно, и стали лес валить. Сучки, ветки с деревьев обрубает, в костры валят. Строевую древесину складировуют, к новостройкам готовятся.

Костры полыхали не один день. От полохов дым далеко стелился. Измучились люди, но большую поляну подготовили, на ней и решили избы ставить. Один дом подняли, второй, третий. Да ладные такие, о веселых окошках, при приветливых крылечках.

Защebetала жизнь, заиграла, а как чужой ненароком нагрянет – сумрачно становилось. Никто не говорит, не калякает.

Поднялась улица. А где она? Без имени какое поселение живет? Вот и порешили люди все вместе: быть их новому сельцу Полх-Майданом. Да другого-то и не дано. Старое слово славянское «полох» пожар обозначает. Вон сколько деревьев выкорчевывали и пожгли. Полох и есть. А другое слово «майдан» как раз и обозначает место, что от пожара освобождено. И речка рядом. Ей уж сам бог повелел Полховкой прозываться.

Так, среди леса и появился на свет Полх-Майдан. Прокричит здесь петух утром, на три волости его слышно. С юга – Мордовия. С запада – Рязанская земля, а восточнее – Вознесенское, как есть края Нижегородские.

II

Так ли все было, по-другому ли, теперь трудно сказать. Времени-то сколько прошло: почитай, о семнадцатом веке с вами толкуем. Одно верно:

у людской памяти ум зоркий, не запрячется побасенка по уголкам в сундуке, нет-нет, да и выглянет наружу.

Вот и с Федькой Сидоровым так получилось. Он лесами верст двадцать промахал, а как к Полх-Майдану прибился, молва и поползла от дома к дому: это ведь пособник Аленин, глаза ее и уши.

Хоть и стерегся Федька на первых порах, как в новое сельцо заявился, а потом и хорониться перестал: его же, разинские, друзья-приятели здесь обосновались. Не выдадут. Да каково – за майданцами сразу же слава побежала по округе: пытай не пытай, а язык за зубами здесь живет, хоть у малого, хоть у старого. Не могли голоса подымать, пройдут, словно и не заметят.

А про Федьку тут каждый знал. Знал, как вечерний ветер юлой промчался по пеплу в Темникове и унес за собой прах той, что слыла грозой для царева войска.

– Оленька, – плакал сильный мужик и дрожащими руками собирал пепел кострища. Он шарил по прохладному уже огневику, пытаясь разыскать в головнях соснового сруба хоть крохотную косточку человека, которого любил безумно.

В сражениях побывал, сутками просиживал в дождливой засаде, галопом мчался из одной стороны в другую и приводил в мятежный отряд Алены людей. А вот на костре горела она одна. Он, как пес, стоял в толпе, прячась за мордовские зипуны и юбки, и во все глаза смотрел, как сначала робко, потом вихрясь и злобствуя, огонь обхватывал молодое красивое тело.

Давно разошлись согнанные в единую смотрящую толпу темниковцы, давно пьяно горланили царские ратники, довольные свершенным, а Федька Сидоров все ползал по кострищу и плакал.

Многие видели на своем веку жители Темникова, знали, что живет в округе древний обычай, и его строго-настроено соблюдают, по-своему наказывать сельского вора – выкапывалась глубокая яма и в нее живьем, без слез и сожалений, зарывался тот, кто посягнул на личное добро соседа. А такого, чтобы сжечь женщину на костре... Нет, такого не было. Даже представить не могли, что злодейство произойдет не где-то за тридевять земель, а здесь, в родном тихом селении.

Но произошло, и многие видели это своими глазами, поэтому убыстрялся шаг мужика и бабы, когда проходили мимо зловещего места. А из дома в дом ползли разговоры, что по ночам на пепелище появляется мужская тень и долго вырисовывается на фоне неба.

А потом место казни вновь стало многолюдным. Со всех улиц тянулся сюда народ и подолгу простаивал в молчании: там, где погулял в своем разбойничьем порыве костер, красовалась яркая роза. Цветок красный, как говорили темниковцы, никогда не видевшие подобной красоты. Никто не принесил сюда воды, никто не поливал розу, а она цвела, раскачивалась на ветру и кланялась на все четыре стороны.

Через неделю пробежал другой слух: нет больше цветка на Аленином месте.

Не привыкать Федьке Сидорову кошкой пробираться по лесу, открытому полю, через большие и малые селения – его везде искали ратники. Пряча под полой одежды сорванную розу, направился было в присаровскую деревню, на родину, да остановился: там точно его поджидают.

Приглянулось село в чашобе дремучей, оно крайней улицей уходит к маленькой речке. У воды Федька остановился, омыл разгоряченное лицо: «Остановлюсь здесь».

Так в вознесенской стороне, в Полх-Майдане, появился человек-молчун. Он поселился сначала в землянке, потом соседи помогли махонький дом поставить, и повел одинокую жизнь. Соседи все пытались заговорить с ним, но натыкались на молчание и переводили разговоры на погоду, сенокосы.

Времени-то с той поры немало прошло. Заприметили в Полх-Майдане, как подолгу Федька пропадал, а потом видели, как шел мужик из леса и нес на себе липу: не лыко на лапти, как все, – само дерево, очищенное от мягкой коры.

А потом и вовсе чудеса сотворились, когда на завалинке домика молчуна вдруг затеснились вырезанные из липы игрушки, разукрашенные ярко-желтой краской, а по ним бежал один и тот же красный цветок, названия которому никто не знал.

Мужики дивовались и осуждали молчуна, а потом, уходя в лес за лыком, несли оттуда на плечах липу. И во всех домах появлялись солонки, ложки, небольшие лошадки, коляски, матрешки. По ним по желтому бежали красные розы.

III

Никитка Авдюков сызмальства был любопытный. Да нет, никогда и ни за кем он не подглядывал. Почто такое? Просто родился в крестьянской бытности, в семье большой и ладной. Крепкой семье, как говорили в Полх-Майдане.

С раннего детства перед ним красовалась одна работа: и родители, и старшие братья-сестры без дела не сидели. Вот за ними и подсматривал Никитка, путался под ногами, а когда все произошло – никто из взрослых не заметил: в руках мальчугана и топор играет, и коса среди молочая поет, и самовар, ухватив за уголья, пузырится и радуется. На все руки дока. Вот тебе и любопытство!

Отец его, Ефрем, помнил прадеда, а тот рассказывал о своих родственниках, как они вместе с Федькой Сидоровым ложки деревянные выстругивали. Сначала из ели попробовали, ее в этих краях невидимо, потом березу попытали, только она зубастой оказалась: руки напрочь сотрешь, прежде чем из полена заготовку выпилишь. Да как-то к липе подобрался. Вот уж по всем статьям она подошла – мягкая, податливая, будто сама бока подставляет. Не увидишь, как белье готовым становится. Суши да отдавай бабам на раскраску.

Никитка как родился, так и рос в липовых стружках. Пропах весь лесом.

– Ты, мать, гляди-ка, настоящий турурушник растет, – посмеивался отец.

– Руки бы себе не порезал, а так что же, хозяйственным вырастет, – выбирала стружки из льяных волос сына мать.

Да на самом деле так. Иной человек растет, растет, а вырастает без рук. Нет, они на месте, руки-то, только за что ни возьмется, все криво да косо. Гвоздь, и тот не вобьет в доску. А Никитка не такой: коренастенький, крепенький, а уж руки просто золотые. Это кто по его пору стамеской липовую палочку затачивать возьмется, а из нее куличок получается. Головка кругленькая, крылышки сложенные, клювик весело так к небушку приподнялся. То и гляди хвостом заиграет. А как старшая сестра кисточкой по белью погуляет, и вовсе птаха запоет.

По вечерам с отцом усядется и глаз не сводит, как ловко орудуют отцовские руки над липовой заготовкой. Раз, другой острым ножом отец по липе

пробежит, вот тебе и брюшко. Еще чуть-чуть поиграет над деревяшкой, и голова, шея появляются. Вроде на бабу заготовка белая похожа, да только не баба вовсе. Так это девка молодая.

Сестры наждачкой поиграют, на край стола поставят и давай краску готовить. Кто кирпич красный толчет, кто голубую глину размешивает, кто сажи из печи достает. Смешают все, разведут, конскую кисточку в руки возьмут. Один мазок, второй, третий. В сарафан цветной куклу деревянную оденут, платок на голову повяжут. Губки алые с румянцами наведут, носик курносый к небушку подымут, чиркнут кисточкой, и прикроет красавица лукавые очи искристыми ресницами.

А еще макнут в краску алую кисточку, и бегут по всему сарафану цветы красные. Как к одной барышне другая прибавится, к ним третья, четвертая, так целый девичий хоровод на столе играется. И нет ни одной красавицы, похожей друг на дружку. Взглянуть бегло: все одинаковые, ан нет. Одна долу смотрит, глаз не поднимает, будто смущается. Другая брови дугой изогнула, смотрите, мол, какая я видная, не чета подружкам, а третья и вовсе во все зубы улыбается, только румянцы на щеках играют. Вот-вот заговорят, запоют, засмеются залиvisto. Ну, озорницы, одним словом.

Так и год проходит, пятый. Вырос Никитка, заженишился, и надо же такому случиться, что пришел на Русь войной Наполеон французский. К самой Москве подобрался. Сколько земель наших погубил, народу положил.

Никитку Авдюкова и забрали в солдаты. Было это в тысяча восемьсот двенадцатом году.

Убивалась мать, провожая на войну сына:

– Не свидимся с тобой больше, кровинушка моя. Не дождусь тебя.

– Брось ты, маманя, угомонись. Как это так: я свою сердечную красавицу и не увижу. Да не бывать такому.

Вернулся, как есть возвратился в свой Полх-Майдан. Да чудно так воротился – принес с собой штуку замысловатую, ее с первого-то взгляда и не поймешь: то ли для дела какого, то ли для игрушки. А какие тут игрушки – ушел Никитка на войну парнем-молодцем, а домой пришел мужиком седовласым.

– Это что же за диковинка у тебя такая? – приставали к нему большие и малые. – Неужто для дела все эти загогулины? Телега не телега, жернова не жернова.

А Никита Ефремович, так теперь к нему старики обратились, только в усы посмеивается.

– Темнота, скажу вам, как есть дремучесть. Это то-кар-ный станок, – нараспев так отвечает. – Увидите вот, какой он полезительный.

IV

Сам-то Никитка помалкивает, как в иноземном краю этот токарный станок присмотрел. Французов тогда отогнали и остановились на постой в небольшой деревушке – то ли польской, то ли немецкой. Поди разбери, где ты, если все балакают не по-нашему.

Как так получилось, только Никитку на постой определили в крайний дом. Там-то он и учуял сразу дерево, вернее, деревянную стружку, и давай с расспросами приставать. Ничегошеньки не понимает хозяин ненашенский, а видит: не простой этот русский, коли так искусно на руках показывает, как надо дерево точить. Да и повел его в мастерскую. Да и давай показывать чашки-ложки выточенные. Да и давай кусок дерева пристраивать между чудных колес – одно большое, другое поменьше.

Крутит большое, а маленькое в догонялки наяривает, а между ними дурьяшка такую скорость набирает, что поднеси к ней острый ножик – в струнку превратится.

Целую ночь в мастерской пробыли, а как утром сигнал на сборы прокричал, в строй солдатский и стал Никитка, и ружье здесь, и скатка, и к левому плечу два колеса пристроены.

Старший-то над ними изумился сначала, уж ругаться хотел, наказывать Никитку, а как тот все порассказал, заулыбался:

– Что же, али мы не свои? Поможем, коли тяжело будет, лишь бы нашей русской красоте потрафить.

Потрафили, еще как потрафили. Собирает токарный станок Никита Авдюков, а возле него весь Полх-Майдан столбняком стоит.

Недолго парень возился, а как колеса закружились, и пошла стружка в разные стороны. Глазом не успели моргнуть, как скалка появилась. Белая, ровная, гладкая. Подноси кисточку и раскрашивай. Одна беда: ремень, что приводит в движение колеса, быстро так брюхо опустил, и остановилась работа.

– Вот и в чужедальней стороне такая же картина, – загрустил Никитка. – Часто ремень менять приходится.

– Да разве такие веретена такой ремешок выдержит, – кашлянул в кулак Егор Масыгин. – Вы постоите-ка чуток.

Скрылся Егор в проеме дверном, а потом вновь появился. Поглядели мужики на него да и давай смеяться:

– Смотри, что принес. Кишку овечью!

А Егор и не слышит насмешек. С Никиткой кишку эту самую к колесам пристраивает, а как все аккуратно сделали, завертели колеса. И час крутятся, и другой, только стружка летит, только белые чушки вылетают из-под станка токарного. Целую гору наточили, теперь только за кисточкой дело.

– Я, мужики, на войне-то Отечественной слышал, как сам император Петр Великий дерево точил. Искусный мастер, говорят, был. Уж царь смог, а мужику и недавно на роду написано.

Думать-то было нечего. Лес кругом. Травы полно для скота домашнего, а вот рожь-пшеница совсем не родились. Куда ни глянь, везде суший песок. Что на нем вырастишь? Силы изведешь, время даром потеряешь, а толку никакого.

Чем заниматься, чтобы прокормиться, детей поднять, себя попусту не растерять? Да вот же оно, дело-то: не ленись только, игрушку точи, утварь домашнюю, украшай ее. Да и свобода дадена – никто над полх-майданцами в начальниках не стоял. Ни одного барина не было. Никому не подчинялись, а законы блюли.

Рядом совсем, в сельце Криуши, что помещик вытворял. Красивому парню в жены кривоглазую девку засватывал, а красной девке – парня уродливого да негодного. Молчали. Погорюют, погорюют, а не перечили. В Полх-Майдане такого не было, все знали, какого рода-племени здесь народ.

Так вот и зажили здесь, на речке Полховке. Деревом зажили, липой. Матрешкой да ложкой, коньком-горбунком да чашкой расписной. Не заметно, а матрешка далеко от Полх-Майдана шагнула, аж до заморских стран-государств добралась.

Ай да Никитка Авдюков! Как помог народу: и Наполеона французского из России выгнал, и станок токарный домой принес. А это, кто знает да понимает, народу страсть какая хорошая помощь.

V

Времени после этого не так уж и много прошло, да такое в майданском лесу произошло, что все враз о Никитке забыли. Нет, не навсегда, конечно. А дело было так.

Аккурат посредине улицы стоял дом Игната Гонюкова. Добротный дом, а уж шумный, и говорить об этом нечего. Куда ни глянь – по табуреткам, по лавкам одни ребячьи головы торчат. Которые постарше, которые совсем малые. Да при такой ораве какие дела могут быть, тут только успевай приглядывать, на бесконечные вопросы отвечать да на стол щи, кашу подавать.

Что тут делать? Вот и придумал Игнат: ну-ка, пусть каждый по куколке делает. Нет, не деревянной – тряпичной. Малышня маленькие куклы мастерит, а кто постарше – побольше.

Полубилось занятие ребятишкам, а как руку набили, Игнат и говорит за вечерним самоваром:

– Завтра липку вам дам, попробуйте-ка свои тряпичные куклы в деревянные превратить.

Спать не спали дети, все утра дожидались, а как только солнышко из-за горизонта вышло, все, как горох, из своих постелей повысыпали.

– Тять, ты чего же не встаешь?

Усмехается Игнат, утреннюю дрему сгоняет. А как встал, так и пошел наставлять да учить, как липовую кору очистить, как ладно да гладко деревяшку очистить, как в руки ножик взять и к резьбе приготовиться. Старшим наказывает за младшими смотреть, а младшим – старших слушаться.

Уселись все, пыхтят, стараются. На материнский призыв к пирогам усесться не откликаются. И пошло дело. Кто помоложе, тот маленькие матрешки вырезает, кто постарше – те большие. И все получаются разные по размеру: малюсенькие, чуть побольше, еще больше, а одна и вовсе большая.

Игнат у каждой середину вырезал, обработал, и получилась каждая матрешка внутри поляя.

– Эт ты к чему, батюшка? – пристают ребятишки.

– Какие вы, право, нетерпеливые. Вот вам краски, кисточки, а ну-ка всем красоту белому дереву наводить.

Уселась малышня, пыхтит, потом обливается, а дело делается. Вот уж платица готовы, и лицо из-под полущалка выглянуло, и алые губки в приветливой улыбке расцвели.

– Как есть наша семья, – кричит старшая дочка, – смотрите-ка, все матрешки на нас похожи.

Не один день так-то прошел, работа трудоемкая, краска тоже времени требует. А как куколки обсохли, взял Игнат большую матрешку, в нее поменьше вставил, а в эту – еще поменьше, и так до самой махонькой.

Тут и побегала молва по Майдану:

– Игнат Гонюков брюхатую матрешку сделал.

Да что ведь любопытным? Они к дому Гонюкова побежали, а тот уж стул в патрон забивает. Стулом липовая чушка называется, а патрон – приспособление на станке. Рядом ребятишки стоят, заготовки ждут, чтобы взять сразу да за дело приняться.

– Ты что же, Игнат, нам свое чудо не явишь. Уважь, покажи, что ты с матрешкой наделал.

Отложил дела Игнат, в дом пошел, а потом прямо здесь, на завалинке, большущую матрешку поставил. Повинтил ее и открыл. Достает матреш-

ку поменьше. А вслед за этим еще меньше и еще, и еще, а последняя и совсем птаха еле видимая. В рядок поставил, у мужиков рты пораскрывались.

– Ишь ты, занимателка какая вышла. Вот тебе и брюхатая! Да тут целый девичий хоровод получился.

С тех пор и пошла по свету гулять необыкновенная полх-майданская матрешка. В руки берешь одну красавицу, а в ней целое семейство. Потом уж все поняли: каких только в нижегородских землях деревянных диковин на свет ни рождали, а таких, как в Полх-Майдане, нигде не было – ни в Семенове, ни в Городце, ни в Богородске. Вот ведь какую штуковину Игнат Гонюков со своими детками на божий свет явил.

VI

По белому свету полх-майданская игрушка быстро разлетелась. Уж так это было, по-другому ли, за давностью лет и не припомнить, только собрался однажды Игнат Грачев в дорогу.

– Куда ты, заполошный? – плакала жена. – Не ближний свет Уральские-то горы, ты думаешь, там твои деревяшки нужны. Там своего добра навалом – малахит да золото, а ты с матрешками.

– Наша матрешка почище злата-серебра, – не слушает ее Игнат, а большие торбы деревянной красотой набивает. – Чем причитать, Павлушку бы разбудила.

– А Павлушка тебе почто?

– С ним в путь отправимся. Какая-никакая, а все подмога.

– Да этой подмоге десятый год пошел! Одумайся. Такую тягу на себе таскать.

– Чай, ты не вчерась родилась, будто не знаешь: Россия всегда горбом живет. Как потопаешь, так и полопаешь.

А жена все за свое:

– Сам-то как хочешь, только парня за собой не таскай.

Понимала, что напрасно слезы роняет: скажет Игнат, словно отрежет. Делать нечего, подняла с утренней постели Павлушку.

А тот рад-радехонек. Эко ему счастья привалило – за тридевять земель отправится. Сказка – не сказка, быть настоящая.

Снаряжается Павлушка, отца выспрашивает:

– Эт каким же путем мы с тобой до гор доберемся?

– До Мурома-града сначала, там на Сибирку сядем, глядишь, за два дня до Уральских гор и доскачем.

Про Сибирку Павлушка уже слышал, это железная дорога так прозывается. Будто в Москве она начинается, а заканчивается бог весть где. И бегают по ней паровозы с вагонами.

Так оно и случилось. В теплушке, куда Павлушка с отцом забрались, окно было. Все два дня малец от него не отходил. Все интересно – и бегущие рядом деревья, и коровьи стада, что прямо у дороги пасутся, но больше всего по нраву, как дорога выскользнула и потащила вагоны через реку. А ей конца и края не видать.

– Волга это, – объясняют Павлушке.

– Так вот ты какая, Волга-река. Слышать-то я о тебе слышал, вон сколько песен поется, а видеть не приходилось.

В мешках матрешки, солонки, сахарницы. А с ними шкатулки, пасхальные яйца, волчки, свистки. Тут и самовары с чайничками и чашками. Под стук колес подпрыгивают, охают. Пестрые, расписные, розаны наведены черной тушью, землянички украшены белой крапичкой. Едут матрешки,

толкаются, Павлушке напоминают: «Тут мы, береги». Какое там – не сводит глаз Павлушка с Волги.

А когда река за горизонтом скрылась, скучно сделалось Павлушке. Подремал, подремал да и заснул. Уральских гор из вагонного окошка так и не увидел.

Отец разбудил в Екатеринбургe-городе.

– Большущий, – промолвил на перроне Павлушка.

– Большущий, да больно бестолковый, – поправляет мешки отец. – Отправимся мы с тобой в Тагил. Мне сказали, что только там нашу красоту оценят.

Усадил Павлушку на мешки, а сам убежал. Это он подводы искал, надеялся, может, обоз какой в нужную сторону направится. Сыскал.

Тронулся обоз. На дрогах узлы, рядом с ними Павлушка. Смотрит по сторонам, озирается. И слева гора, и справа гора, а за ними другие встают, которые пониже, которые повыше.

– Тять, лучше у нас. У нас солнышка сколько, а тут света не видно.

Не понравился Павлушке Урал, а вот от Тагила восторгу столько набрался, прибыл домой – рассказы только о Волге да о Тагиле.

Чем приглянулся этот мрачный попервоначалу городок? Улицами с деревянными домами, да у каждого – наличники в завитушках, и такая здесь краска голубая яркая, будто весеннее небушко на землю опустилось.

– Вот, я что говорил, – молвит отец, – среди такой красоты и нашу деревянную игрушку оценят.

Оценили. В день разобрали матрешки, солонки, сахарницы, шкатулки, пасхальные яйца, волчки, свистки, самовары с чайничками и чашками.

С деньгами Грачевы, отец с сыном, домой возвратились. И пошло с того дня, и поехало. В Иерусалиме паломники матрешку полх-майданскую покупали да по разным странам увозили. В Турции на базарах матрешки яркие продавались, а уж про Россию и говорить нечего – до самой Чукотки яркая барышня добралась. И везде ей были честь и место.

А как по-другому? Народ в вознесенской стороне еще тот народец, для него преград сроду-то не было. Да вот ведь еще что: возле красоты другая красота сотворяется. Сидит баба в избе, красками белую куклу обряжает, а сама и не замечает, как поет:

Ой, заблестела шашка во правой руке-е-е.

Ой, слетела голо-о-овка с неверной жане.

Оттуда, из разинских времен песня прилетела и прижилась здесь, в центре России.

Сидит баба и не замечает, как слова в незамысловатые частушки собираются.

Я у Коли в коридоре
калбуками топыла!
Я Колюшу не любила,
а конфетки лопыла!

А что? Не безголосая же матрешка, она петь и плясать гораздая.
Колдует баба над куклой белою, а стихи сами собой рождаются.

Стою на краю, всех дешевле отдаю!
Старым задаром, молодым за так!

Это она к торговле готовится. Вот выставит красоту на поглядение, а как только покупательский люд остановится, тут же и заведет:

Подходите ближе, согинайтесь ниже!
Мать Матрена, дочь Алена, сынок Ерема!
Годок погодит, сынка Ванюшку родит!

VII

Вот так, сам не ведая, что происходит, указал Павлушка Грачев дорогу майданской кукле по всему белому свету. А что вы думаете? В Германии ее знают. Во Франции любят. В Австралии она стоит у людей на самом видном месте.

Недавно в Вознесенском, а это в десяти верстах от Полх-Майдана, открыли настоящий музей матрешки. В нем и узнают люди, как менялась игрушка со временем. Здесь и модель старинной мастерской, она прожила в селе до 1961 года. В том году сюда пришло электричество, и отпала необходимость в большом колесе да овечьей кишке.

Красуются здесь полторы тысячи матрешек. Самыми знатными из них были и остаются куклы, изображающие девушек и женщин в русских сарафанах и платках, с расписными фартуками, в полушубках и в валенках, с корзинами и хлебом-солью.

Не налюбуйтесь, не наглядишься на жениха и невесту, на богатыря разудалого в боевом шлеме, на бояр и боярынь, на купчиху, пьющую чай из самовара, на девушку-крестьянку за прялкой.

А главная гордость здесь – пятидесятиместная матрешка. Если разложить ее в ряд, то первая матрешка будет со спичечную головку, а пятидесятая в высоту около метра. Такая кукла – большая редкость, а ее изготовление требует большого мастерства.

Это еще Игнат Грачев на Сибирке своим попутчикам рассказывал:

– Вот привезли к нам в Полх-Майдан диковинку: сказали, будто мы промысел открыли, деревянный, игрушечный, матрешечный. Эко напридумывали! Какой такой промысел, если Федька Сидоров, уж правда ли, нет ли, любовь свою к монахине Алене в матрешке изобразил, а народу по ндраву пришлось. Нет, здесь не промысел, тут умысел обозначается. С умом взялся человек за дело, умные люди его и подхватили...

Так вот до нынешнего дня и гуляют по белу свету веселые барышни в ярких, часто несуразных нарядах – алые розы по желтому полю. Прижились они в вознесенской стороне несколько веков назад. Не думали, не гадали, что навсегда. А поди ж ты – живут, здравствуют, веселят и радуют народ.

Да что я вам об этом все рассказываю? Будет возможность, отправляйтесь в Вознесенское. Сами увидите, какие мы, русские, талантливые.

БЫЛИЧКИ МАТУШКИ ПЬЯНЫ-РЕКИ

Митрофан да Катенька Капровы

Жил в нашей бутурлинской стороне мужик один. По имени Митрофан, а фамилию носил Капров. Не больно высокий ростом вышел, а вот силищей крепковат получился. Медведи, и те его побаивались.

Напал на него однажды лохматый, да сам себе потом не рад был. Со спины к Митрофану подкрался, передние лапы на плечи взвалил и уж пасть страшную открыл, а Капров взял и сунул ему в открытую пасть топор.

Вот уж тот взревел, аж на самом отдалённом конце деревни его услышали. Прибежал народ к берёзовому лесочку и видит: сидит Митрофан на пригорке, козьей ножкой дымит и смеётся, а рядом с ним по траве медведь катается. Лапами силится топор достать, только ничего у него, у глупого и неразумного, не получается, потому ревёт и плачет.

– Ты чего же это медведя-то не завалишь? – кричит ему народ.

– Почто он нужен? У него, поди, и малые детки есть. Они-то как потом будут, без прокормщика? – поднялся, к медведю подошёл.

– Ну, будешь ещё на людей бросаться? – будто с соседом разговаривает. – Большой ты, сильный, а ума в тебе ни на грош.

Подошёл поближе, ударил по топорщику, тот и выскочил из медвежьей пасти. Как подскочил с травы косолапый, как пустился бечь, только пятки засверкали.

С тех пор медведи и близко к деревне не подходили: завидят людей и наутёк. А до этого, вишь, расхулиганились, боярами везде себя хороводили. Особенно на речке.

Пьяна-то, речка, совсем рядом с деревней протекала. Домик Митрофана Капрова аккурат к бережку прижимался, тут и другие мужики по берегу свои домишки поставили. Рядышком друг от друга.

Весной река разливалась, слюдяные окошки выдавливала и хозяйничала среди скарба. Чашки-ложки плавали, сундучки нехитрые всё на волю старались вырваться, а вода ещё выше забиралась, и плыли по реке соломенные крыши.

Вдосталь мужики с Пьяной намучились, а уходить с берега не думали. А как уйдёшь от красоты-то такой?

Сказывали, будто река с малых ручейков начинается. Далеко, за горизонт идти – не дойдёшь, бьют из-под земли крохотные родники с водой прозрачной. Бегут по травнице нитями, в одну густую повеюку свиваются, а потом по ложбинкам и канавкам в глубокий овраг плюхаются.

Как наполнится бакалдинка водой по самое горлышко, и понесутся ручейки дальше. Не змейкой-медянкой, а малюсенькой речушкой. Задумаешь перешагнуть, ну и что же – ноги не замочишь.

По пути других братцев собирают и дорогу себе уже пошире захватывают. Траву подминают, а та сопротивляется, наружу, на солнышко норо-

вит вырваться. Глупенькая, разве справится. Качается в воде из стороны в сторону, то соринки к себе прижмёт, то семена прибрежных кустов нычнуть возьмётся, а потом глядишь, возле берега росточки повылазили, и закудрявились берега ивняком.

Чуть подальше и вовсе речка в ширину раздаётся. Нет уж, не перешагнёшь, не перейдёшь, только вплавь. Да вот ещё что: через каждый шаг Пьяна силу набирает, и такое течение её, что встань около берега – сшибёт, в воду утащит, закружит-завертит. Из сил выбьешься, пока на волю выберешься.

А возле капровского дома Пьяна облюбовала низинку, затопила её и привал устроила. Сменила течение на отдых, личико своё убрала лилиями, а бережок купавницами принарядила.

– Ты смотри-ка, доча, что матушка наша делает: дня не проходит, чтобы нас не порадовать. То расцветёт невестой, то рыбинами заплещет, а то вон деревьев притащит – берите, на зиму дрова готовьте, – часто так на бережку Митрофан Капров дочке своей, Катеньке, говаривал.

Побоище

Катенька Капова в разумок вошла, десятый годок ей вот-вот исполнится. На белом свете ей как-то сразу не повезло: осталась при рождении без матери. Вот так с отцом только и жила. Ни бабушек, ни дедушек тебе. Чего раньше начала делать – ходить или хлеб стряпать – не помнит совсем, только Митрофан Капров не нахвалится помощницей. Понимает, как бывает порой тяжело дочке, а жалеет её редко. Кому нынче легко? И ему не сладко бобылём жить.

– Ты, доча, на наше жильё не гневайся. В работе никто ещё худым не вырос, – частенько, сидя на бережку, говаривал Митрофан Катеньке. – Смотри вон на соседа, хитрый, изворотливый, всё норовит на чужой спине проехать. И ребятишки пошли в него, а с чего хорошему научиться?

И вправду, домик давно обветшал, скособочился. Его бы подправить, крышу подлатать, дверь на крыльце – и та на одной вожжине висит, словно милостыню просит.

– Так, батюшка, слышала я, когда бабы бельё на реке полоскали, будто это только с виду наши соседи такие, а так, сказывали, у них в сенях богатство несметное прирыто.

– Да и я слышал, что так, только правда ли? Сосед-то наш злым умыслом решился разжиться, за золото-серебро дьяволам продаться. Душу-то продал, а богатства не нашёл.

– Это как же так, тятенька?

Никому Митрофан Капров не рассказывал, как оказался свидетелем потаённого разговора.

...С вечера бурелом разыгрался. Гроза, казалось, не с неба на землю падала, а словно из Пьяны в тучи бежала, с треском, свистом. Сухая сначала была, ни единой капельки на землю не упало, а как только за пригорки убежала, хлынул проливенный дождик.

– Как там постояльцы мои? – поворочался на конике Митрофан и ноги на пол опустил.

– Куда ты в такую непогодь? – отозвался жёнкин голос.

– Проведаю пойду, всё ли во стане княжеском спокойно. Ты лежи, не вставай, молоденца нашего не тревожь.

Жена Митрофана, Аннушка, кроткая и послушная, вот-вот разродиться должна, не погнушалась мужниного приказания.

Митрофан из сеней на улицу выбрался и ухнул в крошечный поток. Минуты не прошло, а на нём сухой нитки не оказалось.

Только делать-то что? Вон на взгорье среди темени княжеский шатер виднеется. Вроде тихо всё. Под телегами ратники жмутся, от сырости скрываются. Молчат. То ли спят, то ли господнего страха бояться.

– Кто тут шастает? – это сторожевик Митрофана голосом остановил.

– Не нужно ли чего? Может, в дом кому из ваших перебраться?

– А, Митрофан, тебе-то чего не спится? Сказанул, разве в твою хибарку мы все поместимся?

С тем Капров и возвратился, только показалось ему: под березкой, что у соседского дома растёт, голоса слышались. Остановился, подождал, а ветер рванул и принёс обрывки слов.

– Кто там? – пригнулся Митрофан и близёхонько так к земле, почти по-гусиному, стал пробираться на голоса.

Две тени замаячили. Одну сразу узнал, сосед, Семён Митряшкин, а вторая никак в знакомого человека не вырастала. И голос оказался незнамый, больше шипел, чем слова выговаривал.

Видит Митрофан, как суму незнакомец Семёну отдаёт, слышит, как шипит:

– За труды тебе.

Это Семёну-то за труды? За какие такие? Мужик сроду работать не любил, а тут – за труды.

– Ты утра не дожидайся, уходи и своих уводи подальше, а то неровён час, – с тем и растаял во мраке.

Долго ворочался на конике Митрофан, и так услышанное толковал, и эдак, а соединить воедино не смог. Многого не понимал, а вот утром чувствовал: беда где-то рядышком гуляет. Оно и без того худо – боярство в именах не запомнишь, то одному кланяйся, то другого принимай. У мужиков вон, что сыновей имеют, сколько плачу было. Брат на брата, татарьва все жилы повьтаскивала, а тут, гляди, сколько воинства нагрязнуло. К чему бы это?

Так в думах и заснул. А утром...

Утром солнышко зыграло, по берегу ратные люди коней намывают, сами купаются, бельё с себя поскидали, сушатся. Фёдор Звенигородский, что привёл войско татар воевать, и тот в воде стоит. Ладный, взгляд соколиный, плечи сажённые.

– Что, – это он к Митрофану, – натерпелся страху?

– А чего нам бояться, мы к причудам матушки-Пьяны по привычке, – откликнулся в поклоне Капров, – чай, не привыкать, только такого страха я ещё не видывал.

– Зато утро какое, всем на радость, – улыбался белоснежным ртом князь.

Он отряд вот тут, прямо рядом с крестьянскими дворами, поставил, свой шатёр на широкой луговине, что к Пьяне сбегает.

После ночи бессонной все воины спать повалились, дремал в шатре и князь. Редкие сторожевики походят-походят и тоже зачинают носом клевать.

Солнышко за полдень перевалило, а жара не спадала. Ни с того ни с сего опять дождь пошёл. Со свистом, с криками, с рыданиями. Это татарские стрелы, а за ними кривые отточенные клинки по Звенигородскому стану загуляли.

Со всех сторон обложили вороги Фёдора. А вопли неслись – волосы дыбом вставали.

Митрофан схватил Аннушку и в подполье:

– Толку от меня маловато с голыми руками, а тебя схороню, дитяню долгожданное обережём.

Кинул взгляд в оконушко. Бог ты мой милостивый: возле завалинки гора весёлых лиц – только недавно в реке купались, а теперь смотрят на Митрофана стеклянно. Испугаться не успели. Как улыбались, так и продолжают улыбаться, только мёртвые.

Это уж потом выяснилось: татарский предводитель Араб-шах через своих лазутчиков был отлично осведомлён, как к княжескому стану пробраться незамеченным. Нашёлся гаденький человечек и рассказал, какой путь остался незащищённым. С юга, с запада охрана крепкой была, а вот с восточной стороны, где течёт-плещется Пьяна, сторожевиков не поставили. Думали: кто по такому течению отважится? Да только не знал князь Фёдор, что речка тут бродом своим и конному, и пешему преград не учинит.

Продался кто-то, шепнул мордовским лазутчикам, а те татарскому предводителю. Он и подвёл басурман тайными тропами к отдыхающему отряду князя. Через брод перешли на другой берег. Видишь, что случилось.

Несколько дней по реке могилы рыли да убиенных отпевали. А Митрофан схоронил все-таки Аннушку.

День-два после этого прошло, Аннушка и пристала к мужу: пойдём и пойдём на воду, бельё прополоскать. Только к берегу подошли, речка взяла и выплеснула к берегу убитого.

Как вскричит Аннушка, как встревожится.

– Вот тут, на берегу, ты у нас на свет и появилась, – приобнял Митрофан дочку. – Тебя спасла, а себя не сберегла.

– Так вот ты какая, Пьяна наша! – заплакала Катенька.

– Она-то ни в чём не повинная, это люди лихие кормилицу нашу злодейкой выставили, – вытирает слезы дочери Митрофан. – Я ведь потом понял, кто жизни людские на пятаки медные выменял. Сёмка это, сосед наш. Ночью, втихаря, как тать, ворогам поведал про подход к княжескому отряду. Разбойником был, таким и остался, ежели столько душ православных загубил.

– Это что же он рядом с нами живёт?

– А как тут людям скажешь! Догадки только, не пойман – не вор.

А река что? Она лихом никогда не промышляла. Правда, сам-то я в мордовском наречии не силён, только люди говорили, что есть у мордвов слово «пьянь», оно будто бы обозначает «боль».

Сам-то я далеко не хаживал, а вот подслушал однажды, как проезжие люди сказывали: наша река восточной границей Русского государства приходится. Рубежницей считается, а коли так, лиха много здесь бывало. Представить тяжело, сколько этого лиха люди наши натерпелись, вдосталь напились горюшка от набегов разных – то татары, то мордва, то кочевники страшные, то бояре землю не поделят. Отсюда и речку нашу так назвали, но только не для боли она течет-кружится.

Ты вот смотри, доча, бросил я ком земли в воду, а от него круги пошли. Видишь? Встань сейчас в воду, тебя каждая крохотная волна обласкает. От лихого же человека таких обнимальшей не бежит. Он всё к себе норовит, всё к себе гребёт, так и захлебнуться можно.

Ты вот на белом свете живи так, чтобы от тебя к другим добро бежало, а как добежит – двойное добро возвратится.

Ванины присказки

Сколько времени с того разговора пробежало, не упомянуть теперь. Только вот ведь что скажу вам: как Митрофан Капров землю покинул, Катенька

взяла и оставила родное местечко. Уж так ей памятен батюшкин рассказ про соседа, про матушку, которую не видела, снялась и тихим утром, собрав нехитрый скарб, притворила дверь родного дома и отправилась по западной дорожке. Куда? Да куда глаза глядят.

– Везде люди живут, – шла она по полевым тропинкам. А те взяли и привели её всё на ту же речку, на Пьяну.

– Ты гляди-ка, никуда, видать, мне от тебя не деться, – развязала на берегу платок, а в нём хлеба кусок, яйца, пёрышки зелёные луковые. Только к трапезе приступила, рожок заиграл, на водопой коровы с овцами вышли, а за ними молодец белокурый.

– Это кто же такая, я у нас таких не видывал, – присел пастух. – Меня Ваней зовут, а тебя?

Так вот, слово за слово, Катенька и поведала молодцу, каким путём сюда приبلудилась. Оказалось, от Бутурлина рукой подать до чужой деревишки.

Уж как дело свершилось, не буду придумывать, только зажили Катенька с Ваней ладком, детишек им Господь подал ладных – сыночка и дочку. Дочку Настенькой назвали, хотя уж как настаивал Иван имя дать в честь бабушки – Катенька запретила, а сыночка Митрофаном, в честь деда, только Митрошей все его больше кликали. А по фамилии они прозывались Жуковы.

Много ли, мало ли времени с той поры прошло, только Ваня Жуков бросил свое пастушечье ремесло – Катенька настояла.

– И долго тебе с рожком за коровами ходить? Забирай Митрошу и айдайте к барину. Спину пригни, в артель рыбачью испросись, – приказывала Катенька.

– Так возьмут ли? Там, бают, сноровистых выбирают, – колеблется Иван Жуков, хитрит. Уж так ему любо по просторам хаживать.

– Эх, ты, скрытник, знаю, чего мнёшься, тебе бы только песни играть, а кто сына в мужики выводить станет, соседа, нешто, мне попросить? – на вес попробовала холщовую сумку Катерина. – Вот обед тебе, всё положила.

Уж как права была Катерина, уж как права. Мило-любо Ивану бродить по взгоренкам. Сколько лет пастушествует, сколько лет по одним и тем же лугам проходит, а всё не может всласть налюбоваться и Пьяной-речкой, и лесом тёмным, и провалами карстовыми. Иной раз в полдень задремлют коровы, нырнёт Иван в пустоту земную, а там царство настоящее. Это он потом приметил: мягкие земные породы долго-предолго вымывались пронырливыми водами Пьяны, образуя пустоты. Своды подземных полостей, не выдерживая тяжести земной, рушились, и появлялись провалы. Если где и родились сказки про подземные царства-богатства, так это здесь.

По вечерам сыну с дочкой рассказывал про пещеры разные, то Холодной одну назовёт, то про безымянную какую поведает.

– Мха здесь растёт, годами не перетереть, на сотню дворов хватит. Только дорога туда трудная, сначала надо по перемычке узенькой пройти, того и гляди свалишься. Идешь, осторожничаешь, а под ногой земля слезливая, ком вниз слетит, вот ужас начнётся: внизу то филин кричать возьмётся, то ехидна какая засвистит, то кочеты, будто утром, загорланят. Ну, право, черти кругом, я так и прозвал эту узкую дорожку Чёртовым мостом.

Сидит с ребятами Иван и не ведаёт, что наутро Настенька с Митрошей по ребятне пройдутся и всё расскажут, о чём батюшка вечером говаривал.

Катенька только головой потом качает:

– Ты гляди-ка, что делается, люди Ваняными словами сыплот.

– Что же ты нас, батюшка, с собой не возьмёшь? Жуть как охота нам посмотреть, – канючат детишки.

– Не побоитесь?

– Да что ты, мы ужась какие безбоязненные.

И взял однажды, рано поутру увёл к лесу и показал им огромную-преогромную яму, на куль похожую.

– В наших местах жили-были старик со старухою. Старик добрый-раздобрый, а старуха ему склочная попалась. Что не сделает старик, всё ей не по нраву. Терпит год, другой, десятый, а потом рассердился и отвёл к дубраве. Вот на это самое место. Здесь раньше Пьяна текла. Стоит на берегу, старуху к воде подвёл и давай её страшать: «Не перестанешь злом промышлять, ей-богу, утоплю». Только так сказал, а земля-то как ухнет и провалилась, а вместе с ней и старуха.

Смотрит старик вниз, а яма дна не показывает, и воды нет, а Пьяна в другом месте, аккурат вот у тех берёз, и выплеснулась наружу, и потекла по лугу.

Что тут делать? Старик старуху зовёт, себя ругает, да поделывать ничего не может. Бросился по соседям, созывает на помощь. Те, правда, не откались, хотя старуха их тоже своим нравом достала, пришли. Вожжи в куль земляной бросили, а те дна не достали. Они связали несколько вожжей и опять в яму закинули. Вытаскивают наверх, а на конце вожжей змей клубок. Как бросился народ врассыпную, только сразу же остановился. Слышат, как змеи людскими голосами взмолились: «Заберите от нас старуху, житья не даёт».

– И что же, батюшка, забрали?

– Да как же, вызволили на волю. Она стала по-прежнему жить-поживать, а с тех пор это место и прозывают Кулевой Ямой.

Тут везде земля рыхлая, могильная. Утром стадо по тропинке нахоженной прогонишь, а вечером другую тропку торишь: ни с того ни с сего земля в полдень осядет, и не пройдёшь.

– А река как же?

– Так она, голубушка, по подземелью погуляет немножко, а потом на волю выберется. Вот тут только что текла, а к вечеру другое русло себе облюбовала. И плещется себе дальше привольно, водой поит и рыбой кормит.

Отменные рыбаки

В людской немногочисленно было, так, кучера только завтракали. Стучат ложками, бороды от хлебных крошек утирают, а у порога Иван Жуков с Митрошей с ноги на ногу переминаются. Уж час ждут, когда барин из хоров спустится.

Спроварила всё-таки мужика Катерина в рыбную артель проситься. И так мужа уговаривала, и эдак, только и проняло его, что сына надо в люди выводить.

Широко дверь в людскую распахнулась. Барин прямо с порога начал:

– Ты чего? Хлеба просить? Сам знаешь: милостыню не подаю.

– Да нет, батюшка, – толкнул под локоть отец сына, и вместе в ноги поклонились, – хочу попросить тебя отпустить меня из пастухов, в рыбацью артель пристроить.

– Это что же так? – барин недовольно в сторону едоков взглянул, а те было приостановили ложечную игру, а тут сразу пуше прежнего ложками о чашку застучали. – Сам решил, или надоумил кто?

– Да жена всю плешь проела: хватит с рожком за коровами бегать, пора дело делать. Малец вот подрастает, ему тоже к делу надо прибиваться.

– С умом у тебя Катерина, с умом, – заулыбался барин. – Дело тебе сказывает, а руки у рыболовов нужны. Только, поди, и лодчонки-то у тебя нет?

– Как это нет? – выпрямился Митроша. – Ещё как есть, да быстрая, да ладная. Батюшка с матушкой состроили, а я им помогал, правда, Настёна ещё подсобляла.

– Ну коли так, то об чём разговор вести. С завтрашнего утра и выходи на речку, а пока с рожком пастушечьим пускай твоя баба походит.

Вишь, как дело-то обернулось. Утром следующего дня Катерина Жукова стадо на луга за Пьяну погнала, а Иван Жуков вместе с Митрошей к артели на пристань отправились.

Новая работёнка только издали лёгкой кажется, а за что не возьмётся Иван, все из рук валится. И сеть не скрутит, и грузила на нужное место к ней не подгонит.

Мужики посматривают издали, улыбаются, но не корят – по первому-то разу что ладно получается?

– Не тужи, – кричат ему, – разков десяток сеть перекрутишь, тогда, гляди, всё и выйдет.

– И взаправду, батюшка, чего ты насупился? – мешается Митроша. – Ты гляди-ка, как вон рыбаки делают, они сначала сеть по земле растянут, а потом грузила по нутру разложат, а потом тихонечко скручивают сеть с двух сторон. Давай попробуем.

День пробуют, второй, а на третий на реку спустились. Плывёт лодчонка вниз по Пьяне, легонько покачивается. Отец с сыном место для пристанища подсматривают. Вот и домик их промелькнул, и лес слева показался. Присмотрелись: вдалеке, с крутого берега, Катенька им рукой помахала.

– Давай здесь якорёк бросим, видишь, как Пьяна тут разлилась, – поднял Иван большой камень, привязанный к борту, и бросил его в воду.

Лодка подпрыгнула, покачалась и замерла.

– Вот теперь самое время сеть забросить.

Помогает Митроша отцу, старается. Сразу заметно – поддаётся ему это дело. Покружили маленько, сеть сначала всё поверху плавала, а потом грузила её ко дну потащили.

– Не справимся, поди, без улова вернёмся, – сомневается Иван.

– Как это так, тятя? Неужто мы с тобой хуже всех останемся? – во все глаза смотрит сын на отца. – Как мамка не скажет: не бывать этому.

И ведь, правда, справились. Потянули сеть, а она тяжеленная. Якорёк подняли, к берегу стали причаливать, а как лодка днищем в песок ткнулась, в воду прыгнули.

– Ну, Митроша, не подведи! – воскликнул отец, и вместе стали сеть на берег тащить.

– Ты гляди-ка, гляди, тятя, – вскрикнул Митроша, – сколько рыбы-то.

И то: полная сеть рыбы. Тут тебе щука и стерлядка, окуньки, да всякой, какую ранее ни отец, ни сын не видывали.

– Не грех за такой улов и спасибо сказать, – посматривает приказчик, как отец с сыном в деревянные кадушки рыбу укладывают. – Вот тебе и первый раз. Ну, что ж, рыбаки вы будете отменные, всё про вас барину скажу.

Что барин – Катенька, хоть и устала в пастухах, не нарадуется на мужа с Митрошей. К Пьяне сбегали вместе с Настенькой, воды принесли, на руки мужиков-то поливают и смеются:

– Что мы вам говорили – всё-то у вас получится. Вы у нас хозяева с головами, и руки у вас ладные.

Так вот и пошло: каждое утро Иван Жуков с сыном на воде трудятся. Устают, а всегда с уловом.

– Слово, что ли, знаете какое, – серчают на них другие. – Мы сколько лет на воде, все повадки реки знаем, а сколько раз она нам мачехой становилась. У вас каждый день она матушка, матушка-кормилица.

Мудрственница

Вот так, ненароком, незаметно, присушила матушка-речка Ивана и Митрофана Жуковых.

Ненароком, незаметно сын на первых стал ходить, а отец будто бы уж как и подмастерьем заделался. Парень вымахал, вытянулся к небушку. Сила от него за версту чувствовалась, и сноровка тоже, а глаза стали, как у отца в пору его цветения, – голубые-голубые, губы алые, наливные.

– Ты смотри-ка, хоть бы чуть-чуть этой красоты да нашей Настеньке, – украдкой шептала Катенька Ивану.

– Тьфу, ты, баба глупая, – сердился Иван, – али Настенька наша не хороша, не ладна?

Хороша, слов нету. Коса по пояс, ресницы словно ромашки, во все щёки румянцы горят, а уж певунья, плясунья какая – по миру наищешься, с ног собьешься, а такой не найдёшь.

Только поторопились мы – о Настеньке другая быличка будет.

Потру как-то сам барин на реку пожаловал. Собрались рыбаки кружком, слушают.

– Хозяин наш, боярин Морозов, бумагу прислал из Москвы. Ослушаться её ни-ни, не то кнутом заporю. С сегодняшнего дня для царского столования надо не просто нашей рыбы наловить, а чтоб она на царицу походила.

Стерляди были бы больше аршина, а лещи чтоб тоже в аршин и без двух вершков. Приказывает боярин: во Пьяне раков ловить и из тех раков раковые жерновки варить и те же жерновки в Москву присылать.

Слышно ли всем?

Да как не слышать!

– Ты, батюшка-барин, как же прикажешь нам рыбу-то вымерять, как вывешивать? – спрашивают рыбаки.

– А локти на что? А безмены по домам? – вспылит барин. – Мне ли вас учить, глаз у каждого намётан. За просто так, что ли, рыбу трескаете, нужды не знаете. Вот как повелела боярская милость, так и исполняйте. Сам за всем пригляд учиню, а коли не исполните – быть вам от меня в большом наказании.

– Исполнить-то мы готовые, – отвечают ему мужики, – только рыбы такой мы на Пьяне ещё не лавливали. Ладно, раков, это мы словим, и жерновки сварим, а вот стерляди в аршин не попадалось ещё.

Невесёлыми пришли домой отец с сыном Жуковы. Катенька враз смекнула: не по силам, видать, приказ пришёлся, коли голову рыбаки не поднимают. Что ж, баба мудрственная, приставать не стала, а на стол щи с кашей поставила и на краешек сундука присела. И не время бы спицами играть, а с полатей кошель сняла, достала недовязанный с зимы ещё шерстяной чулок. На мужиков посматривает, петельку за петелькой на спицы нанизывает.

– Ишь ты, сынок, от любопытства умирает, а молчит, – закончил отец пшённую кашу, – вот так всегда.

– А чего я? Моё дело малое: накормила вас и довольна. Только в разум не возьму: почему это вас по домам распустили? Праздник, что ли, барин устроил? Вот невидаль.

– Невидаль в другом, – обратился из-за стола Митроша. – Приказано рыбы наловить невиданных размеров. Где такой взять?

И пересказал матери, как на пристани всё было. Слово в слово, ни капельки не утаил.

– Вот думаем мы с отцом, как быть.

– Стоит ли по таким пустякам голову забивать, – сунула в кошель спицы и пряжу Катенька, быстренько так к столу придвинулась. – Здесь не знаю, а вот в бутурлинской стороне точно такие рыбины водятся. Туда надо спровадиться, и мы с Настенькой поплывем с вами. Вы ловить, а мы вам жерновки варить. Я с батюшкой когда-то этим делом промышляла. Да, не дурна губа у этого московского боярина.

Подхватила Катенька, в сени выбежала и несёт оттуда безмен деревянный.

– Вот вам и весовицы, а уж по длине рыбу локтями определите. Как будет рыбина в целых два локтя, тут вам и аршин.

Скорёхонько собрались Жуковы, сети взяли, молока-хлеба тоже, одежку потеплее. Так вот с нехитрым скарбом и отправились: на вёслах мужики-Жуковы, на корме – мать с дочкой. Плывут, по сторонам оглядываются, только понять не могут, почему же Катенька примолкла, напяржённо смотрит вперед.

А Катенька всё смотрит и смотрит, всё думает: узнает ли она родную сторону? И узнала, и вскрикнула:

– Поворачивай направо, в заводь гребни, наши мостки ещё стоят.

Лодка ткнулась носом о берег, выбежала Катенька на сушу. Так и есть – её это родное место, только на взгорке дома родного не видно. Рухнул он, зарос крапивой. Бросилась было да остановилась: прямо у тына висят на гвоздике лапти.

– Тятины, – промолвила Катенька и заплакала. Сколько раз ей во сне виделся дом её, батюшка, всё прибрано, красиво всё, а тут гляди-ка.

– Здесь разместимся, родное гнездо поможет, – быстро к лодке сбежала и скарб на землю поставила, мужиков ещё побранила. – Вы чего устались? Митроша, Настя, аль не родные вы этому месту? А ну, давай живее!

Время-то совсем ничего прошло, а на берегу стерляди аршинные лежат, ртом воздух ловят, силятся повернуться с боку на бок, но разве такая тушина справится.

Мать с дочкой около берега руками шарят, то одна, то другая раков на песок бросают, а те уже линять начали и чечевичные свои пластинки выставили.

– Вот, Настя, смотри: это и есть жерновки. Мы сейчас раков сварим, а жерновки сами отделятся, только поспевай в посудину складывать. Хорошо успели, в сентябре не справились бы, раки на покой отправятся. Сколько ни ищи, не найдёшь.

– Ты смотри-ка, что делается, – распрямилась от воды Катенька. – Сколь времени прошло, а всё будто вчера. Только-только, кажись, с батюшкой здесь сиживали, а и не заметила, как сама старухой стала.

– Да что ты, мама! – вскрикнула Настенька.

– А чего кричать? Правду говорю, а Пьяна наша нисколько не изменилась: как была красавицей, такой и осталась.

Через день вернулись Жуковы к себе. Стерляди аршинные и лещи в аршин и без двух вершков на берег выкладывают. Раковые жерновки красные в берестяных жбанах сложены.

Где взяли? Откуда столько? Нет, верно, слово знают... Чего только не наслушались отец с сыном да мать с дочерью. Ничегошеньки не ответили, барину в ноги поклонились и пошли.

Ты скажи, речка-матушка

– Что ты, девонька, пригорюнилась? Тебе ли печалиться, тебе ли кручиниться?

Настенька Жукова подскочила с лужка, оглянулась. Никого, ни единой души. Вёдра да коромысло рядом. Пошла за водой, присела на берегу, задумалась.

– Тихо здесь, только волна моя о бережок бьётся.

– Кто же это со мной разговаривает? – Настенька опять во все стороны посмотрела.

– Да я это, река Пьяна.

– А разве река может говорить человеческим голосом?

– Неужто не может. Сколько веков со мной люди разговаривают, сколько секретов ведают, тайн выдают, поневоле заговорить.

– И со всеми ты так?

– Ну что ты. Кого молча выслушаешь, кого молча от беды спасешь, с кем вместе поплачешь. Жизнь, она непростая, а я уж сколько лет среди людей, и люди со мной. Родными стали. Матушку твою ещё девчушкой знала и батюшку Катенькиного любила. Злодейство совершилось на моём берегу, а он зла на меня никогда не держал. Да мало таких, кто злобствует.

– Неужто добрых больше на белом свете?

– Не сомневайся, на доброте жизнь держится, а во зле она сгорает. Да ты себя возьми: в любви и радости выросла. А будь по-другому, разве бы тебе, девка, такой красавицей быть. Вот пройдет немного времени, и не заметишь, как в родных материнских местах окажешься. В Бутурлине станешь жить, у местного барина в хоромях, своим голосом чудным скольким людям радости принесёшь. Я уж не раз любовалась, как ты поёшь. Одно плохо – у тебя все больше грустных песен, а ты радуйся, любуйся, и на тебя люди будут любоваться.

Вот всё спросить тебя порывалась, только не складывалась наша встреча. Это кто же тебя надоумил рябиновые монисты творить?

– Сама не знаю. Однажды попробовала на нитку ягоду нанизать, так затейливо получилось, что глаз не отвести.

– А знаешь ли ты, что и я, река Пьяна, на рябиновые сборки похожа. Далеко отсюда, не день, не два пройти надобно, исток мой, начало мое. А тоже всё с маленькой девчушки-сироты началось. Игралась девонька как-то и ковырнула белой ножкой глинистый комок. Из-под него водичка зажурчала, родничком забила. Постояла-постояла, полюбовалась на девчушку и решила: буду такой же весёлой и нарядной. Заприметил родничок рябиновую связку на шее девочки. Красота! А когда в речку превратился, набросал по излучине семян рябиновых, а к ним в придачу березовых, ракитовых, дубовых тоже, и зашумели леса.

Под кустарником, под деревьями ягоды разноцветные проклюнулись – земляника, черника, брусники сколько, клюквенных мест несчётно. Разве человек пропустит такую благодать! Деревья валит – дома ставит, лыко дерёт – лапти плетёт, в воду зайдёт – с рыбой возвращается. От такой жизни в каждом доме ангелы вырастают, звенят, радуются.

Так я ещё и хитрющая бываю: то в одном месте по лугу расплескаюсь, а потом под землю спрячусь и в другом месте на волю выйду. Где в прятки

начну играть, там и гостинцы народу оставлю: то камень драгоценный, то камень податливый. Бери за просто так и мастера красоту невиданную.

А люди-то какие по берегам моим живут, загляденье. Сильные да ловкие, мастеровые, неленивые. Правду молвят: где вода, там и жизнь.

Посмотри-ка на своего братца: силищей и статностью его бог не обидел, а как пришёл ко мне рыбалить, и вовсе богатырем стал. А батюшка твой! Душа у него певучая, ты вся в него удалась. Про Катеньку и говорить не стану – с таким разумком только на Пьяне девки на божий свет и появляются.

Так, покуда силы мои будут, всё и будет происходить. А я оберегом стану, неслучайно мне рябиновая нитка на шее девчушки-сиротки нравилась, я на эти бусы и похожа: откуда началась, туда и возвернулась. Островок земляной окаймляю, и кто на нём живет, всяк счастливым будет. С хлебом, с памятью, с детьми. Со всеми трудностями справится. И не правду молвят, что в имени моем беда скрывается, вот уж нет. В любви лиха не бывает, а её, любви-то, и моей к вам, и вашей ко мне, хватает.

Не заметила Настенька, как на бережок Катенька с Иваном вышли, Митрофан рядышком присел. Заговорила Пьяна и тоже не увидела свидетелей их с девушкой разговора.

Да чего тут скрытничать: одной семьей живут люди с Пьяной. С Пьяной-матушкой. Помните, как старик Капров говаривал:

– Ты на белом свете живи так, чтобы от тебя к другим добро бежало, а как добежит – двойное добро возвратится.

Правда, мудрственные люди в Бутурлине на Пьяне жили. Почему жили? Живут и сейчас. И дальше жить будут.

Игорь ЧУРДАЛЁВ

Родился в 1952 году в Севастополе, в семье военного моряка. С детства живет в Нижнем Новгороде. Работал на заводе, окончил филологический факультет Горьковского госуниверситета.

Автор поэтических сборников «Ключ» (1983), «Железный проспект» (1987) и «Нет времени» (2002). Занимается журналистикой, преимущественно телевизионной.

МЫ ВРЕМЯ ОТЛАГАЛИ НА ПОТОМ...

* * *

Слушаем птиц и ветер,
сбежав от дел.
Скрипы стволов. В заводи тихий всплеск.
В этот последний, быть может,
погожий день
лес не спешит скидывать кроны с плеч,
словно календари ему нипочем –
лишь, наклоняясь к струям живой воды,
яблоня дикая
молится над ручьем,
в быструю гладь сбрасывая плоды.
Падают яблоки в небо,
где напрямик,
сизую стужу взрезая, не глядя вниз,
тоненький след волочит истребитель МиГ,
точно паук из себя извергает нить.
В нем прозябает мужественный пилот,
в звании младшего ангела принят в сонм.
И невдомек ему,
что он плывет как плод
яблони дикой в малом ручье лесном.
Запад уже погас – но еще не весь,
Искры небес тлеют на ветерке.
Яркая тьма укрывает нас.
И невесть
чем отразимся в млечной её реке.
Обремененная звездами, с высоты
ночь, словно крону, клонит свое чело
к миру, который создан для красоты.
И, вероятно, больше ни для чего.

Медведица

Безродные, галдя оравой всей,
но врозь – делясь по стаям или кастам,
скользили над поверхностью вещей,
не слыша, как под ноздреватым настом,
в берлоге, в мерзлоте, в густой ночи,
покоящей исчезнувшие страны,
Империя, погибшая почти
скуля во сне, зализывала раны.

Мы время отлагали на потом,
когда она очнется с громом рёва
и распрямится, проломив хребтом
непрочные напластованья крова.
И дрогнет мир. И пошатнётся быт,
поставленный устойчиво, как плаха.
И мы шагнем в поля грядущих битв,
зайдясь – кто от восторга, кто от страха.

Увидим грудь четвертого в ряду –
в равнении на стяги ратей грозных
кто братство обретет, а кто вражду,
кто единенье, кто проклятье розни.
Но каждый, кто в шеренги эти встал,
пощады не найдёт, вступая в область,
где ясно проявляются, как встарь,
природа зверя, человека образ.

Experience

Я менее минуты пробыл вне –
и возвратился, странно улыбаясь:
не конвульсивно, но светло, спокойно,
как бы вполне осознанно – настолько,
что даже дама-реаниматолог,
вернувшая меня таким разрядом,
что от груди полдня несло паленым,
спросила без иронии –
– Что видел?

Но я не видел ровно ничего,
ни тьмы, ни света, ни теней в туннеле,
ни дайджеста зазря пропавших лет,
а канул в абсолютное Ничто –
такой и мнится полная свобода
душе, способной быть или не быть.

Стоял октябрь, кристальный и бездонный.
Тем утром с неба рухнул ранний снег,
и воздух тек в меня, как мед студень,
а слаще ничего под небом нет.

Без лишних черт и тайн и линий к спектру
открылся свет, приняв меня назад.
Есть многое, Гораций, что не к спеху
узнать – как мест, куда не опоздать.

А здесь – нам жить наперекор летам,
покуда нас до обуха не сточат.
Лишь грустное лицо моё не хочет
терять улыбки – обретенной там.

Листок

Зыблются тени травы, оживляя суглинок.
Пахнет зацветшей водой, разогретой смолой.
Зреет на отмели сонм лягушачьих икринок,
крутят стрекозы любовь над корягой гнилой.
Омут прошит водомерками,
темен и тинист.
Тихим течением мимо событий и дат
малых вещей величайшая невозмутимость
пусть нам сегодня опору и помощь подаст.

Пусть мы увидим, покуда кулиса метелей
наземь не пала,
как в крохотной жизни своей
тащит сквозь эру фальшивых и мелочных целей,
сквозь безнадегу –
громаду листка муравей.
Как на пути непроглядном грибница вскопала
почву лесную меж твердых корней.
Как из-под
грузного облака падает меткая капля
точно на лютик, в который и целил Господь –
ибо ничтожного нет у безмерной природы,
в каждой росинке она отразилась точь-в-точь.

Так и обучимся жить – без оглядки на годы
то ли застывшие, то ли текущие прочь;
вечен ли вечер, грядет ли времен перемена,
не разделяя с эпохой ни скорбь, ни восторг,
не отвечая за все муравьиное племя,
лишь отвечая за свой неподъемный листок.

Duty free

Странно улетаем. И внутри
точно нечто тонкое задето.
В сумеречной зоне duty free
мы уже нигде – а были где-то.

Ближе к терминалу своему
прикупаем жвачку и открытки,

кофе пьём и плаваем в дыму,
налитом в аквариум курилки.

Перед небом заглушаем страх,
дозами бурбона или шерри
в узеньком зазоре меж пространств,
там, где все ненужное дешевле.

«Боинг», над поземкою скользя,
тянет ноту воющего звука.
Странно улетаем. Впрочем, за
стенами стекла – всё та же вьюга.

Та же мгла и те же фонари.
Может быть, мы и не умираем –
просто переходим в duty free
между сопредельными мирами.

Здесь багаж бывшего можно сдать,
скорбь оставить – и с душою лёгкой
на огни смотреть и рейса ждать
к жизни новой, чуждой и далёкой,

где увидим грезы наяву,
где надежды встретят нас, безгрешных,
где туманным словом «дежавю»
назовём себя, минувших, прежних.

Mea culpa

Из чувств, что тобою как порох и спирт сожжены,
в конце выживает одно только чувство вины,
не жгучей уже, остывающей вместе с душою.

Среди фейерверков пылающих зла и добра
оно несгораемо в принципе, словно зола,
на поле, где тешились пиротехническим шоу.

Не грея, но блестя оно прогорело дотла –
и в этом вина, что душе не хватило тепла
для тех, кто любили её, берегли, выручали.

Но поздно скульпить им вдогонку: простите меня,
друзья и подруги, ушедшая к Богу родня.
Осталось искать искупления в острой печали.

Хранить её, словно обет – и в боях и в пирах,
нести её бережно и осторожно, как прах
всего, что угасло, что не согревая блестело.

Вот так, ни на миг передышки не притормозив,
валун одиночества на гору катит Сизиф,
без жалоб, поскольку привычка – великое дело.

Дым

В этот плавающий вечер,
в назревающую осень,
что маячит вдалеке,
как таинственный разведчик,
из минувшего заброшен,
жгу бумаги в камельке.

Всё сгорело, что бывало.
Что засвечено на фото
в разных памятных местах –
поистлело, миновало,
позабылось отчего-то.

Вот поэтому в мечтах
ограничимся комплектом
органичным и уместным,
как текила/соль/лимон –
и сочтем его проектом
с резолюцией под текстом:
«Всё проходит. Соломон».

Только то, что не сбылось,
скучной Вечности примета –
не сгорает, дымом лета
не становится... Но это
на кольце не убралось.

Всё, что стало никогда,
что всегда не состоялось,
только это и осталось –
там, нигде, меж «нет» и «да».

Алексей ОСТУДИН

Русский поэт и литературный деятель. Родился в Казани в 1962 году. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте (семинар критики Владимира Гусева).

Входил в шорт-лист Бунинской премии (2007) и премии имени Гавриила Державина (2009). За книгу «Проза жизни» награждён премией имени Максима Горького (2007). Лауреат международной премии имени Максимилиана Волошина (2012). Член ПЕН-клуба.

Организатор трёх форумов современной поэзии и многочисленных поэтических вечеров в Казани, в которых приняли участие ведущие российские поэты и видные литераторы из ближнего и дальнего зарубежья.

ДО СУТИ НЕ ДОБРАТЬСЯ АВТОСТОПОМ...

В происках врага

Внезапный свет грозой не передашь,
как запах орхидеи – мармеладом.
Взлетает пицца выше на этаж –
когда идёт война, с доставкой на дом.
Уже последний болт слетел с резьбы,
прилив песка выдавливает воду.
В развалинах помещичьей судьбы
не заживает краб, напившись йоду.
Казалось, что бойскауты, пардон –
простые пионеры из Артека,
наловим пылесосом и пойдём
сушёных комаров сдавать в аптеку,
с пятёрками по мирному труду,
иллюзий на другое не питаем,
а заползаем в новую трубу,
бездонную, как небо над Китаем.

Время пеликанов

Попробуй замереть на пике склона лет,
прихлёбывая дым отчизны из бутылки.
Прозрение остро, как будто чёрствый хлеб
натёрли чесноком, а посолить забыли.

Всевышний окулист запишет на приём,
велит набрать очки, перебинтует ранец.

Придётся овладеть английским с вискарём,
пока не запретит какой-нибудь минздравец.

Душою в зеркалах уже не покривишь –
алмазный стеклорез за роговицей дремлет.
Но грянет глас: восстань и краснокожих виждь,
которые тебе, как Гайавате, внемлют!

Осколками луны обритый рядовой,
сквозь дыры на груди медалями пропорист,
застенчиво стоишь над схваткой родовой,
и праздничный салют гремит, как бронепоезд.

Созвездью Гончих Псов кус-кус не лезет в пасть –
висят погранстолбы обрывками матраса.
Обижен целый мир на воинскую часть,
где спички, керосин и лейтенант запаса.

Остров ошибок

Бритьё и раздраженье смоешь в душе,
водой текущей задом наперёд,
тебя в бутылке выбросит на «суши»,
где палочками чайка подберёт.

На чёрном рынке взвесив все ириски,
выплёвывая в пыль «ду ю спик ин»,
корми кота из оловянной в Минске,
пока к обеду хлеб не из Пекин.

Пока крутая лесенка не спета,
перечитаешь надпись на роду,
чтоб снять с предохранителя планету,
как маузер в семнадцатом году.

Поэтому, по-чеховски – вестимо,
стараюсь, никого не возлюбя,
рождённых ползать Горького Максима
выдавливает на Капри из себя.

Как в сказке

Помню ночь, обведённую мелом,
и молочных зубов корпуса,
как прекрасная женщина пела,
обречённо смотрела в глаза.

Я же гладил её сереброви,
в новостройках любви бестолков,
думал – сорок квартир в этом доме,
на двенадцать латышских стрелков.

Снова утра размокшее мыло,
 обозначенный дюжиной дом:
 Белоснежка, зашедшему с тыла
 открывай – разрази тебя гном!

Дай на кухоньке чаем надраться
 наблюдающих блюдец среди,
 постарайся в халате остаться,
 если нет – навсегда пропади.

Расскажи, кто вынашивал Прада
 и гасил над кроватью свечу –
 мне выкладывай голую правду,
 только знать ничего не хочу!

Пугало

Не отступят грабли ни на шаг, гусли-робингуды огорода.
 Спутником процеживая шлак, их найдут в осадочных породах.
 Зубья разогнут, умерят прыть, ржавчину сошкурят на заводе.
 Мне же – «Яву» явскую курить и скрипеть костями к непогоде,

улыбаться чучелом с гряды дуракам, пока из телогрейки
 пуговиц непуганых ряды с корнем рвут скворцы и канарейки.
 Тьма грибов – в строительных лесах, в небе – прокламации акаций.
 Только ты, со жвачкой в волосах, сохранишь способность удивляться.

Как башмак, описанный котом, априори мир вокруг притворен –
 феню ли комедии понтов огребли по полной братья Коэн?
 Дождь проходит лужи по слогам, вот и жизнь сочла меня полезным,
 пригласила как-то в свой вигвам – сунулся, но крылья не пролезли.

Вид изо кна

Мы начали терпеть издалека:
 у форточки курить – уже неловко,
 не тянется цыплёнок табака,
 а под землёй – бесплатная морковка.
 Бойтся поезд стричься под откос –
 пусть стрелочник сперва «покажет личик».
 Выходит, мир совсем не лоукост,
 а до пупа бронированный лифчик.
 Конечно, эрго сум инкогнито –
 наклейка на гитаре классе в третьем.
 Здесь что ни конь в пальто, его авто
 мобиль «рено» и жизнь в бубновом свете.
 Здесь в ласковом укоре «на хрена!»
 все буквы начищены до блеска.
 Оглянешься – помашет из окна
 беременная ветром занавеска –

ты этот нежный трепет сохрани,
когда, сложив ладони, для уюта,
шагнёшь, без страха, в люльку полыньи
с аккордеоном вместо парашюта.

Школа выживания

Подскажешь Гуглу: под Казанью непроходима глушь лесная,
кусты завязаны узлами, брусника тянет за язык.
Часы не жарят моментая. И только сосны, как масаи,
поочерёдно приседают, взлетая в небо невпротык.

В отеле многозвёздной ночи соврёшь травинку не краснея:
скрипят сверчки засохшим скотчем, луна запуталась в песке –
как тетива презерватива, натянут Млечный Путь над нею.
В системе кровеносной ивы комар висит на голоске.

За поцелуй другой лягушке в болоте жаба душит принца.
Прохландыши в кульке опушки благоухать утомлены.
И, по слогам, сплавляясь речью туда, где водопад клубится,
ты сам себе спешешь навстречу, не узнавая со спины.

Крапиве надоело жечься. Песчинка, сорванная с ветра,
под веком превратилась в жемчуг, что перламутров и медов.
Планшет зарядишь под осиною – прицел с поправкою на enter –
нагрянут волки в мокалинах, а ты – в «Фейсбуке» до зубов!

Радиблага

Нечаянно бегу от женской ласки,
от вермута, и даже от конфет,
упёртый блоггер, пост держу до Пасхи,
со мною бог и Афанасий Фет.
Пока играть в пинг-понг хватает прыти,
случайные удачи копит впрок
не жизнь, а бета-версия событий –
яичница из сковородки вок.
Кому – вопрос одеться по погоде,
тебе – остатки разума сберечь.
Торчит труба в реке на пароходе,
а в ножнах заржавел дымоклов меч.
Пусть в гардеробе этом не оставит
надежду всяк сюда входящий в раж.
Как ворон на суку, кларнет картавит,
больная скрипка точит карандаш.
Душа болит везде, куда ни тронусь.
Всё – радиблага, даже на столе
оранжевая, как дорожный конус,
креветка задохнулась в янтаре.
До сути не добраться автостопом –
гаишники показывают шиш.
Закусывая удила укропом –
никак на голове не устоишь.

Жизнь насекомых

Вот финал августовского блица –
разорённый мышами бисквит.
Прорябина в прорабстве томится,
как электропроводка искрит.

Звёзды сыплются птичьим помётом,
а в сенях, неподвижен и сух,
злой комар вертикального взлёта
прикорнул на липучке для мух.

Снова в яблоко лезут личинки,
а в рассержаной хлеб – лебеда.
Всё наладится после починки,
будто рыбка – совсем без труда.

Нам такая погода полезней –
пустырём, где росли огурцы,
жеребцы выступают за резвость,
а за трезвость – другие борцы.

Этой ночью попробуй не спиться –
за бокалом с домашним вином,
перелистывай взглядом страницы,
что печатает дождь за окном.

Проза

Ирина КОРОТЕЕВА

Родилась в Ростове-на-Дону. Окончила Донской государственный технический университет по двум специальностям – технической и экономической. Работает ведущим специалистом в ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону».

Публиковалась в коллективных поэтических сборниках и литературных альманахах. Победитель и лауреат ряда международных и общероссийских литературных конкурсов. Финалист IX международного мультимедийного фестиваля «Живое слово» (2014).

Член Союза писателей России.

Из цикла «Хуторские рассказы»

ПРО ЛЮБОВЬ

Казачки по природе своей бабы сильные, но тут кто выдюжит-то? Всю войну без мужиков пробатрачили, только и держались на том, что верили: вот вернуться родненькие и пойдёт всё по-прежнему. Бывало, летним вечером, наломавшись за день, собирались солдатки вместе и, вдыхая запах бушующих за околицей лугов, потихоньку гутарили о «своих», о том, как жили они до войны, как будут после неё, проклятой.

Пришла Победа, и на Дон стали возвращаться победители. Из хутора на войну уходили пятьдесят мужиков, а вернулись двое безногих да четверо здоровых. Ещё остались на хуторе несколько ветхих дедов да бегали по базам голенастые кужонки* – вот и всё бабье богатство.

Аким Макарович Шестаков пришёл одним из первых. За три года он почти не изменился, только от носа ко рту пролегли две глубокие, словно прорезающие кожу, складки да в кудрявом смоляном чубе засветились белые нити. По-прежнему отмеривал он слова и не суетился попусту.

До войны он холостяковал, жениться не спешил – всё было недосуг, потому как оставался единственной опорой матери, рано схоронившей мужа, Акимового отца. Местные девахи сохли по Акише, а он как будто и не замечал девичьих поглядок. Для походов за цветами девушки выбирали всё больше дальние лужки, лишь бы пройти мимо заветного куреня, стоящего на окраине хутора. Возле плетня они старались смеяться звонче,

* Кужонок – подросток.

но оставалось разве что искоса поглядывать на высокую статную фигуру Акима, управлявшегося по хозяйству.

Солдата на хуторе никто не ждал: семьи не нажил, а мать померла в сорок четвёртом после долгой хворьбы. Другой родни у Шестакова не было. Аким ничего не знал о смерти матери. И теперь, уверенно прошагавший трудные километры по чужим городам и странам, Аким еле добрёл до родного погоста. Тяжело опустился на чёрную землю рядом с осыпавшимся холмиком и молча просидел несколько часов.

Аким Макарович вернулся с войны не один. С ним пришла тоненькая рыжеволосая девушка, Нина. Левая рука у Нины была отрезана ниже локтя. К тому же она оказалась молчуньей, под стать Акиму.

Хуторские бабы, статные, налитые, никак не могли взять в толк, как эта конопушная пигалица смогла увести у них самого видного хуторского жениха, и только Ниноино увечье немного смягчало бабьи сердца. Они не знали – женился Аким по любви или из жалости. Бабам, конечно, хотелось думать, что из жалости.

Шестаковская хата сильно пострадала при наступлении советских войск. Но Аким уверенно взялся за дело и вскоре обновлённый курень горделиво красовался белёными боками под камышовой крышей.

Нина вполне справлялась с хозяйством и одной рукой, при необходимости помогая себе культей левой руки. Приноровившись, рыжуха, как её окрестили местные, ловко придерживала тяпку или перехватывала белье, когда отжимала. Глядеть на это было тягостно, но Акима изъян жены, похоже, не смущал.

– Приворожила! – перешёптывались бабы на вечерках, поплёвывая семечки. – Как есть приворожила! Рыжие, они такие. Если уж чего удумают, всегда получают.

У Шестаковых по очереди народились две дочки-погодки. Аким не бартыжал*, и постепенно в хозяйстве завелись важные шептуны**, юркие пеструшки***. В сарае мычала коровёнка, в загоне хрюкала упитанная хавронья.

Всё бы ничего, да вот только Аким прибалывал. И в плечах был он широк, и руки имел жилистые, сильные, но этот недуг иногда делал его беспомощнее грудного ребёнка. Хуторские поначалу пугались, когда, вытянувшись струной, Аким внезапно падал во весь рост и хрипел перекошенным ртом:

– Нинушу позовите, Нинушу...

Если её не было рядом, мальчишки бежали к шестаковскому куреню и кричали на весь хутор:

– Тётя Нина! На дядю Акима опять лихоманка напала!

Она тут же подхватывалась и бежала, спотыкаясь, как была: босая, простоволосая. И только на её руках муж постепенно успокаивался, светлел лицом.

На расспросы баб Нина отвечала немногословно:

– После контузии у него эта болячка.

Так и жили. Рóстили детей, работали в колхозе, управлялись с хозяйством.

Летом 1955 года душное марево на несколько недель плотным колпаком накрыло район. На полях чернел подсолнух, на хуторских огородах сохли овощи. Тогда и случилась беда.

* *Бартыжал* – ленился.

** *Шептун* – утка.

*** *Пеструшки* – куры.

Загорелась колхозная конюшня. Раскалённая за день камышовая крыша польхнула вмиг. В разгар рабочего дня пожар заметили поздно, когда огонь уже начал пожирать саманные стены. Растерявшиеся люди не знали, как подступиться, а в стойле билась и кричала жеребая кобыла, не выгнанная на выпас со всем стадом.

Шестаковы прибежали последними. Аким недолго думая схватил валяющуюся под ногами попону, и, набросив её на голову, кинулся к горящим дверям и исчез в пожарище. Бабы голосили, мужики матерились, не решаясь подойти.

Стоя в опасной близости к огню, Нина всматривалась внутрь сквозь дымную завесу. Время шло, Аким всё не появлялся, только из адского горнила рвался отчаянный и горький лошадиный плач. Никто из толпы не успел заметить, когда Нина шагнула в огонь. Она просто пропала, и все.

Когда саманная конюшня уже стала оседать, из огня прямо на людей вылетела обезумевшая кобыла. Через секунду в пылающих дверях появилась и Нина, тащившая волоком закопчённого мужа. Подбежавшие мужики подхватили рухнувшую без сил женщину за мгновение до того, как с грохотом провалилась горящая крыша.

Спасшиеся муж и жена представляли собой страшное зрелище: в дымящейся одежде, с обуглившимися волосами. Оба были без сознания. Нина странным образом пострадала сильнее мужа – красная обгорелая кожа уже вздыбилась пузырями, из раны на голове на лицо текла кровь. Ошеломленные хуторские растерянно стояли, не зная, чем помочь. Внезапно Аким зашевелился и открыл глаза.

– Нина... – он закашлялся и попытался сесть. Мужики помогли ему приподняться. Аким, увидев умирающую жену, взвыл. С невесть откуда взявшимися силами он кинулся к ней, обнял и стал качать, как маленького ребёнка. Сквозь прерывистый кашель слышались отдельные слова:

– Как вошёл – помню... дышать нечем... опять лихоманка прихватила... упал... Нина... Нинуша... Она меня из-под пуль... руку потеряла... и сейчас... как же... Нинуша... Нинуша...

Женщина постепенно затихла в его руках и перестала дышать, но Аким не замечал этого, всё качался и приговаривал:

– Нинуша... Нинуша...

Чёрное небо, с утра тяжёлым брюхом висящее над Доном, разрубило острой молнией надвое. Тяжёлые капли падали с разверзнувшихся небес на дымящееся кострище, на склонённые головы односельчан, на плачущего мужчину с бездыханной женщиной на руках.

Аким похоронил Нину рядом с матерью. Запить не запил. Только, когда тоска брала за горло, не давала дышать, шёл с бутылкой самогона на кладбище, садился у могилы жены, пил горькую и шептал:

– Вот детей на ноги поставлю, и к тебе, Нинуша...

Иной раз досиживал до сумерек, разговаривая с Ниной о чём-то, только им одним ведомом.

Больше Аким не женился. Он умер на Ниной могиле после того, как вторая дочь вышла замуж. Отмучился...

ДЕД

Канонада далёких боёв долетала со степными ветрами, будоража мальчишек и приводя баб в ужас. А потом мимо куреней пошли отступающие части Красной армии. Запылённые усталые солдаты прятали глаза от жителей, молча смотрящих им вслед.

Немцы приехали на тяжёлых мотоциклах с колясками. По-хозяйски позанимали лучшие хаты, выгнав местных на жительство в сараи. Каждый день фашисты резали по несколько квохтух* и шептунов. Но открыто не лютовали, тут хуторянам, можно сказать, повезло. А вот по области какие только зверства оккупанты не чинили. И убивали, и насильничали. Страшные слухи докатывались до хуторских.

Судьба берегла этот маленький посёлок в несколько улочек. Конечно, тяжело было видеть ненавистные гладкие морды, но, чтобы сохранить детишек, бабы терпели. По привычке – тяжело работали. Обихаживали как могли свой небогатый скотный двор – одного на всех старого бугая, несколько тощих коровёнок, лошадиц. Кур-несушек прятали у старого деда в подполе, благо, никто из фашистов не позарился на его покосившуюся хатёнку.

Но тяжче всего была неизвестность – живы ли их мужья, сыновья, братья? Справится ли Красная армия с врагом?

И вот, наконец, выбили наши опостылевших иродов из донских степей и погнали впереди себя, как шелудивых пустобрёхов, подстёгивая для резвости кнутом.

Здесь уж хутору досталось. Округа была изрыта воронками от снарядов и бомб. Много хижек** сгорело, а устоявшие курени мало подходили для жилья. Несколько человек убило. Эх, горюшко горькое...

Бабы похоронили погибших местных жителей и бойцов Красной армии на хуторском кладбище, а немецких солдат – за просёлочной дорогой. Погососили над могилами, и опять – в ляжку.

У деда Кузьмы, того самого, у которого хуторские прятали птицу, снарядом убило дочь. И чей это был снаряд – наш ли, фашистский – деду было неведомо. Они с внучком успели спрятаться в леднике, стоящем поодаль от хатенки, а дочка, выскочившая из ледника на минутку, попала под обстрел. И остался дед с мальцом на руках.

Кузьма Иванович Казанцев, а для своих – дед Кузьма, был на хуторе человеком уважаемым. Многие лета назад безоговорочно принял он новую власть. И хоть был простым крестьянином – земляки единогласно выбрали его в сельский Совет.

Тяжело работал Кузьма Иванович и людям помогал чем мог. Хотя самому приходилось несладко: будучи человеком замкнутым и стеснительным, женился он поздно, но жена померла в родах, оставив ему дочь. Девочка росла слабой и прозрачной, как степная былинка.

* Квохтуха – курица.

** Хижка – казачье жилище.

Поставил-таки Кузьма ее на ноги и замуж выдал. Жизнь налаживалась, да вот пришла война треклятая, и все покатилося колесом. Зятя забрали в армию, когда дочь Кузьмы Ивановича была на сносях. Молодой казак быстро сгорел в топке войны, так и не узнав, что родился у него сын.

Пришлось деду Кузьме стать внучку Прохору отцом. Пока дочь, черная от горя, сутками лежала, отвернувшись к стене, Кузьма Михайлович нянчился с Прошей: соорудил ему люльку, менял домотканые пеленки, кормил разведенным коровьим молоком, вместо соски давал жеваный хлеб, сложенный в тонкую тряпочку. Дочь постепенно отошла, поднялась, и зажили они втроем.

Дед очень болел и поэтому больше занимался с Прошей, а дочь управлялась по хозяйству да работала с бабами в поле. Солдатки постепенно тоже стали приводить своих детишек на присмотр к Кузьме Ивановичу, а сами с утра до ночи ломались на полях, чтобы хоть что-то вырастить и собрать на прокорм во время лютой годины. Так и сидел дед в хатенке: в маленькой горнице щебетали ребятишки, а в подполе кудахтали спрятанные от фашистов куры.

Когда дочь убило, помогать деду было некому: на каждом базу* – горе, во многих семьях – по покойнику, а то и не по одному. Кузьма Иванович свое дите обмыл сам, состолярничал гроб, уж как смог...

От петли спас Николай Угодник. Никогда Кузьма Иванович не был страстным верующим, но и ярым атеистом – тоже. Посты не соблюдал, мог и слово матерное сочное промеж разговора пропустить. Но иконы жены-покойницы, что много лет в красном углу висели – не трогал. На память, что ли.

И вот показалось деду Кузьме, что кто-то за ним наблюдает. Причем не отпускало это внимание ни в хате, ни на улице. Позже глянул он в глаза святому Николаю, понял – он это, а вместе с ним жена-любушка. Берегут, держат. А тут ещё Проша всюду следом за ним семенит. За штанину схватится и:

– Тятя, тятя...

Какая уж тут петля... На девятым день после смерти дочери, уложив Прошу спать, вышел Кузьма Иванович за баз, упал на колени и, не в силах больше держать в себе горе, закричал в небо:

– Что же за судьбу ты мне назначил? Сволочь, а не судьба! Меня, старика, оставил, а молодых забрал! За что? За что...

Долго еще резал он словами ночь, да только низкое январское небо равнодушно смотрело желтыми звездами на его слезы и холодный ветер бился в лицо, не давая говорить.

С этой ночи что-то переломилось в Кузьме Ивановиче. Обозлился он на жизнь. Одно думал:

– Ну, сука, держись, не сдамся, и не жди.

И таких сил эта злость ему придавала, что даже палку, на которую много лет опирался, отбросил.

Ох, и хлебнули тогда! На хуторе работы было невпроворот, не знали, за что хвататься. У деда с Прошей курень хоть и пострадал, но был пригодным для жилья. Кузьма Иванович приютил у себя погорельцев, а сам помогал восстанавливать хижки, строить новые на месте сгоревших или разрушенных.

Фронт ушел вперед к Ростову и дальше, оставив за собой горелые танки, искореженные машины, груды военного металла на вздыбленной, изувеченной взрывами степи.

* Баз – двор вокруг казачьего жилища.

Земля не ждала, она требовала заботы и ухода, а на хуторе из работников – бабы, ветхие старики, детвора и два инвалида комиссованных по ранению.

На сельском сходе сговорились, что до окончательной победы Красной армии, пока не вернутся молодые мужики, над хутором главным, вроде как председателем, будет дед Кузьма. Кузьма Иванович против и не был. Рассуждал, что и пользу эта работа принесет, и думы тяжкие из головы выбьет.

Все ходячие, от мала до велика, уносили, утаскивали, запрягая чуть живых лошадиц и бугая, железные останки с полей.

Нужно было готовить оставшуюся технику к севу. Конечно, не было никаких запчастей, приходилось скручивать гайки, винты с оставленной после боев техники.

Дед Кузьма почти не спал, ел через раз. Был он в курсе всех хуторских дел: контролировал посевную, ремонт и постройку куреней, подбадривал односельчан. Он даже находил время следить за справедливым распределением молока между детьми (взрослым-то не доставалось) от выживших тощих коров и мальчишеского улова из реки Сал: красноперок, лещей, сазанов, а иногда и небольших сомов.

Не свела в могилу беда деда Кузьму, а только укрепила, выпрямила. Теперь он стал сильнее и выглядел уже не стариком, а крепким жилистым мужчиной, по странному недоразумению заросшим седой бородой.

А рядом всегда – Проша. На Троицу ему должно было исполниться три годка, и он уже уверенно топал ножками за дедом. Но большей частью дед возил внука за собой в самодельной тележке. Хуторские споры Кузьма Иванович разбирал в штабе, устроенном в его старой хатенке, а Проше под людской говор даже крепче спалось в своей люльке.

Так вот и прожили 1943 год, следующий пошел чуть полегче, а там и 1945-го дождались.

Выкосила война хуторских мужиков: из пятидесяти ушедших на фронт вернулось двое безногих да четверо здоровых.

Но все ж таки было кому подменить деда Кузьму на его нелегкой работе. И подменили. Да вот только с тех пор хуторские стали обращаться к нему уважительно – председатель. По старой привычке забегая за советом, они неизменно приносили то с пяток яиц, то кусочек сала, то свежеспеченный кругляш хлеба и всегда – гостинцы для Проши.

Кузьма Иванович постепенно отойдя от дел, зажил тихой стариковской жизнью с внуком. Прохор тянулся крепким топольком. Синеглазый, в мать, он стал отрадой и опорой деда. Не у каждой бабы в хате был такой порядок, как у них. Подмета земляной пол березовыми прутиками, полив огород или сделал еще какие важные по времени года дела, Проша бежал на учебу в соседнее село, а дед Кузьма, ожидая его, возился по хозяйству.

Когда пришел час Кузьмы Ивановича – принял он его спокойно: за Прохора, восемнадцатилетнего красавца, тракториста, первого во всем, теперь можно было не волноваться.

Уходил на рассвете, с легким сердцем, к своим. Но знал, что и там, в райских куцах, не забудет он бескрайние степи, духмяный запах цветущих лугов в красных огнях лазоревиков*, этих людей, как будто выкованных из стали, и жизнь, такую разную – трудную, но счастливую уже тем, что прошла она здесь, на родной донской земле...

* Лазоревики – степные тюльпаны.

Георгий ПАНКРАТОВ

Родился в 1984 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет им. М.А. Бонч-Бруевича. В разное время проживал в Севастополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Омске, Москве.

Живет в Москве и Севастополе. Работает как публицист, редактор регионов онлайн-СМИ «Русская планета», контент-редактор информационного агентства «Новороссия».

В 2014 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Крупная проза» с повестью «Лунный кот». Автор книги «Невод мира сего».

СКРИПКА

Старик долго ждал того дня, когда просто пойдет дождь. Во все окна летел песок, и когда бы он ни открыл их, мелкие песчинки засыпали подоконник, спешили в холодную кровать, на рваные тряпки, служившие постельными принадлежностями, старые газеты, в неприличном количестве скопившиеся на прикроватной тумбочке, и фотографию, все время норовившую завалиться набок. Счастливые глаза не молодых, но крепких, исполненных жизненных планов людей смотрели на полусгоревшую розетку, куда-то в бездну ее черных внутренностей. Старик становилось не по себе в такие моменты, вздыхая и охая, он направлялся к тумбочке и поправлял упавшее фото. В их доме было много пыли, но фотография всегда блестела, в стекле, защищавшем от внешнего мира их ставшее кадром счастье, отражались свет люстры, солнце и пристальные, редко мигающие и словно удивленные глаза жены, когда она подолгу смотрела на запечатленный момент прежней, когда-то бывшей реальностью жизни. Куда она торопилась, куда мчалась та жизнь? В эту постель, в летний песок сквозь окно, в растрепанные ветром муниципальные газеты. Старик протирал рамку тряпкой, лежавшей тут же, на тумбочке, или – в те дни, когда не подводила память – аккуратно положенной в верхний ящик.

– Закрой, – просила жена, и слабая рука ее делала неопределенный жест, указывая то в направлении окна, то куда-то в сторону потолка. Она практически постоянно лежала, хотя ее не мучили болезни, столь свойственные пожилому возрасту, когда лишают людей радости ходьбы. Ходить она могла, но радости это не доставляло.

Заунывное лето никак не заканчивалось. Лето было для молодых, а в отношении молодости, цветущей вокруг, у старика не было никаких иллюзий. Вопреки распространенному среди подростков заблуждению, он не ненавидел молодость, не терзался завистью, не томился бессилием повернуть свою жизнь вспять. «Я и сейчас не ближе к смерти, чем они, – говорил он, кашляя, приходившему его навестить журналисту. – Любого

человека отделяет от смерти секунда, и с этой секундой в запасе бродит всякий живущий своими тропами». После таких слов он умолкал и неизбежно смотрел впереди себя, не в глаза собеседника, и даже не на него вовсе, отчего тому становилось не по себе. Молодость была, как было и все остальное, и все жило в равных условиях на Земле.

– В этом и есть справедливость мира, – говорил он журналисту, чем вызывал отчаянный пьяный смех того. Журналист Аркадий Вепрь, странный знакомый старика, был алкоголиком отпетым, его профессия приучила к мысли, что справедливости в мире нет, и более того – именно поэтому, а может и поэтому только – мир по-своему справедлив. По крайней мере он любил объяснять это профессией, возможно, оттого что так ему представлялась «отдача» от профессии журналиста еще в незрелые годы. Каких-то вершин в профессии Аркадий достичь не сумел и в свои 40 неожиданно понял, что вернулся к тому, с чего начинал когда-то, мечтая достигнуть космических высот. Он не бывал под пулями, не раскапывал секретных дел, не делал сенсационных снимков звезд да и обычные интервью с ними брал редко. Поработал в паре городских газет, журналах о музыке и авангардном искусстве, какое-то время был главным редактором сайта. Но время шло, и статьи, переписываемые из других источников, чьих-то блогов, или просто собственные впечатления от жизни, которые он гордо именовал публицистикой, обесценились даже в его собственных глазах. Редакторы же выбирали молодых и энергичных, благо недостатка в таких кандидатах нет. Теперь Аркадий с переменным успехом боролся с энергичными на сайтах фриланса, периодически отхватывая заказы от PR-агентств и специализированных журналов. Впереди маячила пустота, и общение со стариком хоть как-то сглаживало внутренний страх: во-первых, у старика пустота уже наступила, а у него еще нет. Но это слабо согревало душу. Скорее, глядя на пустоту старика, он готовился к собственной, примирялся с ней, узнавал, чего ему ждать.

Старик – а звали его Семен Иванович Французов – относился к своему приятелю скептически. Его не покидало ощущение, что зрелости журналист так и не достиг, и, встречаясь с ним, он всякий раз испытывал некоторую брезгливость. Пытался побороть ее, понимая, что это единственный друг. Но не мог.

Жена его, Нина Валентиновна, журналиста не любила тоже. Но терпела, и вовсе не оттого, что старик мог – условно, но все же – назвать его другом. Лишенная общения, гостей, подруг, приятелей – всего того, что делало яркими прежние годы, она видела в не самом приятном ей госте единственное зеркало, в котором отражалась их старческая жизнь. Не будь журналиста, их не существовало бы – о них некому было бы знать, говорить, вспоминать – и вся та любовь, что она пронесла через жизнь, строя маленькое счастье, осталась бы незаметной. Она, посвятившая жизнь одному человеку, хотела, чтоб об этом знали, увидели, что она смогла, что она не зря когда-то так решила и ни разу не отказалась, не пожалела о своем решении. Этот итог – их бедное и не самое яркое существование на закате жизни – все-таки был счастьем. Все тяготы и невзгоды так и не отучили их говорить «Я люблю тебя», выходя из ванны, засыпая вместе, выполняя незатейливую и несложную просьбу другого. Остальное было скучно, других достижений не было, но быть до конца вместе – это цель, которую они поставили когда-то и которую сумели выполнить. Семен Иванович был доволен: его спокойствие и достоинство, с которым он часами смотрел во двор, провожая жизнь, на том и держалось, что он добился всего, чего захотел, а большего и не надо – он сделал ее счастливой. Правда и то, что он совсем не нуждался в «зеркале», в том, чтобы кто-то оценил, увидел, как они живут вместе. Людей, которые не инте-

ресовались его жизнью, он оставил в стародавние времена, они стерлись из памяти, ни имен их, ни лиц, ни голосов от них не осталось. Старик знал, что никто не интересуется человека, кроме самого себя. И строил свое счастье без оглядки на тех, кто даже не слушал, что он отвечает на вопрос «как дела».

Нина Валентиновна подолгу смотрела на старика и улыбалась. Он источал спокойствие и уверенность, несмотря на больной вид. Казалось, его ничто не тревожило, ничто не могло задеть и побеспокоить. И действительно, все обстояло именно так. Впрочем, одна гнетущая мысль с некоторых пор поселилась в голове Семена Ивановича, и, всплывая из мутных вод бытовых повседневных мыслей, заставляла его мрачнеть. Его беспокоила смерть – но не тем первичным страхом, заложенным в каждого человека – мол, все умрут, и не тем, какой смертью умрет он сам – по дороге к дивану, или в очереди за молоком. Он терзался: кто уйдет раньше: он или Нина. И в редкие моменты разговора с Богом старик просил, чтобы она умерла раньше. Чтобы умерла счастливой, окруженная его заботой и скромным, на какое он способен, вниманием. Чтобы ей не было страшно оставаться одной. Она падает и подолгу не может встать, – объяснял он Богу, – и порой забывает, зачем куда-то направлялась, хотя только на сборы тратила пару часов. Разговоров с Богом Нина Валентиновна не слышала – старик просто стоял у окна и смотрел вдаль. Разве мог не ответить на ее вопрос, чего в остальные минуты с ним никогда не случалось.

Семен Иванович закрыл окно. Песок, залетавший в дом, растривал его: а в возрасте, когда самые яркие радости, как ни крути, позади, сильнее всего ранят, как правило, мелочи. Тольятти был грязным городом, они переехали сюда, устав от столиц. Да и была квартира, оставшаяся в незапамятные времена еще от бабушки. «Живи», – приговаривала бабуля ему, тогда еще молодому, и пристально смотрела на него. Он не выдерживал взгляда и отворачивался: так уходящая жизнь смотрела на остающуюся. «Живи», – шептал голос откуда-то с границы, и ему очень хотелось жить. В городе не было моря, не хватало воды, были только заводы и офисные центры. В их дворе стояла трансформаторная будка, несколько больших канистр для мусора и баскетбольное кольцо без сетки, приделанное к ветхому столбу посреди песчаного поля. И справа, и слева, и впереди – через поле – стояли блочные дома, такие же, как и у них, а за теми домами стояли другие, если уж не такие же точно, то очень похожие, а где-то совсем далеко, куда жена уже не дойдет одна – заблудится – проходила дорога. Старик любил посидеть на автобусной остановке, наблюдая за движением: мимо проносились автомобили, сновали туда и сюда охваченные бытовыми думами жители ближайших домов, а иногда царственно останавливался автобус; снисходительный водитель открывал двери и сразу жал на кнопку снова: он знал, что старику куда-то ехать, а другие пассажиры на остановке появлялись редко, да и не сходил никто. Иногда старик откупоривал бутылочку пива, и липкий, вязкий день вдруг начинал бродить радостными пузырьками, неожиданно радовала мамаша с колясочкой или удачная шутка проходивших мимо старших школьников. Кто-то заговаривал с ним, спрашивал время, и старик улыбался в ответ: «Время, время...» – и кивал головой. Затем вдруг спохватывался, резким движением выставлял вперед руку, и, прищуриваясь, бодро рапортовал: «Половина четвертого, или пятнадцать тридцать. Нет, даже тридцать одна». Но интересовавшегося временем прохожий уже куда-то исчезал.

«Хм», – ежился Семен Иванович, возвращаясь в свое привычное забытьё. Пиво приносило больше тоски, покидало его быстро, оставляя тревожное чувство медленного отрезвления, которое было гораздо хуже ясной трезвости. День был испорчен, оставалось либо напиваться, либо

тяжко приходиться в себя, но даже идти за алкоголем – не то чтобы пить – казалось ему бессмысленным. Напиваться не удавалось: алкоголь не нравился, веселья не было, сон становился страшен и гадок. Приятное ощущение было от первого глотка пива, но только от него – единственного. А далее мозг просто погружался в какую-то мутную и вонючую жидкость, пока не тонул в ней. В этот момент у старика закрывались глаза.

Он не мог и не хотел напиваться еще и из-за жены, конечно. Когда они становились беспомощны, в глазах стояли слезы. А какая помощь от пьяного, когда его и в лучшей форме (теперь так приходилось говорить и про такое состояние) сдувает ветер. А если пьяный упадет, еще и расшибется. А станет плохо ей? Нет, он не мог подобного позволить.

«Нельзя заикливаться на одном человеке», – всплывали в его памяти слова приятеля из далеких времен уже зрелости, но еще вроде как молодости. «А в чем же тогда смысл? Посвятить жизнь другому – вот единственное, что оправдывает наше существование», – интимно шептал Семен Иванович, наделяя космической важностью каждое слово. Ну-ну, смеялся приятель сквозь сигаретный дым. Постаревший, он иногда посматривает на Семена Ивановича с телеэкрана, если тот вдруг решает включить пыльный ящик. Иногда старику кажется, что бывший приятель осознает его правоту в том разговоре. Иногда глаза бывшего приятеля кажутся ему грустными. И чтобы не видеть их, он выключает экран.

А как не заикливаться? Однажды жена действительно заблудилась в их унылом квартале. Дело было так: в одно из воскресений они собрались за продуктами. В собственном дворе магазина не было, в соседних – лишь пара павильонов, и они отправились в экспедицию, как шутя говорил старик. Деньги они получали из Пенсионного фонда, да иногда приходил перевод от дочери, живущей в Москве. Старик вряд ли смог бы сказать, когда видел дочь в последний раз: может, десять, а может, пятнадцать лет назад – в его возрасте прошлые годы уже перестают быть аккуратно расставленными папочками в архиве, и сливаются в прямую линию, на которой все события не имеют ни дат, ни степени важности. Ее муж не был интересен Семену Ивановичу – он занимался какой-то продажей, перепродажей, арендовал и покупал что-то, посещал корпоративные курсы и сам проводил тренинги. Говорить с ним было не о чем. Дочь занялась бизнесом, дальше этого слова старик уточнять не стал: занялась, ну и занялась, – мысленно одобрил и забыл. Дочь была совсем другой; не то что любить ее больше матери – да и вообще просто любить ее он так и не научился. Теперь она временами присылала сообщения на телефон Нины Валентиновны, узнавала: «Живы ли?», «Не изменился номер счета?» и делала нерегулярный перевод. На эти деньги не разгуляешься, но всякий раз они были кстати.

– Так доча понимает благодарность, – ворчал усталый старик, надевая пальто, но про себя благодарил: ее и Бога, ведь без помощи этих двоих жизнь стала бы очень тяжелой.

– Ну а что ты хотел? Жизнь, – объясняла жена. Встав с постели и опираясь на стену, она тяжело дышала и осматривалась по сторонам, будто оказалась в незнакомом месте. В действительности ей было больнее: дочь была в детстве и юности ее лучшей подругой, отдалилась слегка, обучаясь на последних курсах университета. А затем внезапно уехала, сначала в Европу, затем вернулась в Россию. Мать просила о встрече, плакала возле окна, а Семен Иванович уходил на кухню и там засыпал. Затем просьбы о встрече кончились, а с ними и все разговоры. Дочь исчезла, стала другим человеком, выбрала мир, о котором они никогда ничего не узнают, даже самого главного: хорошо ли ей там? Они не знали, замужем ли дочь до сих пор, или уже

разведена, или уже с другим – единственным контактом с ней были сообщения, приходившие изредка с телефона, в остальное время выключенного.

– Дай мне руку, – просила она привычным, ничего не выражающим голосом, и старик, босой и одетый в пальто, шел через коридор ей навстречу и протягивал руку. Она опиралась, чувствуя в руке силу, которой ей так не хватало, прижималась к нему все крепче. Эта сила не могла ее защитить или спасти перед лицом самого страшного, но эта сила еще была, и в налитых ею руках старика она чувствовала жизнь, в то время как ее собственная сила стремительно уходила. А самое страшное уже являлось по ночам. «Забери меня, – кричала она старику сквозь сон бессвязные слова. – Верни мне», а он закутывался в одеяло и бесконечно долго на нее смотрел.

К середине дня у Семена Ивановича разболелась голова, да и слабость организма дала о себе знать в самый неожиданный момент. Виски сдавливала какая-то непреодолимая и жестокая сила, перед глазами появлялись пятна, все плыло – потолок, стены, тревожно качалась из стороны в сторону блеклая лампа на черном проводе, свисавшая над прихожей, как будто дело происходило не в панельном жилом доме, а на корабле при сильной качке. Старика резко затошнило, голова взорвалась неестественной, непривычной даже для его здоровья болью, и на какое-то мгновение отнялось зрение. Он резко качнулся вправо, заваливаясь на жену, и, не желая потянуть за собой, выпустил ее руку. Но так и не смог увернуться; падая, толкнул ее, и без того потерявшую равновесие.

Это могло быть смешно, засними кто такую картину на видео, – два старичка, сопровождая друг друга, падают по дороге к входной двери. Они и сами посмеялись бы – к своим годам им удалось сохранить чувство юмора и добрую иронию друг к другу – когда бы, падая вслед за ним, она не ударилась головой об угол тумбы. Издав какой-то то ли хлюпающий, то ли хрипящий звук, она потеряла сознание да так и лежала возле тумбочки, а рядом, на расстоянии вытянутой руки, в беспомощности ворочался старик, и стонал. Тусклая лампочка висела над ними неподвижно, на кривом черном проводе и совсем не шаталась, ведь это был не корабль, а обычный панельный дом.

Сколько прошло времени – он не мог понять, да и выяснить это не было никакой возможности. Мысль бежала впереди, была сильнее физической возможности встать, он отчетливо понимал: что-то случилось с женой. Внезапно настигшая слабость, едва возвращающееся зрение, дикая головная боль приковали его к полу, только судорожно двигалась рука, цеплялась за стену, пыталась оттолкнуться от пола, но не хватало сил. Он окликнул ее по имени – один раз, другой – испугавшись собственного голоса, ставшего внезапно хриплым и неестественно тихим, в то время как хотелось орать. Вдруг что-то укололо в сердце, затем еще, и еще, превозмогая боль, он пытался привстать, чтобы увидеть ее, но не получалось. Через какое-то время голова бессильно упала на пол, издав глухой стук. Чтобы помочь, нужно было прийти в себя, нужно было лежать и ждать.

Старик старался дышать медленно и ровно, он чувствовал, как боли постепенно отступали, как силы медленно, но верно возвращались к нему. Он смог ощущать что-то еще кроме ужаса, к нему постепенно приходили мысли. В них не было настоящего, не было комнаты, лампы, дурацкого падения, чертовой тумбы, в конце концов, там не было. В них были неясные воспоминания, улица, которой он *вспомнить* никак не мог, яркое солнце, слепившее глаза, и он, Семен Иванович, без головного убора, ищущий, как от него укрыться. Он все глубже проваливался в какой-то мистический сон, но знал, что тот день был на самом деле. Старик попытался приподняться, но неуклюжая попытка вновь закончилась ударом об пол.

Несговорчивая машина времени возвращала его в день, который когда-то точно был прожит, и это один из счастливейших дней – они отмечали какую-то дату. «Сколько-то лет, как решили быть вместе», – вертелось в зудящей голове. Они шли по солнечной улице в ресторан, ему чуть за сорок, ей чуть меньше сорока. Но о чем они говорили, во что были одеты, что было до этого, да и вообще – когда все это было – проклятое помутнение не давало вспомнить. Там была кошка, да, там была кошка, и не одна. Кусок забора, торчащие железные прутья и залитая солнцем улица. «Автомобиль», – прошептал старик и вновь попытался встать.

Воспоминания приходили вместе с болями. Не те, что он хранил, не те, к которым обращался в минуты грусти или романтического – с ним случалось и такое – настроения. Не те, в которых и он, и она помнили каждое слово, каждое движение свое – целые истории, которые они могли безошибочно рассказать, лишь взглянув на фотографию из альбома – только друг другу, больше им было некому. А другие воспоминания, которых словно бы и не было никогда, словно бы они пришли из другого измерения – где хаотично хранятся случайности, незначительные и неброские фрагменты прожитого, моменты обыденности, где они переплетаются друг с другом настолько, что дата, время и место событий становятся категориями, лишены всякого значения. Внезапная боль выпускала их, и тогда там появлялась молодая она. Не старуха еще...

«Мне уже за семьдесят пять, а ты никогда не называл меня старухой. Надо признать: старуха и есть», – говорила она, собирая пролитый чай тряпкой. Рука дрожала, вот и не выдержала – опрокинула. Любимую чашку, подаренную им в наборе. «Ничего, есть еще чашечка, – шептала она. – Куда-то подевалась чашечка».

Старик помнил, что предпоследняя чашечка была разбита пару дней назад. Ее осколки все еще лежали в мусорном ведре. «Ну, какая же ты старуха», – он гладил ее руку и смотрел куда-то вдаль. Но, помолчав и словно спохватившись, посмотрел на нее. «Какая же ты старуха», – повторил он зачем-то. «Ну, заладил», – осадил ее она.

«Нет, – он словно нашел, что сказать, подобрал нужное – Ты всегда была моей женщиной, самой нужной мне женщиной. Когда мы познакомились, ты была молодой-молодой, – он улыбнулся чему-то. – Хотя тебе было под сорок, но я никогда не замечал этого. Я не замечаю и сейчас, – он пожал плечами, – твоего возраста, нет. Да и я иду рядом с тобой, мы всю жизнь действительно вместе. Ну а кто знает? Мы как одно целое, мы же жили с тобой, да? Мы не замечаем возраста друг друга, как не замечаем своего. Жизнь так устроена».

Она почему-то молчала. Тряпка давно лежала на полу, но она не думала об этом: должно быть, забыла, что протирала пол. «Ну а ты что-нибудь поняла из моих слов?» – произнес старик.

«В том то и дело, – с каким-то безумием посмотрела она. – Никакого возраста нет. Я не старела никогда, но раньше я не забывала. Раньше я не падала и не болели так сильно ноги. А у тебя... вот, когда я смотрю, как ты спишь... Ты раньше не спал так. Тебе часто больно. Мы можем упасть на улице. И от этого так хочется плакать. Почему мы должны падать? Мы всю жизнь были сильные, добивались чего-то. Москву помнишь? И вот теперь мы падаем, не можем до магазина дойти. Жизнь несправедлива. Она проучила нас, а за что? Ведь не за что было. Ты знаешь свой возраст? Я – нет. Я не помню, сколько мне, 73, 74, мне не столько. У меня совсем другой возраст».

Старик лукавил. Конечно, он замечал ее возраст – так было не только сейчас, но и прежде. Время шло и ставило свои отпечатки на ее коже,

уголках ее губ, груди, которая становилась все мягче, на руках, которые грубели, – казалось, именно с них начиналось старение, и именно они выдавали ее истинный возраст, когда многим ее сорок с небольшим казались тридцатью. Казалось, время меняло даже вкус поцелуя. Он смотрел с грустью и сожалением, не на нее – любимую не меньше, чем в первые дни их совместной жизни, – но на то, что с ней делало время. Когда она бледная, с кругами под глазами представляла его взору утром, долго и тревожно всматриваясь в зеркало в ванной комнате, он обнимал ее сзади и говорил, как она красива. «Да что ты, – отвечал он на ее сомнения. – Ты у меня самая красивая. Брось, никаких морщин я не вижу. У тебя все замечательно».

Но старость пугала его самого. Еще в начале их совместного пути в минуты, когда ее не было рядом и она не могла увидеть, Семен Иванович и сам подолгу всматривался в зеркало – и там, где не хотел замечать наступающую старость жены, он отчетливо видел свою. На лице появлялись непонятные складки, нос как будто раздался, стал большим и некрасивым, усыпанным черными точками, морщины на лбу становились все более заметными, подбородок принимал форму двойного – казавшегося ему уродливым и ненавидимого им с детства типа подбородков, кожа щек пестрила какими-то мелкими трещинами, и, что особенно расстраивало его, на лице и шее постоянно образовывались новые родинки, а некоторые старые увеличивались и становились висячими. «Омерзительно», – шептал он возле зеркала. В отличие от Нины Валентиновны, он не нуждался в каких-то словах, успокоениях со стороны, для него и так вся правда была очевидна: он бодрился, но ужасно боялся старости. Он видел, что наступит она не скоро, что у него гораздо больше времени, чем у нее – мужская старость наступает намного позже женской – но она неизбежно наступит. А какой она будет, ему отчасти подсказывала жена, чей корабль первым взял курс к берегам старости и уже не мог с него свернуть.

«Бритвы», – говорил он отстраненно – не самому себе под нос, но и не миру, тем более что рядом никого не было – словно признавал что-то неизбежное, что не хотелось принимать, но от чего не было никакой возможности отказаться. Еще в молодости, в студенческие времена, когда он, подобно многим сверстникам, увлекался стихосложением и экспериментировал в прозе (кто знает сейчас, где эти тетрадки?), Семен Иванович обратил внимание на тот, казалось бы, очевидный, но игнорируемый всеми молодыми людьми факт, что люди стареют. Причем стареют они не просто быстро, а ежесекундно: каждый миг своей жизни человек стареет, таков жестокий механизм старости, которая держит в тисках человека всю жизнь, пока не искромсает его. Он даже отчетливо представлял себе сам механизм, его, если можно так выразиться, техническое устройство: как будто на голове каждого человека установлена некая конструкция, представляющая собой множество вращающихся перед лицом человека бритв, непрерывно кромсающих кожу лица. Пока не будет стерто лицо, пока не упадет человек, искромсанный злыми бритвами, не остановятся они, и не снять человеку злоеший аппарат со своего лица, – рассказывал он концепцию в пьяных компаниях. Бритвы искромсают самых красивых, влиятельных, уважаемых, самых естественных и позитивных, самых злых, самых добрых, рожденных больными и полных жизненных сил, бесцельных праздных гуляк и полных задумок гениев. Справедливости ради, тогдашний студент не носился с этой идеей, выдавая ее за оригинальность, он доверял ее не всем, а только избранным, как личную тайну и личную боль. У него была девушка, одна из первых красавиц на потоке, друзья завидовали ему, но такое положение не спасало от тяжелых раздумий: порой он просыпался

в холодном поту в палатке на берегу моря, в загородном коттедже, в студенческом общежитии после веселой попойки, в постели со своей красавицей. Ему снились бритвы. Случалось это и в зрелом возрасте, в вагоне поезда, в гостинице в командировке, утром нового года в объятиях той, что дожила с ним до дней, когда жестоким бритвам осталось совсем немного работы. Он один называл ее по имени, как будто единственный из живых, кто знал его, а значит – хранил. Берег в сердце. Имя – то, что оставалось в ней неизменным и до чего бритвам было никогда не добраться.

Он позвал ее по имени. Было очень больно, из горла пару раз вырывался бессвязный хрип, и только. Лишь после того, как старик немного подождал и отдышался, он смог внятно произнести ее имя. Глаза смотрели на лампу, он приподнял чуть-чуть голову, и увидел: лежит. Дышит ли?

Порой он чувствовал скрежет бритв перед собой. Порой они сверкали между ними во время поцелуя. Порой он говорил своей, тогда еще живой, матери, о том, что навестит ее осенью, а лезвия бритв скрежетали: «Нет, миленький. Ты знаешь все наперед. Зачем обманываешь себя?» Он отвечал односложно, его речь сбивалась, а мать печалилась, считая его неблагоприятным или невнимательным, и выходила курить на красивый балкон с цветами. И никогда не знала, что он плакал, думая о ней. Сложно сказать, жалел ли он только мать или страдал оттого, что никому из его близких никогда не вырваться из времени.

Тогдашний приятель его говорил в ресторане, в центре Москвы: «Твои бритвы – это все ерунда. Если все нормально по жизни, то нет никаких бритв. Женщины стареют, но женщин много. И потому это совсем не трагедия. Пока стареет одна женщина – тысячи созревают. А мужчина стареет тогда, когда захочет. И то если захочет. Сечешь?» Старик перестал покупать журналы, но если б покупал – увидел и его, давнего приятеля из бара, главного редактора одного из журналов для умных и слегка циничных мужчин. Впрочем, главный редактор – это было, скорее, хобби, нежели призвание: приятель был совладелец фирмы, выпускающей этот журнал, а помимо нее – самой крупной сети фитнес-центров и держатель нескольких гостиниц в разных городах страны. В его журналах не было старых женщин, но экономическая целесообразность нашептывала ему избавиться и от них – журналы тоже старели. «Женщина существует как сосуд для наполнения мужских потребностей – от самых простых, вроде секса в туалете, до продиктованных космической сущностью человека: выносить продолжателя рода. Мужчина слишком занят в этом мире, он как руководитель в крупной компании – дает указание, обозначает, что требуется, обрисовывает первый штрих. Дальше ему некогда, его ждут тысячи дел. Так и беременность: по логике человеческого бытия мужчине просто некогда беременеть, вот он и выполняет необходимый минимум, зарождает в женщине эту тяжелую, но столь необходимую работу. А дальше она сама. И когда та рожает – один ли раз, два ли, три – и понимает, что больше рожать не сможет, от нее остается только оболочка. Она как использованный кокон, от которого освобождается маленький человек, и все – до нее больше нет никому дела. Многие женщины знают, как есть на самом деле, и им не нужны никакие слова любви. А если они и слышат таковые, то никогда не разделят всей прелести с говорящим».

Старик иногда вспоминал эти слова – они всплывали в памяти против его воли. В сущности, если у каждого человека наступает в жизни момент истины, как его многие называют, или момент главного выбора, то он случился тогда. Не в ресторане, во время разговора с приятелем, конечно, но в тот самый год, когда он особенно заметил старение жены. Их позднее знакомство не позволило ему узнать, какой она была юной, когда толпы

поклонников ухаживали за ней, а она все ждала своего и отказывала. Он встретил ее, когда она отчаялась найти, почти в последний миг. Он знал, что ее молодость прошла под знаком ожидания, сгорела в этом ожидании – она верила в счастье, верила в чудо, а бритвы работали. Пока она доверялась человеку, проходили годы, но затем, после какой-то глупости, чьего-то неудачного проступка легко теряла доверие, а вместе с ним интерес к человеку. Она не сдавалась, как многие, не соглашалась на тех, кто «почти подходит» или «пусть лучше будет, лишь бы не остаться одной». Она совсем не боялась быть одна, но верила в счастье так, как, казалось ему, невозможно верить. И он, пораженный, захотел дать ей счастье, подарить его. Это могло быть только делом жизни, иного счастья ей было не нужно.

«И вот... Эта верность, о которой много говорят, за которую сейчас медали дают, – объяснял он однажды журналисту Аркадию, засидевшемуся у него на кухне, когда она уже спала, пригубив вина и выпив чаю с медом. – Это не то же, что любовь. Совсем не то же. Любовь никуда не исчезнет. Влюбляются раз и на всю жизнь, на самом деле, многие. Но что такое верность? Разве это то, что кроме своей единственной, ты не замечаешь никого на свете? Что для тебя нет других женщин, кроме нее? Что секс с ней так же хорош, как и пять лет назад, наконец? Это сейчас я о сексе думаю не особо...»

Старик не понимал и сам, зачем рассказывал все это журналисту – человеку, не слишком хорошо ему знакомому даже, порой в разговорах с женой именуемому не иначе как «собутыльник». Но какую-то мысль хотел донести миру, в надежде, что журналист расскажет кому-нибудь еще и эта жизненная тайна, которая вовсе, конечно, не тайна, его маленькое жизненное дело не пропадет, а будет услышано кем-то. Может, он куда-то напишет, черт его знает, он же журналист. Прищуриваясь, старик смотрел на собеседника и морщился, вспоминая пару статей того, которые ему довелось прочесть: «Ну хоть послушает, ладно», – вздыхал он про себя.

«Но когда твоя любимая стареет, а любовь нет, и при этом ты полон сил и тебе постоянно встречаются женщины, ты пересекаешься с ними по работе, они улыбаются тебе в транспорте и в магазине, они пишут тебе, твои бывшие нет-нет да и звонят и предлагают ни к чему не обязывающую встречу в кафе. А бывает, что и молодые подруги жены предлагают себя – без намеков, вот так, в открытую. Помню, к нам в гости пришла одна такая подруга, коллега ее по работе. Она была ох как ничего, – Семен Иванович даже прищурился, вспоминая приятный момент из жизни. – Но я сказал себе стоп. Она прямо в комнате, пока моя на кухне вынимала что-то из печи, сказала, что хочет и желательно прямо сейчас. Да, мы выпили тогда немало, конечно. Она и к себе звала на следующий день, приезжай, говорила, и даже втроем уговаривала: давай, мол, твою уломаем, я, говорит, готова обслужить вас по высшему разряду. Но моя не понимала прелести секса втроем, вот мы никогда и не попробовали... Все свели в шутку, когда за столом все вместе сидели, говорили о каких-то невинных вещах, телевизор включили, какой-то концерт посмотрели. А мы с ней переглядывались иногда, и она на меня смотрела, а в глазах ее такой секс читался, дикий, необузданный. И в моих, наверное, тоже. Правда, одета она была скромно. Тогда еще не было всего этого, ну вот, к примеру, лабутенов этих не было. Так бы, может, и не удержался бы».

В те годы, когда их московскую квартиру навещали такие гости, Семен Иванович часто мучился от мыслей об измене. Он очень скоро понял – причем именно в отношениях с ней, ибо до нее никогда не имел ни на кого из своих женщин серьезных планов, – что любовь и секс живут где-то

рядом, но одно не зависит от другого. Его любовь была величиной постоянной, даже больше – с годами, прожитыми вместе, она крепла, становилась все сильнее, проникала в жизнь его так глубоко – казалось, на клеточном уровне – что начала составлять суть этой жизни, сама стала ею. Гуляния в парке, походы в кино и по магазинам, вечерний просмотр телевизора и чтение вслух газет, предвкушение путевки в санаторий и пролистывание альбома с фотографиями холодной зимой – все эти простые вещи, как он их называл, человеческие радости, лишь больше укрепляли его в том, что он не ошибся однажды с выбором, что ему хорошо и комфортно с ней рядом, а главное – ее счастливые глаза наполняли его сердце трепетом, а жизнь – смыслом и важностью. С сексом же было иначе. Не искушенная в нем и не проявлявшая активности, Нина любила секс, но не умела заниматься им. Она получала наслаждение в простых позах и была на седьмом небе от счастья: ей было этого достаточно. Она и не подзревала даже, как скоро ее спутнику жизни надоел этот рутинный секс. Ему, которого женщины сами просили провести с ними ночь, не просто было легко изменить ей – ему этого очень хотелось. С некоторых пор совместной жизни измена стала идеей фикс для него, молоденькие девушки манили его своим возрастом, кто неопытностью, кто, напротив, столь рано проснувшейся похотью, женщины старше – разнообразием.

Проходя по улице, даже обнявшись с ней, он чувствовал головокружение от того, сколько вокруг женщин, и хотел буквально каждую, в его голове рождалось безумие, когда он представлял, что творил бы в постели с ними, какой бы это был неписанный разврат. Едва успокоив свои грязные, но столь будоражащие воображение мысли, он отчетливо понимал, что в них общего, во всех этих встречных, случайных женщинах, к которым его так тянет: в каждой из них было главное, что возбуждало его сильнее всех фантазий, уже само по себе – это была не она. Не его возлюбленная.

Занимаясь с ней сексом, он представлял себе их – запомнившиеся лица и фигуры из трамваев, с пляжа, из магазина, подсмотренные в кино. Особенно любил ее подруг, приходивших к ним в дом или приглашавших в гости. Вспоминал кого-то из своих бывших, представлял проституток, фантазировал на тему лесбийского секса и доминирования женщин друг над дружкой – в его голове находилось место любым картинам, кроме единственной – реальности, в которой он здесь и сейчас, был с ней. Он перестал смотреть на нее, закрывал глаза, его движения становились порывистыми, резкими и однообразными, но она все равно ничего не понимала и, когда он, измощенный, падал на нее или рядом с нею, она целовала его и благодарила.

Удивительно красивая от природы, Нина становилась еще прекраснее, приобретала будто бы волшебный, ангельский вид – только раскрасневшегося, с растрепанными волосами ангела. Ей было хорошо, она была восхищена совершенно искренне – он дарил ей настроение, дарил жизненную радость, удовольствие чувствовать себя желанной. «Как секс преображает женщин», – не уставал изумляться Семен Иванович на протяжении всей своей жизни.

«Конечно, она не знала. Ну как я мог рассказывать об этом, как бы прозвучало: ты знаешь, моя радость, я в постели представляю не тебя, а Лену, например? Ей было бы больно, она никогда не сомневалась во мне, в моих чувствах, а радость секса для нее была радостью чувств. К тому же она бы поняла это неправильно – как мою измену. А это не была моя измена. Я никогда не хотел, чтобы так было. Я представлял, что мы будем вечно, с первого дня знакомства. Но вмешалась тупая физика. А как это еще назвать? Не я хотел ей изменять, не мои чувства, не мой мозг – сама природа.

Она бы перестала доверять мне, это раз, и перестала бы сама получать наслаждение – два. Этого было достаточно, чтобы скрывать от нее истину. Но то, что она получала взамен как компенсацию за незнание этого обмана, было в несколько раз лучше. Мои фантазии распалляли меня, и да, я был не с ней, но все равно был с ней – такой вот парадокс. И она была счастлива, говорила, что у нас идеальный секс, что у нее ни с кем не было так, как со мной. И знаешь, что? Я действительно был хорош! Я делал это ради нее и в конечном счете оказался прав. А если бы я открыл ей глаза? Кому было бы лучше?»

«Ты так и не изменил ей?» – ухмылялся захмелевший журналист.

«Я понял одно: от верности кайфа больше. Верность – это тяжелый, чуть ли не физический труд. Это не розовая идиллия и не вынужденная необходимость. Это работа над собой здорового взрослого человека в мире возможностей и соблазнов, чуть ли не ежедневное самоотречение. Ты добровольно отказываешь себе в том, чего у тебя никогда, ни в какой жизни больше не будет, а ты можешь это взять здесь и сейчас. На такое надо решиться, – старик любил эту мысль и здесь делал продолжительную паузу, во время которой журналист Аркадий мог, например, посетить туалет. – Конечно, важно то, чтобы той, кому ты верен, это было нужно. Иначе просто нет смысла. Но верность – это чувство высшего порядка, если бы я изменил ей хоть раз, я променял бы высший смысл на радость нескольких часов, а вся последующая жизнь была бы омрачена этими часами. Для нее в моей верности было счастье, ощущение того, что жизнь именно такая, какой она ее хотела, о какой мечтала, конечно, что все было не зря. Подарить другому человеку эту жизнь или просто трахнуть какую-нибудь изголодавшуюся по сексу шлюху? Нет, это навсегда наложит отпечаток на семью, на отношения. Сейчас я вижу: жена прожила свою жизнь счастливо, и она сейчас счастлива. В том числе и потому, что я когда-то решил быть верным, в то время как меньше всего этого хотелось».

Семен Иванович и сам не заметил, как начал называть ее женой. Хотя они так и не женились, и прожили все свои годы в так называемом гражданском браке. Оглядываясь назад, они не понимали и сами, почему так получилось: вроде их любовь должна была стать браком – единственным и на всю жизнь, а не стала: с другой стороны, если есть любовь, зачем ей какой-то брак? Они не планировали свадьбу, не мечтали о ней, не копили и не думали, кого пригласить, – все проще: они, видимо, забыли о ней. Им было все и так понятно: будут вместе, что бы ни случилось. Однажды они сказали друг другу: «У нас всегда все будет хорошо», – и этот день можно было бы считать днем свадьбы, когда бы их обоих на закате лет не подводила память.

Сделав свой выбор однажды – быть верным, – старик гордился им всю жизнь. Гордился и сейчас, даже если на улице встречал совсем молодых красоток в коротких юбочках и черных чулках, и в нем – нет, не просыпались, но ворочались во сне – отголоски тех давних лет, когда он делал выбор между женой и такими же, как они. Уходящая жизнь казалась ему цельной, все задачи были поставлены, и все задачи были выполнены. «Должно быть, стоило поставить себе еще несколько задач?» – думал он иногда. Но быстро охладевал к этой мысли.

Удивительно, что когда старость наступила, Семен Иванович перестал ее бояться. Все стало очевидно, просто, вся жизнь, в которой он бешено искал смысл в юности, подкапывался в зрелом возрасте и надеялся найти в 50, стала ясной и простой. Полная целей, маленьких и больших, переживаний, серьезных и несерьезных, очарований и разочарований, она стала единой, безэмоциональной – стала тем, чем никогда не была и чем он

очень хотел ее чувствовать – просто жизнью. И кроме этого «просто», у нее не было иных характеристик.

Картина солнечного дня, который отчего-то упорно всплывал в памяти, постепенно восстанавливалась и заполняла собой все сознание – даже ту его часть, что отвечала за связь с реальностью в данный момент – на холодном полу под лампой. Сюжеты из давнего прошлого приходят в старости хаотично и избирательно – и как убедился старик за последние несколько лет жизни – против воли. Силясь вспомнить какую-нибудь дату, прекрасный момент их совместной жизни, теплую встречу с последними из друзей – тех, что остались там, в столице, он не мог этого сделать: картина событий рушилась, так и не успев построиться, а тут – пожалуйста! – некоторые воспоминания не просто приходили – врывались в голову, терзали его привычные дни, не давая помыслить ни о чем, кроме себя. Их нельзя было выбрать, пролистать, как фотоальбом, и остановить взгляд на самой красочной карточке, они сами выбирали – и себя, и время своего появления, а порой приходили и к ней, и к нему одновременно. «Мы же одно», – говорила она, и старик кивал головой.

Но что пришло к ней сейчас, он не мог знать. Сам же он видел наконец всю улицу – одна из маленьких столичных улочек, какие сохранились еще, но в которые незнающему человеку можно забрести лишь случайно. Им повезло – они жили неподалеку, в старом, но аккуратном двухэтажном доме, окруженном зеленью – яблочными, ореховыми деревьями, разнообразными кустами, названий которых он никогда не знал, но на которых иногда появлялись ягоды. Единственным зданием выше их дома во всех видимых окрестностях была городская больница – впрочем, и ее громадиной не назовешь: современное, но со вкусом построенное здание в пять этажей, возле которого был разбит аккуратный сад с аллеями, скамеечками, вечерними фонарями и даже небольшим фонтаном. Территория больницы была окружена забором, который граничил с их маленьким двором. Выходя из подъезда или просто выглянув в окно, они всегда могли увидеть нервно курящих и вздыхающих посетителей, терзаемых вопросом «ну как» и мысленной надеждой «лишь бы все было в порядке», мам с маленькими детьми или серьезных статных мужчин, обнимающих за плечи седовласых женщин, встречались там и врачи в своих белых халатах, терпеливо объяснявшие что-то нетерпеливым родственникам. Вот и сейчас он их отчетливо увидел, в своих воспоминаниях прикрыв калитку и выйдя на прогулку по их «двухэтажной» улице. Они спешили в ресторан, отметить очередную годовщину совместной жизни – того дня, когда они сказали друг другу главные слова, решив быть вместе. Даже сейчас старик пытался вспомнить, что это за дата, и не мог. Но было солнечно и жарко, значит лето: а ведь именно летом происходит все самое лучшее. Они спешили к маленькому мосту, которым заканчивался их короткая и уютная улочка – впереди он видел детей, перебегающих через дорогу, выгуливающую бульдога женщину в безразмерных солнцезащитных очках; вот слева от них стоял потрепанный временем ржавый ларек, где они, страдая от недостатка времени, чтобы дойти до магазина, покупали хлеб, колбасу и сладкое печенье. А справа, где заканчивался больничный забор, стоял совсем уж ветхий дом на три квартиры. В одной из них жил дед, – тогда им казалось, совсем древний, выдавший такие времена, которых и не существовало вовсе. Он отчетливо увидел этого старика, всплывшего в памяти спустя столько лет, мог разглядеть, во что тот был одет – казалось, это какие-то несуразные мешки, но, конечно же, то были просто старые рубашки и потертые джинсы; старик сидел на огромном гнилом пне возле дома и пристально смотрел на них. Ей было всегда не по себе,

когда они встречали сидящего старика, она прижималась к нему и шептала: «Почему он на нас так смотрит?» Семену же был любопытен старик, он не считал, что во взгляде того есть угроза, осуждение или хотя бы неприязнь. Наблюдая за ним и его пристальным взглядом, он делал вывод, что старик провожает жизнь, – его изумил этот взгляд лишь впервые, и он быстро привык к нему. «Старик провожает жизнь, и он жадно впивается взглядом во все, что видит вокруг, – объяснял он ей. – А видит он очень мало – только тех, кто проходит по этой улице, вот и вся его жизнь. Дед понимает, что ему недолго осталось наблюдать эту жизнь, и поэтому он так жаден». – «Сам ты жаден», – пожимала плечами она и забывала о том старике и его взгляде.

Но в тот день от их молчаливого и соблюдающего дистанцию контакта со стариком оторвали кошки. Это были самые обычные кошки, которые в огромном, каком-то даже неприличном для территории медицинского учреждения количестве плодились возле больницы. Они были настолько обычны, что даже влюбленная пара, равнодушная к кошкам и державшая дома одну, проходила мимо, не останавливаясь поглядеть, как те играют. Семен смотрел на маленькую улочку, любясь ее перспективой, и наслаждался жизнью, а вернее – простой и приятной формой, которую та приняла с тех пор, как они стали жить вместе. За тем мостом, которым кончалась улица, открывалась настоящая Москва – большая и шумная, с ветром, скоростью, людскими потоками, силой трения между людьми в магазинах, очередях, учреждениях, с домами, рвавшимися ввысь, с рекламными баннерами, нависающими над людьми и вселяющими страх своим размером и непрочностью конструкции вместо желания купить или куда-то поехать. Или о чем они там были еще, бог их знает. И сейчас они шли в тот мир с радостью, что нечасто бывало: они шли в большой мир отмечать свое маленькое счастье.

Нина резко схватила его за плечо, и он не успел еще вырваться из своих мыслей, начать привычный в таких случаях вопрос – что-то случилось, любимая? – как увидел омерзительного вида человека, стоявшего в двух метрах от них. «Что?» – только и выговорил он. Омерзительный человек тыкал каким-то толстым металлическим прутом в нос кошке, оцетинившейся и тихо, почти неслышно шипевшей. Человеку было навскидку лет двадцать, и все в его виде говорило, что он дебил – не в том развлекательном смысле, который используют в дружеских разговорах, а в самом натуральном, прямом. Рот человека был открыт, выставив напоказ гниющие зубы, с губ стекала слюна – по подбородку и дальше, на оголенную грудь (цвета помоев майка на человеке была порвана в нескольких местах) или на землю, глаза впились в кошку, не замечая ничего вокруг, а рука бешено двигалась взад-вперед, а затем застывала – человек выжидающе смотрел на кошку – и вновь резко двигалась вперед, в то время как рот издавал дикий протяжный звук. Дополняли образ брюки, обрезанные до колена, и резиновые сапоги. Прут в руках человека внушал опасения: сам придурок был очевидным слабаком, завалил бы его на землю и тот, кто о драках лишь читал или смотрел фильмы, но вот опасное железо могло проломить голову не только кошке, но и человеку. К тому же, толстый прут был заострен, и странный человек норовил проткнуть глаз кошке или попасть ей острым концом прямо в шипящий рот.

Человек настолько поразил Семена, что он и не смотрел на кошку. «Котятя», – шепнула Нина, наверное, единственное, что в тот момент успела выговорить; он резко перевел взгляд вниз, к забору, и увидел – действительно, несколько маленьких котят испуганно жались к кошке. «Все понимают», – только и успел подумать он, как человек резко ударил кошку сбоку по голове и прикрикнул что-то невразумительное, вроде победного клича

дебила. Животное отскочило, ошарашенное болью, но тут же подбежало назад, к котяткам. Человек залился диким смехом и вновь принялся вертеть прут в руках. Котятка его явно не интересовали, но было видно, как страшно кошке, у которой даже отнялся дар ее кошачьей речи, и она давно убежала бы – нелепый человек с железной палкой никогда не догонит юркую кошку: нырнула в подвал, и ее как не бывало, – не будь рядом этих маленьких существ. «Они ведь тоже боятся за кошку, – подумал Семен. – И жмутся к ней не от страха за себя, а именно от страха за нее». «Эй!» – наконец выкрикнул он. Неприятный человек обернулся к нему и убрал прут из-под носа кошки. Нахлынувшее омерзение не оставило в нем места страху, и он медленно, как-то устало произнес идиоту: «А ну иди отсюда». Человек развернулся покорно и, даже не глядя на кошку, отправился прочь – в сторону дома, где жил старик с пронзительным взглядом. «Прут выкинь», – добавил Семен вслед. Орудие жестокой игры упало на асфальт и громко брякнуло. Звук напугал кошку не меньше, чем страшный человек, и она в окружении котят засемила вдоль забора, в сторону ворот на территорию больницы. «Ну, пойдём», – сказал он Нине, и они молча пошли в сторону моста.

Старик угрюмо смотрел в угол, вспоминая картину и уже не пытаясь встать, воспоминания пригвоздили его, он даже не шевелил рукой, замерев на полу: казалось, там, за мостом, небо заволокло тучами, и готов был вот-вот разразиться дождь. Дед, сидевший на пне, не отрывал от них взгляда, он смотрел на них, когда они приближались, – и каждому казалось, что именно на него, – следил, как они проходят мимо, и провожал их, когда они начали отдаляться. «Ну что вам надо?» – не выдержала Нина и вернулась назад, вплотную приблизилась к деду, но у того даже не шелохнулась бровь. Ему не было интересно вступать в разговоры. «Вы что, это все видели?» – она почти кричала. «Дед все видит», – мрачно сказал Семен, взял ее за руку и быстро повел за собой.

В ресторане было не уйти от разговора об увиденном. Он хотел, чтобы все обрзумилось, чтобы не омрачали праздник ненужные мысли, но ему и самому было не по себе, хотя он успокаивал, как мог, свою возлюбленную. Выпив пару бокалов, она вернулась к прожитому событию и, как он ни отговаривал, разнервничалась и совсем не желала слышать о праздничном настроении, о том, почему они собственно сюда пришли.

– Нет, дай мне сказать. Ты видел саму кошку? Видел, какая она маленькая и беззащитная?

– Прошу тебя, не начинай, – Семен взял ее за руку и осмотрелся по сторонам. «Зачем? – вдруг подумал сам – Какая мне разница, кто что увидит или подумает? Ну, разнервничалась женщина».

– Да нет, я не о том, что кошка и мне ее жалко. Хотя это, конечно, тоже, и это в первую очередь. Но ты видел, как она защищала котят? Ей было страшно, но она готова была умереть, погибнуть. Ведь она же понимала, что у нее против этой палки и этого... зверя, против него, да, никаких шансов. Понимаешь, никаких? Она просто выгуливала своих котят в летний день, и ситуация обернулось таким вот образом. Хотя ничто не предвещало. И ты думаешь, что? Она надеялась, что своим телом она защитит их, своей жертвой, своим вот этим шипением? Нет, это же совершенно невозможно, – она размахивала руками, не зная, куда их деть. – Она умерла бы, забитая железной палкой, ну или раненая лежала бы возле забора, а он бы расправился и с котятками, если б захотел. А он захотел бы. Мог бы убить их, мог бы утащить, мог бы прогнать.

– В мире много зла, – Семен попытался отделаться дежурной фразой. – Что он еще мог бы? Зачем нам с тобой сейчас об этом думать? Мы ото-

гнали его, значит, сделали маленькое доброе дело, – теперь попробовал шутку. – Мы молодцы, – он развел руками и откинулся в кресле.

– Да, но это зло совершенно бессмысленное, оно не оправдано ничем не только нравственно, но и практически, логически, не знаю, как еще. Этот человек, эта мразь... Он даже вряд ли получал от этого удовольствие. Так, чтобы было чем занять время.

– Он даже вряд ли понимал, что делает. Он же идиот.

– Вот. Понимаешь, в каком виде приходит зло. Есть вот эта кошка, мать, она живет и каждый день делает что-то, бегает там, кормит их, отдыхает на солнце. Это маленькая жизнь в большом мире. Но ее так легко растоптать, разрушить, просто по чьей-нибудь прихоти, и от нее ничего не останется. И следа.

– Ладно, – он поднял бокал – Давай выпьем за то, чтобы с нашей жизнью так не случилось.

– Мы, люди, так же уязвимы. Все в мире уязвимо против абсолютного зла. Вот так живешь, строишь планы, любишь, копишь деньги на квартиру, лечишься у доктора в доме напротив, ужинаешь, уставший, стелешь постель. А в какой-то момент в тебя тыкают палкой, просто ради того, чтобы провести время. У тебя могут отнять любимого, ребенка.

– Да откуда у тебя такие мысли? – он начинал заводиться.

– Это очевидно. Почти что все в мире живет до тех пор, пока не попадает в поле зрения абсолютного зла. Кроме тех, кто и есть это зло. Мы же абсолютно беззащитны – со всеми деньгами, законами, системами безопасности. Кто захочет – разрушит нашу жизнь в секунду. Главное – не попасться ему на глаза.

– Так, стоп. По-моему, я знаю одного такого, от чьего взгляда мы точно не отвертимся. И в чьем поле зрения мы постоянно.

– Тот дед?

– Нет, что ты... Хотя какая-то правда в твоих словах есть, – он взял паузу. – Это время. Вот перед кем мы абсолютно беззащитны и кто уж точно не оставит от нас и следа. А мы его сейчас теряем. Отводим на разговоры о том, что нас совсем не касается, сидим как два идиота и делаем вид, что постигли суть мироздания. Уныние, между прочим, смертный грех. В то время как сегодня наш праздник, и лично меня не волнует ничего больше, – убедившись в том, что возлюбленная замолчала, он начал заготовленный заранее тост. Не то чтобы он не ценил спонтанное выражение чувств, но красоту слова все-таки предпочитал экспромту, который всегда выходил неказистым.

Она смотрела на него пристально, как будто что-то хотела сказать, но вдруг поняла: не надо. Слушала ли она его? Он улыбался, смотрел в ее глаза, но они были так же неподвижны, как будто видели в этот момент что-то другое, да и сама она пребывала не здесь. «Вставай!» – громко и отчетливо произнес он, сам не поняв кому – то ли ей, лежащей без движения, то ли своему слабому и немощному телу, с которым было сложно смириться сильному мужчине, каким он всегда себя считал. Что-то проснулось в нем, какая-то неведомая для его лет, давно забытая мощь, и он не встал даже – резко вскочил с пола и сразу же прислонился к стене, чтобы не упасть. В голове что-то стрельнуло, потом снова, но слабее. Он увидел ее, лежащую на полу; зрение вернулось, старик вновь чувствовал себя живым, чувствовал силы стоять и двигаться, он пошевелил рукой, затем сделал шаг, еще один и еще – и вот он стоял, ни на что не опираясь. Он резко засмеялся, залившимся, громким смехом, на мгновение он забыл и о ней, и о пришедшем только что внезапном воспоминании, он смеялся

от легкости, от того, что все не закончилось, оттого, что он не умер на полу, и только в этот миг осознал, что в коридоре стало темно. Дневного света, проникавшего из кухни и незакрытой спальни, было достаточно, чтобы ориентироваться в пространстве – видеть предметы мебели и лежащего на полу человека, – но лампа, которую они не меняли, наверное, с самого въезда в эту квартиру, погасла. Теперь черный провод, свисавший с потолка, казался безжизненным и бесполезным. Старик нагнулся, посмотрел на нее пристально, затем присел на корточки возле нее – он уже не опасался, что не сможет встать, и взял ее за руку и принялся прощупывать пульс.

– Ты заменишь лампу? – спросил его слабый голос.

– Да заменю, конечно, – устало ответил он, – Купим вон... в магазине, – и только сейчас до него начало доходить, что она очнулась, что ему не мерещится, что это действительно с ним говорит она. Он бросился с поцелуями к ее дряблой щеке, она повернулась и ответила ему тем же.

– Со мной все хорошо. Просто я старая, – серьезно сказала она. – Помоги мне встать.

Она, похоже, не знала или забыла, пролежав некоторое время без сознания, что он тоже падал, потому и не спрашивала его ни о чем. Старик проводил ее в ванную комнату, помог умыться, сходил к холодильнику, достал лед и приложил к виску. Так и сидел некоторое время.

– Спасибо, – говорила она. – Сейчас пойдем. Надо лампочку заменить.

– Да помню я, помню.

– А что еще? Посмотри, у нас хлеб есть, на кухне?

– Есть, был там.

– Вот славно. Погода как?

– Какая может быть погода? Никакой погоды. Ты что, не знаешь этот город? Пыль и дерьмо – вот тебе вся погода.

– Ну холодно там или нет? Дождь, может, собирается?

– Да ничего там не собирается, – ворчал он. – Давай вот, ты собирайся лучше.

– Деньги-то взял? – Нина Валентиновна посмотрела на него строго и пристально. – Карту магазина не забудь. Сумку нашу.

– Ладно, ладно, – он вышел из ванной.

– Ужас, – причитала она, глядя в зеркало, открывала какие-то баночки, набирала немного крема и мазала им лицо.

– Ужас, – шептал старик, глядя в окно. На часах была половина четвертого, он помнил, что сегодня должен был прийти журналист, но встречаться с ним почему-то не хотелось. С утра не покидало странное ощущение: очень хотелось побыть вдвоем, закутаться с женой в одеяло или пить чай и смотреть в окно, закрыться от всех и всего, смотреть друг на друга и, может быть, вспоминать что-то. Не то, что приходит против воли, а то, что так сладко вспомнить двоим – из тех давних дней, когда жизнь казалась чудесной. Но договор, как помнил старик из детства, дороже денег. Как отменить его? Сказать, что у них дела? Но какие дела могут быть у престарелой пары, кроме как сидеть дома и смотреть в окно? Не поверит. Пусть уж приходит. «Ужас», – повторил старик.

За окном столбом поднималась пыль, ветер трепал деревья, случайные люди старались закрыть лицо, отворачивались, ускоряли шаг, чтобы скорее попасть домой. Только трое мальчишек, на вид младших школьников, бегали по двору туда-сюда, словно и не было ветра. Они смеялись и кидались друг в друга листьями, останавливались, договаривались о чем-то, отчаянно жестикулируя, менялись ролями, и вот тот, кого преследовали

только что, уже догонял бывшего преследователя и что-то кричал тому вдогонку. Игра приносила детям такую радость, чтобы если бы хлынул дождь, грянул гром и засверкали молнии, это не оторвало бы их от веселой беготни. Старик совсем не заметил, что Нина Валентиновна стоит рядом и тоже смотрит во двор.

– Пришла вот твоя... – не стала договаривать она, но, кажется, была довольна. «Ничего не болит, слава богу», – подумал про себя Семен Иванович.

– Человек приходит в этот мир с одним вопросом, – начал он. – Точнее, даже с двумя: где что есть и что здесь делать? Он занимает свое время, бесконечно ищет способы, как его провести. И уходит, так и не отыскав этих ответов. Делал что-то, возился, да и все. Не заметил, как время прошло. Главное – чем-то занять себя. А понять, как это все, почему здесь...

– Ну вот ты опять начинаешь.

– Чего начинаешь? – он повернулся к ней в недоумении.

– Заунывные речи свои.

– А чего ж они заунывные? Посмотри на детей: они рады. Они нашли себе не худшее занятие.

– Ну а ты как провел время? Ты рад?

– Я свое время занял тобой. Пусть и не всю жизнь, и до нее что-то было, но мне сейчас, кажется, что всю. Я никогда не сожалел, что так сложилось. Да и не сложилось: мы сами сложили.

– Скоро твой подойдет? – она прислонилась к плечу старика и заглянула в его глаза. – А еще хотел встретить. Может, не придет? Ветром его сдует, а? – и она улыбнулась игриво, как в незапамятные годы, когда, пользуясь любой свободной минуткой, они сразу бежали в постель.

Поход в магазин уже несколько лет был для них целым предприятием. Нуждались они в малом и потому ходили туда редко. Все необходимое умещалось в большой сумке, купленной в незапамятные времена. Ходили они медленно, но все же любая прогулка доставляла им несказанное удовольствие – как выход в большой мир, который, правда, заканчивался теперь автобусной остановкой. Ехать куда-то они не решались, да и не было никакого практического смысла, а ведь именно практический смысл стал в их возрасте определяющим в принятии каких-то решений. В подьезде она трогательно поправила ему потрепанный берет на голове, как в те годы, когда они выходили в свет: счастливая красавица беспокоилась о том, чтобы ее мужчина выглядел лучшим. «Ничего не изменилось, только наши тела постарели», – звенел в голове старика ее голос, и он грустно улыбался. «Чего?» – тревожно всматривалась она в улыбку. – «Да ничего, ничего, пойдем».

Он взял ее за локоть, и они пошли. Привычка держать ее за локоть появилась в старости, но они никогда не придавали этому значения: влюбленные шли обнявшись, равные в новой семье – держась за руки, старики – поддерживая друг друга. Наверное, так и должно быть, иначе почему они не замечали? На нем были джинсовая аккуратно выглаженная рубашка и темно-зеленые брюки, а также в крупную сеточку летние туфли какого-то непонятного цвета. Она шла в легком плаще цвета охры и шляпке с нелепым искусственным цветком. Их стиль мог назвать аккуратной бедностью встречный прохожий, решивший бросить на пару свой взгляд, но ощущали ли они сами, что бедны? Должно быть, да, и в разговорах это признавали, но если задумывались, то не находили ответа: на что бы им потребовались деньги? Вот так, чтоб вдруг и много?

Бросали на них взгляд многие: необычное в них действительно было – но не в одежде, не в поведении, да и не в них самих, наверное, а, видимо, в том спокойствии, которое выражала пара, в той стойкости, с которой встретила их любовь старость, молчаливом достоинстве и отрешенности от всего окружающего. В мире не было ничего, кроме них двоих – это знали и она, и он, хоть и не произносили вслух, как часто делали тогда, в начале совместной жизни. Бросали взгляд романтически настроенные парочки, школьницы, одинокие пенсионеры и мужики «под пятьдесят», женщины, еще не нашедшие спутника жизни, молодые семьи с детьми. Они часто встречали на лицах прохожих улыбки, и Нина Валентиновна – иногда – улыбалась в ответ тем, кто ей тоже нравился.

Но случалось, что на них бросали и недобрые взгляды: сидевшие на лавках и металлических оградках детской площадки наркоманы или просто люди неопределенного возраста с тусклыми лицами, воняющие, как она говорила, «всеми вонями» мира. Другие, напротив, ничем не воняли, одеты были скромно, но взгляды их были тяжелы, порой они корчили рожи или демонстроровали одиноким прохожим агрессивные жесты. Иногда они набивались в подъезды, и старику, придерживая любимую, приходилось просить их расступиться, чтобы пройти, что они исполняли весьма неохотно, и подолгу мрачно смотрели вслед. Однажды он пытался разнять драку, но чуть не оказался избитым сам, и, сказав «бог с вами, ненормальные», отправился домой. Их район, хоть и не стоял на отшибе города, все же не считался благополучным. Дело в том, что не считался благополучным и весь город Тольятти. Но все же они жили здесь.

Возле магазина Нине Валентиновне вдруг стало плохо. «Не могу идти», – она остановилась отдышаться и прислонилась к стене возле входа в магазин. Голова ее как-то неестественно тряслась, глаза долго смотрели вниз, а затем она закрыла их и продолжала так стоять, не говоря ничего. Прохожие подходили ближе, но видя, что старик рядом, не бросит ее, шли по своим делам. «Да что ж ты стоишь, дурень? Делай же что-нибудь», – пристала к Семену Ивановичу какая-то женщина. «Сейчас пройдет», – мягко ответил он. «Да что пройдет? Вызывай скорую!» – не могла уговориться та. Нина Валентиновна с трудом подняла голову и открыла глаза, полные слез: «Пройдет, – спокойно сказала она – Идите, женщина». – «Ну, как знают. Умные все такие».

– Не могу туда идти, – проговорила она – Мне все чаще почему-то плохо... Не знаю, голова кружится и тошнит, почему так?

– Все уже прошло, – отвечал старик – Давай просто зайдем туда. Купим, что надо, быстро.

– Нет, нет, – она замахала руками – Иди один. А я вот тут посижу.

– С тобой ничего не случится?

Они села на лавочку неподалеку от входа в магазин, сняла свою шляпку и начала обдывать себя ею, как веером.

– Все хорошо, – успокоила она – Здесь так пахнет цветами. Что это за цветы?

Старик плохо разбирался в цветах. «Мой самый красивый цветок – ты», – говорил он ей. Они оба любили сирень и дарили друг другу веточки, но сейчас был не сезон. Старик ходил между рядами и думал вовсе не о запахе цветов. Он злился: «За что ей так? Она же такая сердечная, такая добрая, а какая была красивая». Набирая в тележку хлеб, помидоры и всякие крупы, он производил впечатление благостного пенсионера, у которого все хорошо. Но это было не так. «А если я умру первым? – думал пенсионер. – Что же она делать будет? Кто будет успокаивать и говорить, что все в порядке?»

И делать вид, что так и есть, что это правда? Что я смогу сделать для нее еще? Только уйти после нее, это единственное, что осталось сделать». – «Что?» – переспросила молоденькая девушка-кассир. «А, – встрепенулся старик. – Ничего. Какую вы сумму назвали?»

Выйдя на улицу, Семен Иванович обнаружил самое страшное, что только мог предположить, пока отсутствовал: ее не было на скамейке.

– Ты помнишь это? – спросил он.

– Как потерялась-то? Да. Я пошла за цветами. Они очень вкусно пахли. Запах цветов уведет на край света.

– Мы и так на краю света. Сколько я передумал тогда, – проворчал старик, отходя от окна. Он взял со стола металлический чайник, подошел к раковине и открыл кран. Шумно полилась вода. Она присела на табурет и смотрела то на него, то в окно.

– Цветы особенно пахнут сейчас, в старости. И особенно ярки цвета. Помнишь, мы думали, что все будет черно-белым.

– Это, знаешь ли, у кого как. Есть люди, – проговорил он, ставя чайник на огонь.

– Я говорю про нас с тобой. Какие еще люди?

– Я, конечно, надеюсь, что ты больше никогда не потеряешься, – сказал он со всей серьезностью, подсев к ней рядом. – Мы обещали друг другу никогда не теряться, ты должна помнить.

– Да как тут запомнишь. Тут скоро как меня зовут, и то не вспомню.

– Это точно. Ты тогда и не вспомнила.

– Расскажи, как ты меня нашел.

– Я спросил у прохожих, у одного, второго – молодые стояли там, куда пошла женщина. Какая, говорят, женщина. Красивая, говорю. Самая. Жена, говорю, моя. Они говорят: ах, да, ну разве ж мы смотрим? А один такой: старик, какая тебе жена, чего ты? Да, люди, конечно, – он помолчал. – Я обошел дворы, до остановки дошел, вот он, наш край света. Думаю, нет там тебя, значит нужно дома искать. А потом думаю: дома? А почему ты пошла домой? Как? Зачем? Телефоны же зря не берем с собой, сколько тебе говорил. А ты все: мы вместе все время? Вместе, да вот не вместе.

– Так ты ворчать будешь или рассказывать?

– А что там рассказывать? Просто ходил по дворам, думаю: не могла ж ты исчезнуть. Значит, заблудилась.

– А может, украли меня?

– Украли... Я тебя давным-давно украл. За кошкой какой пошла, может быть, ну или за цветами...

– За цветами пошла. Мне сказала одна женщина, там, на скамейке, что чудесные цветы растут в соседнем дворе. Она даже сказала, как они называются. Дай-ка вспомню. Ну они правда же красивые? Красные такие, огромные, а пахнут как!

– Красивые. Только когда я нашел тебя, ты плакала. Я подошел, а ты сидела на какой-то перевернутой выброшенной тумбе. В этих цветах, да. И плакала.

– Я заблудилась.

– Ты не сразу узнала меня даже. Так смотрела долго-долго, я уже думаю: что такое? Потом обняла. Ты говорила: я заблудилась, прости меня, мне очень страшно.

– Я посмотрела на цветы и пошла обратно. Думаю, как же так – ты ждешь, не опоздать бы. И пошла непонятно куда. Там был двор, еще один, потом еще один двор, и нигде не было того, с магазином. У меня голова

кружится, как я вспоминаю эти дворы, и все – одинаковые. Ужас. Я не знаю, как бы я выбралась. В каком-то дворе я увидела снова цветы и вот... разрыдалась.

– А почему ты меня не узнала?

– В какой-то момент я вообще забыла про магазин и про то, что искала тебя, это было странное чувство: я вообще не понимала, где я и что происходит. Станный мир, в котором есть только то, что здесь и сейчас, вокруг меня. Я и вокруг. Я не помнила себя вообще, ни прошлого, ни будущего. Такое детское, знаешь? Помнишь, нам говорили, что старики как дети?

Он налил чай и снова подошел к окну, держа в руках кружку, от которой шел теплый пар.

– В этом странном мире может и потемнеть. Да и обязательно потемнеет. И ты останешься там одна, в цветах. И куда ты пойдешь?

– Это проходит. Потом все возвращается. Мне так страшно было, я не знала, что делать.

– Больше не отходи от меня. Будем теперь только вместе. Иначе зачем я тебе? Буду рассказывать, кто ты и где живешь.

– Хорошо, – улыbnулась она. – Ты мне чаю налил?

– Налью сейчас, – смутился старик. – Забыл.

Она рассмеялась:

– Ну ладно тебе, я сама налью. Чайник под рукой, не беспокойся.

– Шея болит, – пожаловался он. – Чего-то, вошло уже в норму. Каждый день – одно и то же, просыпаешься,ходишь чуть-чуть – разболится, и так до самого вечера, пока не уснешь.

– Ну, ты гимнастику делаешь-то?

– Так, иногда. Да что мне эта гимнастика? Толку...

– Ну что за дела, – строго сказала она – Так, быстро присядь.

– Ну чего ты? Чай вот допью.

– Допьешь, допьешь. Давай вот, усаживайся.

Она встала и приобняла его, настойчиво глядя в глаза:

– Вот, тебе место освободила.

Старик присел, поставил чашку на стол и отчего-то даже улыbnулся.

– Готов, – сказал он.

Она взяла его за шею сзади, упираясь руками в подбородок:

– Сделай глубокий вдох. Так, – старик вдохнул. – А теперь выдох.

На выдохе она начала тянуть голову старика на себя, прижимая к своей груди. Ему было не очень приятно, но он терпел.

– Вдох, – говорила она. – Теперь выдох.

– Вдох – и еще. Теперь выдох...

Постепенно боль если не прошла, то успокоилась. Семен Иванович прижал ее руку к своим губам и несколько раз поцеловал. Потом потянулся к чашке.

– А теперь сам, – сказала она. – Да не остынет твой чай, не беспокойся.

– Уже остыл.

– Делай что говорю. Вытягивай шею.

Старик потянул голову вверх, не касаясь ее руками, напряжение в шейных позвонках возросло, затем он расслабился, и напряжение пропало. Сделав глубокий вдох, он снова принялся вытягивать шею.

– Так, молодец, молодец, – хвалила она. – Тянись к солнышку. Умничка, тянись к солнышку. Все у тебя перестанет болеть. Обязательно перестанет.

Она погладила старика по голове. За окном и впрямь появилось солнышко. Пробегавшая по своим делам туча исчезла, и теперь небо было яс-

ным. И даже ветер успокоился, и песок не мело по всему двору. Наступила прекрасная погода, такая редкая для этого города.

– Ты молодец, – шептала она.

Журналист заявился позже намеченного, перед встречей успел где-то напиться и выглядел слишком помятым. Икая, полез с порога обниматься: «Ну как жизнь, старики?» – «Какие ж мы тебе старики? – изображала она возмущение. – Мы еще вон какие молодые! Сегодня зарядку делали». – «Ну вы какие молодцы», – расплывался тот в отвратительной улыбке, выдающей сильное опьянение. Тем, что Аркадий пришел пьяный, она была действительно возмущена. «Будь моя воля, он бы вообще перестал сюда хаживать», – шептала она на кухне, взяв его за руку. «Ну что теперь делать? Пусть уже посидит».

– Ты знаешь, мы спать с женой рано ложимся, – объяснял он, выходя в коридор.

– Ничего, ничего. Вот и вам я успел надоеть, – тараторил пьяный журналист, неуместно кивая головой.

– Ну а чего нахлестался-то? – спросил старик, когда они уже сидели в комнате, куда еле донесли вдвоем – один пьяный, другой слабосильный – раскладной стол. Теперь на нем стояла початая бутылка водки и была разложена скромная закуска вроде сыра, маринованных грибов и копченой колбасы. Журналист смотрел на него мутным взглядом, и в определенный момент старику показалось, что разговор в этот вечер вообще не получится. На госте была красная футболка с изображением неизвестного старику бородатого лица, какая-то цепь с непонятной фигурой, болтавшейся на ней, белые, но довольно грязные джинсы с зауженным низом, часы на ярко-оранжевом пластиковом ремешке. На носках отчетливо виднелась дыра, а пришел гость вообще в потрепанных черных кедах с кружочками и незатейливыми геометрическими фигурками. «Сорок лет мужику, – подумал про себя старик. – Человек творческой профессии». Нина Валентиновна и вовсе всегда смотрела на гостя всегда как на диковинного зверя, но любопытство начало сменяться брезгливостью только в последние разы, когда журналист начал приходить пьяным.

– А, издержки профессии, – отмахнулся тот.

– Не в профессии дело, – возразил старик. – Хотя... Я потому и оставил вашу профессию, чтобы со всем этим не связываться.

– Врете, дядя, – обычно журналист не позволял себе панибратства, но тут понесло. – Вы, помню, говорили, что журналистика сама вас выставила вон.

– Ты меня ни хрена не слушаешь. А говорил, мол, опыту научиться какому-то хочешь. Бреешь, собутыльник тебе нужен. Впрочем, и мне иногда. Про твою журналистику я говорил тебе не раз: никакой журналистики нет. Точнее, есть, но это никакая не профессия.

– Ну, конечно, конечно, не профессия. Вы просто не добились ничегошеньки в ней. Вот и не профессия.

– Мил человек, а чего там можно добиться? Лбом об стену там можно добиться. Я приходил в первые редакции с таким воодушевлением, мне казалось, что я могу изменить мир. Мне казалось, что журналист – это такой человек, который делает мир лучше. Он видит то, чего не видят другие, и показывает это тем, кто почему-то этого не знает. Я думал, что для журналиста нет идеалов, кроме правды, и нет большего удовольствия, чем тексты и публикации. Но я увидел, что там такие же люди, как и те, которых я встречал на складах, в магазинах, в офисах – там, где приходилось работать в студенчестве. Только с гонором, а так ленивые и жадные. Все

удовольствия – пожрать да поржать. Никому не интересна никакая правда, никто не хочет ни в чем копать, что-то выяснять, никому ни до чего нет дела. Все отрабатывают свой маленький заказ: продвигают издание, повышают узнаваемость, быстрее других перепечатывают новости из информационных агентств. А в свободное время ржут друг над другом и над людьми, которые хоть что-то умеют делать.

– А журналисты, по-вашему, ничего не умеют делать?

– А что они умеют? Единственное, для чего нужен, по-моему, журналист – это помогать людям друг друга понимать. Все наши люди чудовищно разобщены, это сейчас я смотрю на все эти вещи как во двор с балкона, а тогда... Каждый человек формирует вокруг себя такой герметичный мирок, собирает людей близких взглядов, и они начинают молиться своим иконам, трындеть на свои бесконечные однообразные темы – лишь бы доказать, что я, мол, тоже в теме, я, мол, тоже понимаю, я тоже читал, тоже видел. Бесконечное, унылое топтание на месте. И ненависть к тем, кто не читал, не видел. Весь окружающий мир – за бортом. И я думал тогда, что журналист – человек, который должен строить мостики между этими людьми, между их замкнутыми группками. Потому что он знает все точки зрения, все мнения, все события, он видит всю картину целиком. И он понимает, что тот человек прав в этом, другой – еще в чем-нибудь, третий – в том, о чем первые двое даже не догадываются. И журналист помогает им слышать друг друга, а без этого нельзя двигаться вперед.

– Ах, милая моя, я не люблю тебя. Ты не умеешь двигаться вперед, – запел журналист.

– Ну, в общем, – старик замялся, но решил – раз уж начал – продолжить. – Там такие же люди, каждый варится в собственном соку и каждый тянет одеяло на себя. Живут банальной жизнью, глупыми интересами. Даром что журналисты. Кому и чем они помогли? Носятся с раздутым самомнением, с дешевым мирком и набором банальностей, которые выдают за новизну и свежесть взгляда. Каждый уперся в свою точку зрения, в свой комплект представлений о жизни, каждый дышит ненавистью к людям. Непонимание и твердолобость, нежелание ничего менять, никого слышать. Такая журналистика меня, конечно, выставила вон. Но к тому моменту, когда она меня выставила, я уже скопил денег на малый бизнес и занялся им. Мы с женой открыли маленький рестораник и приносили пользу влюбленным парочкам, которые хотели где-то поговорить по душам, сказать друг другу главные слова. А вашей журналистике я сам сказал: катись бы она к черту. Они издеваются над любовью, потому что не знают, как любить, как это делается.

Журналист икал и косился на стопку: налили довольно давно, но старик разговорился. Воспользовавшись паузой, он взял стопку в руку:

– Вы напрасно. Чувство юмора – это лучшее чувство. Это самое вообще важное и ценное качество человека. Все можно простить, если есть чувство юмора, и как тяжело с человеком, если его нет.

– Да? – старик посмотрел на него пристально, затем взял стопку со стола и не чокаясь, опрокинул. – И чем же оно ценное?

– Оно помогает людям выживать, – журналист не стал медлить и последовал примеру старика: опрокинул свою стопку и, поморщившись, откусил добрую половину огурца.

– Не надо, – сказал старик – Не надо просто создавать вокруг себя такую атмосферу, чтобы приходилось выживать. Это самое простое решение, но почему-то никто не хочет его принимать. Особенно в вашей журналистской среде, где кипят склоки и каждый считает себя на ступень эволюции выше другого. Но этот террариум смешон: пока серьезные и

молчаливые люди переделывают мир, вы занимаетесь своей игрушечной борьбой, карикатурным соревнованием – кто кого уделает, кто кого перешутит, переострословит. Вы забыли, что вы для людей, что вы – в помощь им. Вы все на свете забыли.

– Нет. Юмор помогает жить всем людям, просто он у каждого свой. Свой у офисного работника, у врача, у пожарного, у нас он такой.

– Я тоже люблю добрую шутку, мы любим с женой посмеяться, – он повернулся к Нине Валентиновне, и та ласково улыбнулась. – Если б еще не болели так... Но, вообще, если смотреть на мир здраво, а не сходить с ума, то чувство юмора не может быть главным. Человек приходит в этот мир не поржать. Жизнь – это не хиханьки-хаканьки, не шуточки, не подкольчики, понимаешь? И врач ржет над своим юмором, да. Но при этом он лечит! И понимает, что он в этом мире не для того, чтобы ржать. Он свое дело знает. И пожарный. Ты хороший пример привел. Ну а вы, журналисты, свое дело знаете? Вы забыли его.

– Вы философ просто, этим все и объясняется. Вы мыслите философски.

– Нет, философ – это Шопенгауэр, не знаю там, Сиоран. А я обычный старик, мне скоро умирать.

– Ну а зачем тогда человек приходит в мир?

– Работать. Все на свете есть работа: это не просто статейку там написал или какую-то бесполезную дрянь продал – самая бессмысленная из работ. Построить отношения – работа, сохранить отношения – работа, семья, дети – это тяжелый труд. Без него не было бы семей, не было бы таких, как мы, стариков. Проблема только одна: не все работают на своем месте.

– Это вы опять на меня намекаете?

– Нет, что ты, молодой человек, – на этих словах сорокалетний журналист ухмыльнулся – Это я в общем. Вот, например, как должно быть в мире и как в нем, наверное, было когда-то: человек хочет работать кузнецом – он приходит к кузнецу и говорит: хочу быть твоим учеником, передай мне знания. И тот передает, потому что он служит делу, а дело должно продолжаться. Также строитель, химик какой-нибудь, астроном. Сейчас же мир устроен так, что кто угодно может получить какое угодно образование. Ну, гипотетически. Профессор отучил толпу неизвестных людей и удалился. И ему наплевать на дело – он ничему не служит, и толпе – они ничему не хотят служить. Врач может заработать? Пойду врачом. Юрист? Юристом. Какие-то непонятные специальности выбрали. У них нет к этому тяги, их не влечет сила. А кто-то идет работать в офис менеджером, хотя хотел бы стать, например, писателем. А потому что выжить надо. Или грузчиком, а хотел бы стать театральным артистом. Потому что надо выживать, надо есть, пить, квартиры обустраивать – все не на своих местах. Вот что печально.

– Вы и сами, наверное, хотели быть писателем?

– Нет. Зачем мне? Не о чем писать. Да и какой прок от книжки? Напишу я ее, поставят ее на полку, подойдет красивая девушка, прочитает мою книжку, позвонит в издательство, узнает как меня найти. Ну это все допустим, – старик закрыл глаза, представляя. – И пригласит на встречу. Мы встретимся с ней в кафешке, посидим, выпьем вина или кофе, и она признается мне в любви. А у меня уже есть любовь, – старик обернулся к жене, – мне ничего не надо. И уйдет эта девушка ни с чем. Так зачем мне писать было книжку?

– Ну вы романтик, дедушка, – рассмеялся журналист.

– К тому же зачем самому-то. Один обещал про меня написать, не помнишь кто? Вот где та статья, о которой ты говорил? Прочитаю ли я когда-нибудь, каким журналисты меня видят?

– Да говорил я вам, – гость замялся. – Редактор наш – человек такой: сам не знает никогда, чего хочет. Ну, была, когда я с ней работал. Говорит: историю любви надо, День семьи скоро, то да се. Сделаем тематический материал. Нужны пожилые пары, которые долго живут вместе. Ну, я же рассказывал все? Ну а там это, как она вас нашла, не знаю. Список дала, говорит – пройдишь, пообщайся.

– Ну да, а потом статья ей не понравилась.

– Да не статья ей не понравилась, а говорит: обычная история, банальная совсем. Ничего, говорит, фееричного, никаких эмоций.

– А может, статья ей не понравилась? – прищурился Семен Иванович.

– Да не статья ей не понравилась, жизнь ей ваша не понравилась, – возмутился гость.

– Жизнь не понравилась, – процедил старик. – А нам вот она понравилась, – и он снова повернулся он к жене. – Правда ведь?

– Правда, правда. Может, я чайку вам сделаю? А то хватит пить, время уже.

– Да ладно, – махнул рукой старик. – Еще водочки выпьем. Немножко. Человек вон историю нашей любви написать хотел, о как. Редактор не дала. Ну ничего, в Москве вон вообще тем таких нет: старики какие-то, пары семейные. Провинциальная журналистика. Что у вас, писать больше не о чем? – старик попытался изобразить возмущение.

– Ищем, – икнул журналист. – Работаем.

– Да. Вот и мы работали, – старик погрузился в воспоминания. – Тянули свой ресторанчик и потихоньку старели. Если бы не эти новые дурацкие законы... Да и сил нет уже, да и передать некому было. Тоскую я по нему... Вот продали, теперь отдыхаем.

– Небось, не все денежки прокутили? – хитро спросил Аркадий.

– Мы ничего не кутили. – Семен Иванович не хотел рассказывать, что денег, полученных с продажи бизнеса, давно никаких нет да и работали они в последнее время в убыток. Из бывшего журналиста получился никакой бизнесмен. Которому повезло, что ресторан вообще удалось продать, с такими-то долгами, которые накопились к концу их деятельности. – Ну а ты-то на что скопил?

– Я, как говорит Лимонов, коплю нематериальное.

– Ты копишь себе цирроз печени и язву желудка. А это вещи, знаешь, еще какие материальные. Как материализуются, так средств не хватит их опять, – старик усмехнулся, – в область нематериального переводить. Подумай об этом.

– Подумай об этом, – устало и как-то неосознанно повторил журналист. По его виду можно было сказать, что человеку очень хотелось спать.

– Ну так, а где нахлестался-то? – спросил старик.

– На митинге был.

– А, – старик слышал, когда включал ненадолго ТВ на кухне, что сегодня в центре собирались человек тридцать и вроде как всех разогнала полиция. Да, он мог бы и догадаться, что журналист там. В последнее время митинги проходили часто, чуть ли не каждую неделю, их то жестко разгоняли, то наоборот – давали выступить. Для маленького города это было непривычно. Когда бастовал АвтоВАЗ, выходили тысячи, но нынешние митинги никакого отношения к АвтоВАЗу не имели. Всегда приезжала толпа журналистов, которых было больше, чем самих митингующих, часто они сливались, и было не понять, где журналисты, а где протест.

– Ты понимаешь? – спрашивал старик, отрываясь от экрана.

– Нет, – говорила жена.

– Ну, так и что, на митингах теперь принято пить? Или по пьяни устраивать митинг?

– Напились мы после, – сказал журналист. – На митингах никто не пьет. Судьбу страны никто не решает пьяным.

– Так там судьбу страны решают, – удивился старик – А я и не знал. Так а чего они хотят, ты выяснил?

– Я уже говорил вам, дедушка. И хотят не они, а мы. Я не как журналист туда ходил. А сам по себе. Ну, в смысле как гражданин.

– Ну тогда что вы хотите?

– Мы хотим изменений в стране. Мы хотим, чтоб началась нормальная жизнь. Чтобы тот, кто сидит у власти, не сидел там еще столько же лет, чтобы дали дорогу молодым, энергичным, чтобы светлые головы могли рулить государством, вместо этих мракобесов. Чтобы настал рассвет над страной. Чтобы шансон не звучал по радио, чтобы люди читали Канта, наконец. Чтобы люди учились жить, а не бесцельно сидели, уставившись в ящик. Чтобы те, кто чувствует себя человеком, кто умеет думать хоть сколько-нибудь, не были бы в этой стране презираемы, – Аркадий громко икнул. – Чтобы элитой общества была ее настоящая элита, а не эти... с мигалками. Чтобы полиция нас не трогала. Мы хотим собираться – и будем собираться. И никто нам не запретит. Никто, – он плеснул еще водки в стопку, но не рассчитал и залил стол. – Ой, извините. Ну, вы же согласны со мной, все тут присутствующие? – с трудом выговорив последнее слово, он посмотрел на Семена Ивановича, на Нину Валентиновну, потом опять на Семена Ивановича.

Тот выждал паузу, подумав, что речь продолжится. Но этого не случилось.

– Так это что вы, все тридцать человек, таких убеждений придерживаетесь?

– Какие тридцать? – не понял журналист.

– Ну а сколько вас, тридцать пять выходит? Или сорок? – спросил старик.

– В Москве выходят тысячи, десятки тысяч. Вы же там жили, должны это знать.

– Ну, там людей на порядок больше живет. Это капля в море. И даже с теми тридцатью, что здесь.

– Там их постоянно больше, – затараторил журналист. – Их больше с каждым днем, потому что люди просыпаются, люди хотят жить, хотят думать, хотят чувствовать. Там все больше людей, скоро так будет и здесь. Хватит спячки. Никто за нас не постоит, ну а Москва – это ж сердце, там все начинается.

– Хм, подожди, – остановил его старик – Хочешь, я скажу, где сердце? Оно совсем не в Москве. Когда я еще жил там, мне тоже казалось – первое время – что это сердце. Причем такое, которое пламенный мотор. Но движение еще не подразумевает цели. Это может быть просто мельтешение, колебание. Как броуновское. Движение в Москве – оно у каждого свое, как и сама Москва у каждого своя. Но движение там вовсе не означает, что оно двигает весь организм. Движение есть, а организм стоит на месте. От этого движения устаешь. И, устав от него, я однажды пришел в православный храм и с тех пор ходил туда всю жизнь. Пока вот тяжело ходить не стало. Мы вместе даже иногда ходили, – он кивнул на жену.

– Ну и к чему вы клоните?

– К тому, что сердце России – оно там. Оно не в одном каком-то месте, тем более таком, как наша Москва. Ему невозможно быть в одном месте,

потому что наше сердце – это Бог. А Бог – он может быть только везде. И где бы ты ни зашел в храм, ты попадаешь в сердце.

– Молиться – это не для меня. Свободный человек не станет молиться. Если я перед кем и грешен, так только перед самим собой.

– А молиться необязательно. Тебя никто не заставляет. Ты заходишь в храм – и тебе хорошо. Тебе светло, ты понимаешь, о чем речь? Тебе светло от присутствия Бога, от радости, которую он дарует тебе, оттого, что живешь. И тебе хочется говорить, говорить перед иконой – но не просить для себя, а благодарить Бога. За жизнь на земле, и за свет. И когда ты закроешь дверь храма, будь это в центре Москвы, и ты побежишь по своим делам, или в какой-то глухой деревне, морозным зимним вечером, когда тебе и идти больше некуда, ты понимаешь, что сердце России – это не какой-нибудь город, не какая-нибудь площадь, а это вот тот самый храм, в котором ты только что был. И крестишься, благодаря Бога за то, что побывал здесь. Да, православный храм.

– Я удивляюсь вам, дедушка, – пробормотал Аркадий. – Свободному человеку это не нужно, у свободного человека одно сердце – свое. И весь мир лежит перед ним: действуй! Мир ждет, чего решит свободный человек. Сердце России – это думающие, мыслящие и переживающие люди.

– Так, значит, не все люди такие? Не знал, – улыбнулся старик. – Ну а ты, свободно мыслящий, чего не заявишь никак миру о своем решении? А то он уже заждался.

– А у меня есть все, что мне нужно – развел руками журналист. – К тому же мы живем в оккупированной стране, – он приблизился к уху старика, заставив того немного отодвинуться. – Законы не соблюдаются – раз, свободы слова нет – два, чиновники все захватили – три, – объяснил он на пальцах. – Нужна революция, – заключил журналист.

Старик откинулся на спинку стула и крепко задумался:

– Знаешь, – сказал он, – вот в этом городе, где сейчас твои тридцать человек задумали революцию, я вырос и провел молодость. Ну, некоторую ее часть. Я жил не здесь, конечно, этого района не было же. Мы жили с родителями в центре, неподалеку от тех мест, где вы собираетесь, ну, если обогнуть пару улиц. Я помнил там каждый двор, каждый закуточек – знал все потайные ходы, как пролезть через какую-нибудь стену, как попасть в закрытый дворик, где какие тайны есть – ну, для ребенка, конечно. Там росли всякие интересные деревья, какие-то низкие кусты с ягодками, названия которых я не знал. Там пахло жизнью, прелестью, молодостью. Потом, когда я жил уже в Москве, этот дом расселили – и бабушке досталась эта квартира здесь, а родители купили себе жилье в другом городе. И когда я приехал сюда, уже на старости...

– Когда мы вместе приехали, – поправила его она.

– Когда мы вместе приехали, я прошелся по тем улочкам детства, я заглянул во дворики, я увидел снова все старые лестницы, – казалось, он мог бы заплакать, но собрался и бодро продолжил: – все деревья вырубил, половину лестницы, по которой я бегал ребенком, снесли к чертовой матери, моего дома не было уже – вместо него высился забор, такой, что невозможно было увидеть, что за ним построили. Уцелевшие старые дома выглядели так плохо... Их белые стены сияли в детстве, они так были красивы летом, если б ты видел! Сейчас они были почти разрушены. И все были исписаны – да так неумело – вот этим словом: революция, revolution. Исписали лестницу, исписали асфальт – непонятно уже чем, да и ладно. Они хотят изменить что-то, а губят красоту? И тогда я понял, глядя на это все: революция – это то, что уничтожает мои любимые улицы, скве-

ры, срубает деревья и закатывает их в асфальт, сносит аккуратные дома и исписывает все вокруг грязными, бездарными надписями. Вот такая она, революция. Она убивает мое детство. Поэтому я не хочу ее.

Взгляд гостя изменился: теперь он был как будто ошарашенным. Он словно протрезвел немного, слушая старика, и смотрел на него с непониманием и даже презрением.

– Мы за бескровную революцию. Мы ничего не собираемся убивать, – медленно проговорил он. – И тем более никого. Но так дальше жить нельзя. А такая позиция, как у вас, – это позиция закомплексованного, живущего в собственных воспоминаниях человека, боящегося сделать шаг вперед.

– Миленький мой, сколько мне лет? Какой шаг вперед? В моем случае шаг вперед – это шаг в могилу. А насчет закомплексованных я вот что тебе скажу. Закомплексованным может быть тот, кто не хочет выставлять себя напоказ. Вот вы, все такие подчеркнуто раскомплексованные, вы кичитесь этим: я как хочу, так и веду себя, где угодно и с кем угодно, просто потому что я так хочу. Вы любите эпатаж, любите пафос, любите, как мне говорили часто, перформанс. Встречал я таких людей раньше, не тебя одного. Вот как ты одет: подчеркнуто ярко, как ты ведешь себя: вызывающе ярко, что пишешь: какие-то яркие слова. А что, твоя жизнь яркая? А много ли яркости в тебе самом?

– А помнишь, как мы танцевали? – неожиданно вступила в их разговор Нина Валентиновна.

– Ну да, – улыбнулся старик.

– Мы были на каком-то мероприятии, где, в общем, народу было полно, – она ухватила Семена Ивановича за локоть, но смотрела на журналиста, так как рассказывала ему. – И там танцевали все, это было что-то по работе...

– Да, меня пригласили. Ну и жену заодно...

– И я выпила еще, а танцевать никогда не умела, да и в толпе такой как развернешься? Мы сидели за столом, у нас остался бокал вина и море вишневого сока, я помню мы пили, обнимались и слушали.

– Мы закрыли глаза, – вспоминал старик, – и представляли, как мы танцуем. Как мы одни на берегу большого моря – нет, океана даже, и как вокруг только песок и волны, и нет никаких людей, и есть музыка. Этот танец был красивее их всех и чувственнее их, в нем была страсть, в нем было единение. В нем была вечность. И мы любили друг друга в этом безумном танце, мы растворялись друг в друге.

– Да уж, действительно безумный танец, – осоловело смотрел на них журналист. – Сидя за столом на корпоративе.

– Ничего он не понимает, – устало проговорила Нина Валентиновна и поднялась из-за стола. – Ладно, я, пожалуй, прилягу, – она поцеловала старика в щеку и не торопясь пошла в другую комнату.

– Вы уж меня извините, – заводился Аркадий. – Но это и есть овощная позиция. Это овощи так рассуждают: пока вокруг идет большая жизнь, мы фантазируем, будто у нас все хорошо. Мы сидим и ничего не делаем, и представляем, что у нас все лучше, чем у тех, кто что-то пытается делать. Мол, у нас чувств больше, мол, мы глубже. Потому мы не поднимем задницу со стула, а будем смотреть, как разваливается страна.

– Да я же не о стране, – сказал старик.

– А я о стране, – прикрикнул, сам испугавшись, журналист. – Я о стране. Сейчас нельзя думать о чем-то другом, совесть не позволяет. Сейчас все о стране, все мысли должны быть и действия. Нельзя быть разлагающимся овощем, который голосует за лидера нации этого, черт бы его

побрал, вашего. Нельзя возле телевизора жизнь просиживать да детство свое вспоминать. Нельзя быть такими же овощами, как эти... – он судорожно подбирает слова, – как это было.

– Ну, что еще нельзя? Расскажи мне, – спросил старик, вставая из-за стола.

– Нельзя так наплевательски относиться к будущему страны. Это и ваша страна, и вам тоже в ней жить. Неужели вам все равно? Ведь вы не даете нам взять власть в частности вы.

– Вы дети, которые никогда не повзрослеют. Какая вам к черту власть? Обожжетесь, – мрачно сказал старик. – А мы вот с женой, почему мы должны быть с вами? – Он настойчиво указывал журналисту на дверь и часы, тот хлопнул последнюю рюмку, встал и, пошатываясь, отправился в коридор. – Вы нас считаете за овощей. Мы для вас никто, и наше детство, и наша любовь, и наши заботы – это всего для вас нет. Вы не знаете, что мы существуем. Да, мы живем друг другом, друг для друга, и всю жизнь прожили так. Кто еще проживет для нас, ты? Для нее проживешь ты? – он указал на дверь, где жена хлопотала над кроватью – Или ваши митинги, или ваши молодые, сверкающие улыбками кандидаты? Они плюют в нас, хамят нам. У нас своя жизнь, а вы не признаете наше право на нее, не считаетесь с нами. О чем может быть разговор?

– Ну вы же нормальные вроде люди, – бормотал журналист, натягивая кеды. – Разве вас не унижает, как вы живете, что делается вокруг? Как вас это может устраивать? Никаких прав человека, никакой свободы слова...

– Какая свобода слова? – пожал плечами старик. – У меня никто ничего не отнимает. Все, что я хотел говорить, – я всегда говорил. Всю жизнь.

– Тогда и я вам скажу, на прощание, – собрался с мыслями Аркадий. – Вы дураки. Хотя и образцовая семья. Заслуженные люди! Не знаю, где редактор откопала вас, динозавров! Я общался с вами как с равными, как с нормальными людьми. Любовь у них. Ничего вы не нажили, а главное – мозгов. Вот вы говорили, что проблема в том, что не все на своем месте? Нет, главная проблема в том, что в стране таких людей полно, как вы. Пока есть вы, не будет никаких перемен. Но ничего, ночь пройдет, – журналист усмехнулся, махнул рукой и вышел в подъезд.

Старик смотрел на него, ищущего кнопку лифта. «Не уснул бы тут, в подъезде», – промелькнула мысль.

– Тебе 40 лет, и ты никому не нужен, кроме пригревших тебя одиноких стариков. Тебе и нужны перемены – нам нет.

Журналист не смотрел на него.

– Ночь пройдет, наступит утро ясное, – разгоряченный, пел он. – Солнце взойдет-о-от.

Старик закрыл дверь.

– Зачем он нас обидел? – спросила Нина Валентиновна. Они лежали в полутьме, светила луна. Семен Иванович оставил дверь в комнату приоткрытой, и было слышно, как кто-то за стенкой пытается играть на скрипке.

– Мы уже не раз так говорили. Просто ты спала, – сказал старик – Он никого не обижает. Ну, думает так человек, пусть думает. Лишь бы не повесился.

Скрипка за стеной издала особенно протяжный звук, а затем полилась грустная мелодия. Старик посмотрел на часы: без двадцати одиннадцать.

– Тебе нравится эта мелодия? – зачем-то спросила жена, кивнув в сторону двери.

– Мне не нравится, что она так поздно играет, – ответил он. – Мне, как любому старику, хочется покоя.

– Это точно. Тем более после такого беспокойного гостя. Но красивая же мелодия. Пусть и спать не дает. Играет здорово. Скажи?

– Ты знаешь, – он повернулся к ней, и теперь они лежали нос к носу. – Это все глупости, но ты не думай об этом. Там живет девочка, лет десяти, ее мама все этой скрипкой мучает. Я их пару раз видел, когда без тебя ходил. И играть она совсем не умеет, да и не научится никогда. Потому что не хочет.

– Ну и ладно. Важно ведь не как, а что. Правильно? Если мне нравится, как она играет, значит, это не зря?

Звук скрипки то прерывался – были слышны чьи-то голоса, – то с новой силой возникал, первое время даже громче, потом затихал и его было еле слышно.

– Спи, – он погладил ее по щеке и укрыл одеялом. – Милая моя, дорогая.

«Живем мы хорошо, – вспомнил старик отчего-то, как рассказывал журналисту во время их первой встречи, еще за чашкой чая. Тот сидел с блокнотом и аккуратно записывал, трезвый еще. – Мы довольны своей жизнью и наслаждаемся ею. Наверное, потому что все, что надо, у нас есть. Вот только... Если б дочь не присылала деньги, наверное, было б трудно. Подумай сам: пенсий наших вместе взятых хватает вот чтобы квартиру оплатить, ну и на скромную еду. А если лекарства нужно купить, то уже тяжело. Плохо, что у нас так старики живут. Посмотришь на такую жизнь и думаешь: где справедливость?»

«Ну, справедливость вообще сложное философское понятие, его можно интерпретировать по-разному, – заключил журналист. – Все зависит от угла зрения. Никто ведь еще не придумал универсального определения справедливости».

– Нет, – покачал головой старик. – Справедливость – это вполне конкретный термин. И у него может быть только одно значение, все остальное – ложь, чтобы прикрыть несправедливость. Вот нам с женой показывают по телевизору: выходят с цветными флагами, гримасничают на улицах – чего хотят? Оказывается, ориентация у них другая. Требуют защитить, требуют признать. Ну да, может, где-то их и ущемляют, возможно такое, конечно. Но они не умирают с голода, не умирают оттого, что к ним не приезжает скорая. Мы сколько прожили, ни одного гея не видели, ну вот сложилось так, а стариков, считающих копейки возле хлебного прилавка, видим каждый день. Проблемы нужно решать последовательно, – заключил старик. – Ты заходи к нам в гости, ты парень интересный, я расскажу тебе еще про справедливость».

– Ну ты и мразь, – внезапно процедил Семен Иванович, и испугался, взглянул на жену. Она уже крепко спала, положив руку под подушку, и, конечно, не слышала его слов. Не услышала она и странный шум из коридора, который привлек внимание и насторожил старика. Как будто кто-то тихо открыл дверь, стараясь быть незаметным, а потом столь же тихо прикрыл ее за собой. «Померещилось? – с тревогой подумал старик. – Надо бы встать, глянуть». Он присел на кровать и стал елозить босой ногой по полу, нащупывая тапки. И тут отчетливо понял: в квартире кто-то есть. Неведомый гость уже не скрывал своего присутствия: раздался топот шагов, кто-то прошел на кухню и так же резко вернулся. Сердце старика бешено заколотилось, он поднялся и чуть не упал снова: голова кружилась, слабость не давала сделать шаг.

– Давай туда, – раздался гулкий голос в коридоре, и немедленно ответил каким-то нечленораздельным звуком, междометием второй голос:

«Их там двое». Старик мельком взглянул на спящую: она ничего не слышала, лишь размеренно дышала. Собрав все силы, он ринулся в коридор.

– Не работает, твою мать, – раздалась громкая ругань, а затем еще несколько грязных слов. Старик увидел человека, щелкающего выключателем, а рядом с ним еще одного, уже заметившего его появление. «Так и забыл купить лампу», – подумал старик. Надвигавшегося на него человека он не успел разглядеть. В темноте было непонятно, как выглядели внезапные гости, во что они были одеты. Он ощутил резкий удар в живот и, начав сгибаться, – в голову, каким-то тяжелым металлическим предметом. Старик упал на колени, и нападавший скользнул мимо него в комнату. Второй, проходя, ударил его ногой в лицо, затем еще раз, и старик упал на пол.

– Туда, – указал первый голос из спальни, и второй человек прошел в зал. Борясь с наступавшим на него мраком, Семен Иванович услышал, как открываются ящики, шкафы, вываливаются вещи. В зале с грохотом разбилась ваза, и только после этого проснулась Нина.

– Вы кто? – спросила она. Старик вскочил, опираясь на тумбу и, шатаясь, пошел в сторону спальни. Он понял, что ничего не видит, и еще – что его сейчас вырвет. На пороге в спальню это и случилось. Вместе с рвотой из глаз хлынули слезы. «Грабители», – подумал он.

Человек схватил нож, отчего-то лежавший на трюмо, рядом с тремя тысячами рублей – всеми деньгами, что были в квартире, приблизился к ней и несколько раз ударил. Старик увидел, как хлынула кровь, но ему, согнутому пополам, было не преодолеть свое состояние, он упал и снова пытался встать. Она окрикнула его по имени – два раза, отчаянно, громко.

– Миленький, спаси меня, пожалуйста, – прокричала она. Грабитель схватил ее за волосы, и несколько резких ударов ножом, последовавших за этим, успокоили ее окончательно. Она свалилась с кровати, издав неестественное и страшное хрипение, и старик закричал нечеловеческим голосом.

– Где деньги? – услышал он голос за своей спиной, и только сейчас понял, что к горлу приставлен нож, а самого его держат крепкие объятия, из которых уже никогда не получится выбраться. Он не понимал вопроса, он не знал, что ответить этому голосу, и не мог ничего ответить – после крика уже не было сил, да и добавить к нему было нечего. Темнота поглотила его, и не было ни кровати, ни мертвого тела жены, ни окна с едва различимой за мутными облаками бледной луной. Потом стало очень больно, и никакое движение уже не представлялось возможным. Он еще слышал какие-то голоса, шумы, но они становились все дальше и дальше, а там, где лежал он, лишь становилось горячо и липко, но нельзя было выбраться из этого, можно было только закрыть глаза.

– Ну, и неужели вы ничего не слышали в тот вечер? – аккуратный молодой следователь сидел за белоснежным столом в светлой комнате и смотрел в глаза красивой, немного усталой и оттого казавшейся печальной блондинке.

«А он интересный, – подумала она и бросила взгляд на его руку. – Кольца нет».

– Вы знаете, мы ничего не слышали. У нас девочка играла на скрипке. Машенька, – крикнула она, – иди познакомься с дядей. А вы знаете что, – улыбнулась она, – не желаете кофе?

Александр ЛУШИН

Родился в 1951 году в Горьком. Окончил Горьковский государственный педагогический институт, работал учителем, затем служил в органах внутренних дел. Полковник полиции в отставке, преподаватель Нижегородской академии МВД РФ.

Автор пяти книг прозы и публицистики, десятков научных статей по истории государства и права. Действительный член Императорского Православного Палестинского общества и Историко-родословного общества в Москве. Имеет ряд государственных и церковных наград.

Живет в Нижнем Новгороде.

МУХА БЛЯХА

Эти строки я пишу в полном здравии ума, искренне полагаясь на то, что тот, кому они попадут в руки, поверит мне и передаст мои записи по назначению. Теперь я твердо знаю истинную, хотя и крайне жуткую, причину большинства случаев исчезновения людей в верхней части города. Как журналиста, меня давно волновала эта проблема, и однажды я обратился к знакомому сотруднику полиции, работавшему в службе по розыску пропавших без вести людей. Спустя несколько дней, частным порядком, я получил от него достаточно длинный список с указанием фамилий, подробных примет пропавших, их адресов и мест, где их видели в последний раз. Взяв план Нижнего Новгорода, я фломастером нанес точки, смысл которых был понятен лишь мне одному, и обвел испещренную часть плана жирным кругом. Любопытная догадка мелькнула в моем мозгу: с севера зона исчезновения была ограничена кладбищем в Марьиной роще, с востока – Бугровским Красным, с запада – уже порушенным кладбищем за Сенной площадью, а с юга – местами бывших Петропавловского и Немецкого кладбищ. Внимательно изучая ландшафт обозначенного мной района, я обратил особое внимание на старые городские сады, расположенные вдоль речки Кадочки. Это глубокое ущелье, засаженное фруктовыми деревьями и хаотично заставленное приземистыми садовыми домиками и будками, пересекало город на протяжении нескольких километров. Сердце мое неожиданно дрогнуло, и я вдруг отчетливо осознал, где следует искать следы чудовищных преступлений.

Со стороны улицы Ломоносова я попытался как-то днем пройти в сады на Кадочке и был ошеломлен их какой-то мрачноватой дикостью, сладковатым запахом прелости и тления, неестественно обильной изумрудной порослью в самой глубине оврага. Тогда же я понял, что ожерелье из кладбищ вокруг этого места совсем не случайно и должно иметь вполне определенный мистический смысл. Случай свел меня с неким Мишей,

который читал многие мои очерки и статьи. В непринужденном разговоре выяснилось, что у Миши есть приятель Толик, которому от родителей достался очень старый сад на холме у Кадочки. Я выразил желание побывать на Толиковой даче.

– Проще простого, – сказал Миша, – завтра и пойдем. Помидорчики и огурчики, зелень всякая у Толика свои. Значит, на закуску только хлеба да консервы прикупим. Вообще, ты завтра как? Нормально. Тогда встречаемся в девять утра у пивнушки на Тверской.

Ходу пешком до Кадочки чуть более десяти минут, так что в половине десятого мы уже сидели под оконцем ветхого строения на скамейках и, пропустив по полстаканчика «борской», готовили нехитрые, но обильные закуски. За столом мы просидели порядочно. Захмелевшие сотоварищи мои выволокли из будки матрасы и прилегли отдохнуть. Я стал осторожно спускаться в низину.

– Ты того, поаккуратней там, – напутствовал меня Толик, – погано там внизу-то, скользко да какой-то дохлятиной воняет. Мы туда сами и не лезим. Даже бомжи там не шарахаются, говорят, чегой-то там страшновато становится.

Я что-то невразумительное ответил и продолжил спуск на дно оврага, где узкой, блестящей сквозь густую листву змейкой вился кольцами тихо журчащий ручей. На дне оврага было прохладно. Я огляделся и, заметив трухлявую корягу, примостился на ней. Выпитое давало себя знать, и вскоре я задремал.

Очнулся я внезапно от какого-то шороха над головой, как будто крупная птица взмыла вверх прямо надо мною, сильно задев листву. Открыл глаза и вздрогнул: передо мной в воздухе висела огромных размеров муха с мощными, в перепонках, как у летучей мыши, кожистыми крыльями. Из белого раздувающегося брюха ко мне протягивались скрюченные лапы, заканчивающиеся острыми когтями. Но самым страшным было то, что голова неведомого создания имела сморщенное детское личико, злобно сверлившее меня малюсенькими безбровыми глазками-буравчиками. Я вскрикнул, схватил лежавший под ногами сухой сук и резко наотмашь полоснул им по жуткой твари. Она взмыла вверх и растворилась в густой листве. Я быстро последовал за шорохом, которым отмечался путь гигантской мухи, перескочил через ручей, но запутался в высокой осоке и белесых корневищах, а потому потерял след.

Через несколько минут я уже блуждал по старым садам, поразившим меня своею запущенностью. Свернул снова к Кадочке и вдруг увидел большой сарай, обитый жестью. Возле него стоял невысокий брунет, навешивая на дверь тяжелый амбарный замок. Я без промедления направился к нему. Услышав шаги, он торопливо убрал ключ в карман куртки, дернул замок за дужку и повернулся ко мне. Выражение его лица расточало любезность:

– Вы кого-то ищете?

– Да, я пришел к знакомым на дачу, но несколько заблудился.

– Тут немудрено заплутать: деревья старые, а ландшафт сами видите какой. В какой стороне сад ваших знакомых? Вам помочь?

В это время в сарае послышался глухой удар, затем будто прошелестело что-то, как бы стрекоза крыльями в полете. Брунет перехватил мой взгляд и заторопился:

– Извините, я ухожу. Пойдемте, я выведу вас на основную дорожку.

И он подхватил большой дипломат, окованный по углам тускло мерцавшим металлом. Размеры чемоданчика были внушительны и всколыхнули

мое подозрение. Уже на дорожке я заметил, что его беспокойство сгладилося. На прощание он мне улыбнулся и даже предложил посетить его еще:

– Побеседуем. Кстати, позвольте представиться: Аркадий Блях.

Я назвал себя, и мы расстались. Когда я вернулся к моим знакомым, они уже вновь сидели за столом и встретили мое появление удивленными возгласами:

– Где тебя черти носили?

Ближе к вечеру мы с Мишей отправились по домам, а Толик решил переночевать в саду. Утром я чувствовал себя скверно из-за выпитого накануне, но надо было идти в редакцию. А через полтора часа ко мне прибежал взволнованный Миша:

– Слушай, Толик исчез. Утром мне звонила его жена. Она бегала в сад за яблоками для пирога. Спрашивает, где Толя? Я сказал, что заночевал в саду. Она говорит, что не похоже. Ведь он страшный соня – спит до обеда, а пришла она в сад около семи утра. Стол заставлен посудой, матрасы лежат под яблоней, домушка открыта, а мужа нет.

– Может, к бабе какой рванул, – предположил я, – или гуляет на Кадочке. Или за пивом ушел – башка-то, наверное, тоже болит.

– Ладно, – сказал Миша, – оставь мне номер твоего телефона. Прояснится – позвоню.

Он ушел, и я вслед за ним выскочил из редакции – бегом на троллейбус. Через полчаса я был на даче Толика. Внимательно все осмотрел. Толик был рослым сильным мужиком – просто так с ним не совладать, кроме как во сне. Но никаких следов борьбы, никаких пятен крови. Стоп, а это что такое? Бляха муха! Прямо передо мною на столе среди вчерашних объедков лежал обрубленный кухонным ножом узкий и острый коготь. Я вздрогнул.

Заткнув нож за пояс, а коготь завернув в тряпицу и убрав в карман куртки, я направился по уже знакомой тропе. Ага, вот и сарай. Я потрогал ручкой замок, затем прильнул ухом к стене. Тишина. Вдруг где-то совсем рядом треснул под ногой сухой сучок. Я бросился в густую траву... и чуть не закричал от ужаса. Рядом со мной лежал Толик, точнее, то, что от него осталось, как бы выразиться точнее, – одна оболочка.

Я уткнулся лицом в траву, чтобы не стошнило. Шаги приближались к сараю. Я поднял голову: Аркадий Блях с трудом тащил свой дипломат. Вот он отомкнул замок на двери сарая, сделал узкую щель, распахнул дипломат, и гнусная тварь, сверкнув мертвенно-бледной личиной, растворилась в темноте постройки. Блях щелкнул запорами, поставил свой «ящик смерти» к стене сарая, взял лопату и стал копать для оболочки Анатолия последний приют.

«Да сколько же здесь неизвестных могил, – подумалось мне в те минуты. – Эта ужасная муха, рожденная то ли гнусным гением кошмара, то ли иным жутким способом, убивает людей. Она послушна воле Бляха и служит его мерзким помыслам. Здесь настоящее кладбище, – вот почему сам воздух напоен запахами гниения и разложения».

Я медленно отполз по склону оврага вниз, поднялся, стяхнул с брюк и куртки сухую землю и травинки. А затем, засвистев какую-то мелодию, пошел по тропинке к сараю Бляха. Увидев меня, он перестал копать, как бы взвесил в руке лопату, готовя ее к точному и безжалостному удару.

– Добрый день, Аркадий, – сухо поздоровался я. – Вы знаете, сегодня ночью пропал мой товарищ, ночевавший в саду. Прямо как по Стивену Кингу, следов никаких, кроме... – И я протянул тряпку, доставая мерзкий коготь. – Вот взгляните поближе, не бойтесь. Знаете, у меня есть свои соображения по этому случаю, да и не только по этому, но и по некоторым

другим. Можно было бы сообщить о них в прокуратуру или полицию, но там сидят совершенные реалисты, не верящие в мистические тайны. А у вас нет никаких догадок?

Блях отрицательно помотал головою. А я продолжал:

– Кстати, Аркадий, зачем вы обили сарай железом? Неужели у вас там хранятся ценности? А что за тяжелый у вас дипломат – тренируете мышцы рук? Молодчина. А кто вы по профессии? Не могильщик ли – уж очень профессионально орудует лопатой. Впрочем, мне пора идти. Если у вас появятся какие-либо соображения, звоните без стеснения. – И я положил на дипломат свою визитную карточку и мерзкий обломок когтя. Помедлив чуть, я достал из кармана куртки длинный список исчезнувших за последнее время людей и также положил на дипломат.

Аркадий Блях смотрел на меня мрачным немигающим взглядом, но в глубине его глаз постепенно разгорался огонь. И я поспешил пока уйти.

Сегодня днем я плотно закрыл все окна в квартире, проверил надежность шпингалетов на них. Затем запер дверь на оба замка, накинул крючок и цепочку. Надел прочный колпак на трубу газовой колонки в ванной комнате. Затем извлек из шкафа охотничье ружье. Один из стволов зарядил специально отлитой из царского рубля серебряной пулей, а другой ствол – свинцовым жаканом на медведя. Приготовил обоюдоострый германский штык. Чтобы невзначай не заснуть, заварил в термосе крепчайший кофе и стал писать эту записку. Когда стемнело, я, не включая в доме свет, замер у окна. Внезапно зазвонил телефон, но я не реагировал на него, понимая, что нельзя утратить бдительности.

Примерно в половине двенадцатого ночи на безлюдной улице в свете тускло мерцавшего одинокого фонаря я наконец-то увидел знакомую фигуру. Тяжелый дипломат опустился на асфальт напротив кухонного окна, и я вдруг отчетливо услышал, как сухо и жутко шелкнули запорные устройства. Затем черная быстрая тень взметнулась к моему окну в маленькой комнатке рядом с кухней. Мелькнуло гипсово-белое сморщенное младенческое личико с мертвенными глазницами. Муха Бляха начала свою ночную охоту. Звон разбитого за стеной оконного стекла дал мне понять, что тварь уже в квартире. Я быстро засунул записки под газовую плиту и взял ружье.

ПОЕЗДКА В НИСУ

Из дневника русского офицера

Июньским вечером я вошел в чайхану Керима на самой окраине старого Ашхабада. Мешковатый линиялый халат и мохнатый тельпек, низко надвинутый на лоб, делали меня неузнаваемым. Керим с полупоклоном приблизился к застланному вытертым ковром топчану, на котором я разместился, с удовольствием вытянув усталые ноги.

– Черный или зеленый чай, почтенный гость? – лениво спросил Керим, и когда я чуть приподнял тельпек, удивленно округлил глаза и выдохнул шепотом:

– Искандер-ака, простите великодушно, что я не узнал вас. Сейчас я заварю китайский чай, принесу горячую самсу и отборный кишмиш. Отдохните немного, а когда прибудет посланец Гафур-бека, я потревожу вас.

Отменного качества чай снял нервное напряжение минувших суток, проведенных в седле во время утомительного перехода. Я сомкнул веки, размышляя о событиях последнего времени. С Гафур-беком я сблизился осенью 1918 года, когда многие эмиры и ханы повели активную вооруженную борьбу с большевиками. Под зеленым знаменем священной войны с врагами ислама въехал в кишлак Мамрават, где я гостил у известного историка и мистика Абдурахмана, во главе крупного отряда Гафур-бек. Спустя час он появился в доме моего любезного хозяина.

Оказалось, что его, как и меня, интересовали древние оккультные учения Востока. В руки Гафура от старца-суфия, безвыходно жившего в диких отрогах Арслан-боба, попала тайная рукопись, содержащая удивительный и жутковатый рассказ о могущественном хранителе духовных сокровищ Старой Нисы. Шесть тревожных лет провели мы с Гафуром в совместных странствиях по Ферганской долине, предгорьям Копетдага, Тянь-Шаня и Памиро-Алая, окраинам пустыни смерти Кара-Кум. Каждый год в конце мая мы возвращались к горному аулу Нусой и останавливались в заброшенной ханаке Дакара у мечети Намазги. В седельной сумке Гафур-бека покоилась завязанная бережно в вытертую холстину древняя рукопись, которую мы часто перечитывали при бледном свете таинственной азиатской луны.

В начале весны 1924 года на развалины Старой Нисы неожиданно нагрянула археологическая экспедиция. За несколько дней до ее прибытия агенты туркменского уголовного розыска объехали все предгорья в поисках отряда Джунаид-хана, пообещавшего не допустить неверных в священную долину. В те дни мы находились в Фирюзинском ущелье у курдов, которые в свое открыто враждовали с Джунаид-ханом и упорно не признавали в своем высокогорье новую власть. Там мы узнали от охотников, что сотрудники милиции задержали нескольких жителей Нусоя и Багира, по заведенному еще столетия назад промыслу промывавших в горных

потоках золотые и серебряные ювелирные изделия из Нисы. Нас же манили не материальные сокровища: мы жаждали отыскать властителя, охраняющего тайны иного рода, которые сулили безграничное обладание миром невидимым. Многое здесь нельзя понять человеческим умом, поскольку он требует объяснения лишь видимых и осязаемых явлений и процессов.

От стычки с воинами Джунаид-хана уклониться нам все же не удалось. У самых отрогов Копетдага мы вплотную съехались с группой вооруженных всадников под предводительством Махмата али, брата вождя басмачей. Телохранители Гафур-бека, служившие некогда в Текинском конном полку генерала Корнилова, точными взмахами шашек проложили нам дорогу на Бахарден. Мы ушли, оставив на горной тропе восемь изрубленных трупов, в том числе и брата Джунаид-хана. Через день старик-геклен, ездивший в Мары, сообщил нам, что Джунаид-хан поклялся отомстить Гафуру.

Работы археологов, постоянные наезды милицейских в окрестности Нисы, нескончаемое кружение вокруг долины отряда Джунаид-хана вынудили нас прекратить собственные поиски и на некоторое время разлучиться. Я перебрался в многолюдный Хорезм, но там меня внезапно на базаре опознал один из тех чекистов, что пытались расстрелять меня осенью 1920 года под Андижаном, и только вмешательство воинов Рахим-бая из Оши, тогда еще служившего у Фрунзе, спасло мою жизнь.

Я, бывший деникинский офицер, не возвращался в Россию, поскольку уже давно обрубил все нити, связывавшие с ней, пребывающей под властью хамов. Из Хорезма я поочередно переезжал в Бухару, Хиву, Ташкент, Карасу, Джелал-абад и наконец возвратился в Ашхабад, чтобы в условленный день встретиться с Гафур-беком и продолжить поиски хранителя оккультных тайн Востока. За годы странствий по исламскому миру я осознал, что его культура и цивилизация живут совсем по иным законам, нежели Европа и Америка.

На рассвете Керим осторожно вывел меня за пределы махалли, вздохнул с облегчением. Здесь дожидался Курбан с двумя ахалтекинскими лошадками. С вежливым поклоном он передал мне повод, и уже через мгновение мы мчались мимо старых глинобитных мазаров по Фирюзинской дороге. Свежий утренний ветерок приятно обдувал лицо, и даже мелкие песчинки, хрустевшие на зубах, не портили настроения. Все ближе становились заросшие серо-зелеными фисташковыми рощами пологие предгорья. Мы свернули к Нусою и, проскакав еще около двух верст, уже при утреннем блеклом свете, пока не рассеянном первыми лучами солнца, спешили у заброшенной древней мечети. Здесь нас поджидал Гафур-бек. Мы обнялись по-восточному обычаю и прошли в тень стены, где был скромный дастархан-чай, лепешки, переплетенная в жгуты вяленая дыня, курага и сладкий кишмиш.

После прочтенной Гафуrom краткой молитвы мы все вчетвером стали подкрепляться. По окончании трапезы Курбан прилег отдохнуть на кошме, а Ахмет, взяв карабин, отправился обойти окрестности. Гафур первым начал беседу:

– Теперь я владею чудесным заклинанием, которое расшифровал по книге мудрого дервиша. Оно позволит нам получить безраздельное могущество властелина тайны тайн. Сейчас же мы едем в Нису. Надо спешить – вчера в округе побывали агенты уголовного розыска с отрядом красноармейцев, а через день-другой приедут археологи.

Вскоре мы въезжали в старую Нису. Оплывшие квадратные глинобитные башни и массивные стены были еще величественны. На централь-

ной площади столицы древней Парфии возвышались стройные круглые колонны, обхватить каждую из которых могли бы только четверо, а то и пятеро взрослых мужчин. Вокруг отчетливо просматривались следы глубоких ступенчатых раскопов, оставленных археологами и дополненных местными кладоискателями.

– Здесь стоял дворец великого царя из воинственной династии Аршакидов. Сокровенное предание говорит, что перед богато украшенным дворцом на позолоченном шесте была выставлена высохшая голова знаменитого римского полководца Марка Красса. – Гафур-бек отлично знал историю этой древней крепости. – Именно под огромными залами дворца и находится глубокое подземелье, скрывающее величайшую оккультную тайну. В одной из этих колонн, согласно тайному средневековому суфийскому трактату Али Салмана ибн Умара Хорезмского, должен быть потайной вход в подземную галерею, ведущую в святая святых исламской мистики.

И не мешкая мы принялись за внимательный осмотр полуразрушенных колонн. Спустя два с лишним часа Курбан взволнованно позвал нас:

– Смотрите.

И он указал пальцем на выбитые из середины колонны глиняные кирпичи. Гафур-бек подогнал своего коня и, встав на седло, начал разбирать порушенную временем кирпичную кладку. Вскоре освободилось темное узкое отверстие, в которое, однако, мог без особых трудностей проскользнуть худощавый человек.

В это время на площади внезапно появились вооруженные всадники. Они, смеясь, направили на нас стволы английских карабинов. Из-за колонны неторопливо вышел ухмыляющийся Джунаид-хан.

– Я молил Аллаха о нашей встрече.

В следующее мгновение Ахмат неуловимым движением обеих рук метнул длинные и тонкие боевые иглы, поразившие одного из воинов в грудь и Джунаид-хана в горло. Вослед взвились метательные ножи, точно брошенные Курбаном, и еще два тела безжизненно рухнули на землю. Я поднял над головой гранату и крикнул:

– Прочь, шакалы!

Басмачи быстро подхватили тело Джунаид-хана и скрылись в лабиринте глинобитных стен. Гафур-бек продолжал невозмутимо расчищать лаз внутрь колонны. Сбросив вниз последние комья высохшей глины, он ловко подтянулся на руках и начал протискиваться внутрь колонны гибким и сильным телом.

– Быстро, быстро, – нетерпеливо позвал Гафур. Следом за ним в зияющий чернотой провал споро спустился Курбан. Настала моя очередь. Кромешная тьма окутала меня, но Курбан уже зажигал заранее приготовленные факелы и передал один из них мне.

– Идем вперед, – поторопил нас Гафур, – надо спешить. Ахмат будет ждать нас в развалинах хум-ханы.

Красноватые отблески факелов жутковато качались на сырых кирпичных стенах и сводах подземной галереи.

– Осторожно господин, – предупредил меня Курбан, – здесь могут быть змеи. Я пойду впереди.

В полном молчании продвигались мы под громоздкими массивными сводами, настороженно вглядываясь в неведомую тьму глубокого туннеля, проложенного парфянскими рабами тысячелетия тому назад. Иногда под ноги попадали покрытые плесенью человеческие черепа, противно хрустевшие под нашими сапогами.

Вдруг огонь наших факелов отбросило назад, и смердящее дуновение гибельного подземелья охладило наши неистовые сердца. Мы вступили в просторный круглый зал, темные и замшелые своды которого поддерживали колонны в виде стоящих на кончиках хвостов гигантских кобр и гюрз. Посреди зала на круглом же возвышении находилась причудливой каменной резьбы беседка, а в ней на высоком престоле темнела человеческая фигура внушительных размеров. Высохший исполин был совершенно наг, и на его острых коленях покоился кованный ларец, по объему более похожий на русский дорожный сундук. Через отверстия в крышке исходили голубоватые призрачные лучи.

Подняв над головами факелы, мы подступили к основанию беседки, чтобы получше разглядеть повелителя царства вечной тьмы. С трудом удерживая дрожь омерзения, вглядывался я в плотные высохшие складки ужасного лица с толстыми вывернутыми губами, черными дырами вместо носа и сморщенными слоями веками. Гафур-бек отважно шагнул вперед и, осветив каменный трон, торжествуя воскликнул:

– Надпись!

Курбан подошел ближе и высветил замысловатую вязь искусно переплетенных таинственных знаков.

– Читай! – судорожно глотнув зловонную сырость подземелья, не удержался я. – Читай же!

– «Трижды скажи сокровенное заклинание из книги книг и, когда властелин тайны тайн откроет свой чудесный ларец, трепетно возьми то, что сокрыто внутри его».

Гафур-бек уже извлек из-под халата древнюю суфийскую рукопись, полученную от горного дервиша, и нараспев начал произносить могущественное заклинание. Когда он прочитал его первый раз, крышка ларца сама собой раскрылась, и мы увидели в голубом свечении на дне еще более древнюю рукопись, скорее всего, начертанную на тонкой белой коже, напоминавшей по виду мастерски выделанную замшу. После второго прочтения священного заклинания дрогнули тяжелые губы исполина, и мерзкое, отравляющее ум и леденящее сердце утробное дыхание коснулось нас. Но, казалось, Гафур был настолько беспредельно заворожен стремлением обладания мистическими тайнами, что не замечал этого жуткого смрада и спешил прочесть заклинание в третий раз. Когда он произнес последнее магическое слово, распахнулись огромные изумрудного цвета глаза страшного исполина. И взгляд их был настолько ужасен, что Курбан не удержал горящий факел, схватился обеими руками за горло и вдруг пал бездыханным у подножия трона. Гафур же продолжал продвигаться вперед и, ловко перебросив факел в левую руку, правой потянулся стремительно за древним свитком. Но едва он прикоснулся к нему, тяжелая крышка ларца коварно упала и намертво прищемила его кисть.

– Ты обманул меня, – вытерпев ужасную боль в раздробленной руке, спокойно вымолвил Гафур. – Аллах наказал меня за безрассудное желание. Но я умру как воин. – И левой рукой он с силой вонзил пылающий факел сначала в один, а потом в другой глаз исполина. Сладко-мертвенный запах паленой кожи и иссохшей плоти был невыносим. Бледное лицо Гафура покрылось крупными каплями ледяного пота, но он собрал свои последние силы и вогнал шипящий факел до основания в губы подземного гиганта. Внезапно у того дрогнули колени, и заветный ларец упал наземь, увлекая за собой обессиленного Гафура. Я бросился вперед в надежде, что смогу помочь несчастному освободиться от ужасного зажима, даже если мне придется отрубить ему кисть руки. Но тут исполин поднялся на ноги

и, черпающим движением гигантской руки подхватив Гафура, оторвал ему голову. Затем он размеренным широким шагом направился ко мне.

– Господи, спаси и сохрани, – прошептал я про себя, отступая вглубь галереи, по которой в мир смерти привела нас жажда опасных приключений. Я опустил руку в проем халата и извлек гранату. Внезапное спокойствие, именно спокойствие, но никак не оцепенение, охватило мою душу. Я, пятясь назад, ушел в сень галереи и хладнокровно метнув гранату в ужасного преследователя, резво помчался по узкому коридору. Огонь факела неистовствовал в моей руке, но, к счастью, не затух. Когда прогремел взрыв, я плашмя бросился на вытертые сырые плиты. Что-то очень горячее упало мне на руку, прожигая кожу даже сквозь простеганную материю. Я приподнял чуть факел и вздрогнул – это была оторванная осколком губа властелина тайны тайн.

Когда я с трудом вылез через отверстие в колонне и обессиленно рухнул в крепкие руки Ахмата, с моей головы скатился тельпек, и Ахмат удивленно воскликнул:

– Господин, ваша голова стала белее горного снега.

Я взглянул в его широко раскрытые глаза, и он отвел свой всегда прямой взор. Затем он тихо спросил меня:

– Они погибли?

– Да, Ахмат, они навсегда остались в логове смерти.

Через полчаса мы молча скакали по извилистой ленте Фирюзинской дороги. В селении курдов мы спешили у дома Аббаса. Хозяин пристально посмотрел на нас, махнул рукой вышедшему с винтовкой сыну и повел нас на веранду, где слуги бесшумно и быстро приготовили угощение. Ради приличия Аббас посидел с нами несколько минут и, видя наше состояние, извинился и покинул веранду. Я без утайки подробно поведал Ахмату обо всем, что произошло в мрачном подземелье Нисы. Он беспристрастно выслушал мой подробный рассказ, прикрыл ставшие влажными глаза ладонями, чуть помедлил и вымолвил печально сухими от горя губами:

– Господин, теперь наши пути расходятся. Быть может, Аллах всемогущий и дарует нам новую встречу, но это случится не в земной жизни.

– Что ты задумал, Ахмат?

– Никто не должен из живущих в нашем мире найти эту проклятую магическую книгу. Я уничтожу ее. Прощай, господин.

И Ахмат легко поднялся с ковра, приложил руку к груди и склонился в прощальном поклоне.

Появившийся вскоре Аббас ни о чем не спросил меня, плеснул в пиалы терпкого зеленого чая, сделал медленный глоток и сказал:

– Пришла весть о смерти этой злобной твари Джунаид-хана. Кто освободил землю от этого смердящего пса?

– Ахмат.

Вечером того же дня я вернулся в Ашхабад и остановился в чайхане Керима. Когда он увидел мои совершенно седые волосы, то сочувственно покачал головой и твердо поставил передо мной серебряный сосуд с приносящим забвенье насваем. Помедлил и неожиданно предложил водки, но я отказался. Навеванные дурманящим снадобьем причудливые сны совсем не были безмятежны, – даже в них появлялась жуткая исполинская тень, которая внезапно расплывалась и рассыпалась вдруг на серовато-грязные клочья.

Однажды я спросил Керима, нет ли вестей от Ахмата. Керим прищурил глаза, помедлил с ответом:

– Он был здесь, но велел тебя не беспокоить. Ахмат сейчас в Нисе. Будем ждать от него вести, господин.

Спустя несколько дней Керим молча передал мне свежий выпуск газеты «Звезда Востока» и удалился обслужить посетителей чайханы. В номере корреспондент, только что вернувшийся с раскопок в Старой Нисе, эмоционально сообщал читателям, что археологи совсем неожиданно для самих себя натолкнулись на подземную галерею, в которой обнаружили изготовленную из металла шкатулку, несомненно, ритуального назначения. Внезапно начавшееся землетрясение заставило исследователей поспешно покинуть подземелье, а когда сильные подземные толчки утихли, оказалось, что обвалилась стена хум-ханы и напрочь засыпала трещину. Последующие интенсивные трехдневные поиски галереи с массовым привлечением красноармейцев и местных колхозников положительных результатов не дали.

При попытке открыть шкатулку была, к сожалению, повреждена уникальной работы крышка. И именно в этот момент произошло странное событие: новый рабочий экспедиции Ахмат Байрамов, видимо, из религиозных фанатических чувств, выхватил из шкатулки хранившуюся там древнюю рукопись и швырнул прямо в пламя костра. Скрываясь от разгневанных участников экспедиции, Байрамов под стенами крепости угодил в змеиное гнездо и скоропостижно скончался от смертельного укуса огромной кобры. Ученые предполагают, писал корреспондент, что в шкатулке хранилась сокровенная реликвия парфянских царей, содержание которой могло бы пролить свет на многие малоизвестные страницы истории Средней Азии.

Я еще раз перечитал заметку и мысленно простился с храбрецом Ахматом. Вернувшийся Керим вздохнул и тихо дополнил прочитанное мной:

– Когда древний свиток был охвачен языками безжалостного огня, кое-кто увидел, как в огненном столпе возникла темная исполинская тень. Убайдулла даже уверяет, что она подхватила рукопись и исчезла с ней с быстротой пустынного ветра. Но Убайдулла – известный выдумщик.

Теперь в снах меня постоянно посещает Гафур-бек и умоляет отыскать магическую книгу. Керим подобрал мне двух нукеров из остатка отряда Рахманкул-бая. Завтра, я так решил, мы едем в Старую Нису.

ТАЙНА ЩЕЛОКОВСКОГО ХУТОРА

Никогда, никогда не гуляйте поздними вечерами по Щелоковскому хутору. Вовсе не потому, что в лесной пугающей темноте можно внезапно натолкнуться на освещенную серебряным лунным светом поляну, на которой бледные призраки полицмейстера Махотина и купца Щелькова азартно сражаются в карточной игре за право вечного ночного владения мятыми ореховыми зарослями. Не напугает смелого и отчаянного любителя поздних таинственных прогулок и бородатая двухметровая ящерица, до самых морозов выползающая из прудов и пожирающая окрестных кошек и собак, на чьи обглоданные кости так часто натываются поздно гуляющие люди в заболоченных низинах. Ничего, кроме чувства гадливости, не вызовет и оранжевый двухголовый паук, плетущий в овраге за Кузнечихой такие источающие сладковатый яд крепкие сети, что из них нередко не в силах вырваться беспечные мелкие зверушки и доверчивые малолетние дети.

Нет, позднею порой следует опасаться на Щелоковском хуторе совсем иного. Когда тусклый и мертвенный диск луны уже не заглядывает в сонные папортниковые лощины, из их мрака исторгается нечто плохо поддающееся каким-либо описаниям или сравнениям. Вначале вы кожей спины ощущаете какой-то едва уловимый шорох и слабый тухловатый ветерок, затем чувствуете, как в области желудка наступательно появляется то неприятное состояние, что иногда характеризуется довольно просто – «со-сет», а потом вдруг вспышка дикого безудержного страха парализует все ваши члены и смрадное дыхание смерти порождает бешеное сердцебиение и кошмарное удушье. Чаще всего повстречавшийся с этим истинным ужасом Щелоковского хутора умирает уже у себя дома в постели, и диагноз, который обычно устанавливают врачи-реалисты, – внезапные обширные инфаркт и инсульт.

Теплыми осенними вечерами раньше и я любил пройтись по тенистым аллеям заповедного лесного уголка, помечтать над тихой гладью живописного пруда. Однажды у родника я повстречал средних лет мужчину, который с мощным немецким фонарем осторожно прогуливался влажной низиной. Уж не помню, что толкнуло меня завязать с ним разговор, который вначале не клеился, а потом неожиданно пошел сам собою. Михаил Михайлович, так звали моего собеседника, при расставании неожиданно сказал:

– А вы обратили внимание, что в лесу исчезли белки? Эти милые зверушки обитают только там, где непреходяще состояние полного покоя. Кстати, и лоси тоже ушли: они предпочитают разгуливать по кладбищу, нежели в этом (и он особо выделил голосом – «этом») лесу. А каковы причины? Но уже поздно...

И здесь мой собеседник, вдруг сильно содрогнувшись всем телом, спросил меня зловещим шепотом:

– Неужели вы ничего не ощущаете здесь необычного?

Прошло два выходных дня, и в понедельник я как обычно опаздывал на работу и решил немного сократить путь, проскочив через квартал-новостройку. В одном из дворов я и столкнулся с похоронной процессией. В открытом гробу лежал, смежив очи, мой недавний вечерний собеседник. Я вспомнил сразу его достаточно крепкий и здоровый вид и подумал, как порой обманчива бывает внешность.

– Внезапный обширный инфаркт, – пояснил стоявший рядом со мной старик. – Представьте себе, погулял на Щелоковском хуторе, пришел домой и мгновенно умер. У нас только во дворе это четвертый случай за месяц. Возвращаются с вечерней прогулки и бац! – тут как тут старая с косою.

– А всего-то сколько так померло, и не счесть, – добавила неопрятная бабулька из числа тех, что ходят на все поминки. – Наштаются, набродятся по оврагам до одурения. Чего им на балконах-то не сидится.

– Частники-то у хутора дома продают, говорят, задешево, – включился в разговор словоохотливый мужичишка. – Нечисто там.

Этим же вечером я отправился на лесные овраги: миновал спортивную базу, прошел узкой тропкой по скосу холма, свернул к лодочной станции и углубился в чащу. Внезапно мне почудилось, что за мной кто-то пристально наблюдает из-за лениво шевелящихся высоких кустов. Мне стало очень страшно, как говорится, мороз пробежал между лопатками, и я стал медленно отступать спиной к музею деревянной архитектуры. Уже оказавшись возле высокого дощатого забора, вытер носовым платком струившийся по шее и лицу обильный липкий пот. Затем, почувствовав сильный приступ противной дурноты, быстро вытащил из кармана куртки упаковку валидола. Стало гораздо легче и спокойнее.

Но сотни и даже тысячи невидимых хищных глаз были где-то рядом, миллионы незримых скользких щупалец тянулись ко мне отовсюду. Я вскрикнул и побежал в сторону автомобильной дороги. По обеим сторонам, настигая меня, но не приближаясь вплотную, мерно качались густо-фиолетовые тени. От быстрого бега и приступов сладковато-мертвящего удушья у меня начала кружиться голова.

Но мне повезло: я добежал до дороги, по которой ехала светлая легковушка, рухнул на асфальт и потерял сознание.

Спустя два месяца я выписался из клиники, где кардиологи сотворили с моим сердцем настоящее чудо. Мне прописали ежедневные неторопливые прогулки где-нибудь в парке или в лесу, а лечащий врач, поглядев на мой адрес в медицинской карте, воскликнул:

– Вам повезло – под боком Щелоковский хутор.

Да, кошмарное не всегда отвращает, а, наоборот, даже притягивает. Я лежу на диване, а за окном плавают звуки погребального марша: хоронят очередного любителя вечерних прогулок по запутанным тропам Щелоковского хутора.

Владимир НОВИКОВ

Родился в 1991 году в Ростове-на-Дону. Окончил Сочинский государственный университет по специальности «русская филология».

Финалист VIII международного мультимедийного фестиваля «Живое слово» в номинации «Живые истории», а также победитель этого же фестиваля в номинации «Лучший рассказчик». Лауреат международного литературного конкурса «Лохматый друг».

Живет в Сочи.

НЕИСПРАВИМЫЙ

Наглое лицо, светлая, нет, белая славянская кожа, высокий чистый лоб, серые холодные глаза, шрам на левой щеке, упрямый подбородок, тонкие губы, то и дело образующие такую же тонкую щель, чтобы со свистом набрать воздух и стрельнуть слюной в сторону; капюшон, скрывающий темно-русый ежик, сжатые сухие кулаки с окровавленными костяшками, которые уже прижег жгучий холод, теплая темно-синяя куртка известной спортивной марки, зимние кроссовки той же фирмы и светлые джинсы.

Несмотря на холод, руки было тяжело спрятать в карманы – локти начинали дрожать; а разжать кулаки – затрясутся пальцы. Вадим боялся. Боялся как никогда в жизни. И хоть его лицо ни на секунду не теряло своего наглого, уверенного выражения, внутри его трясло, словно зима пробралась и к нему в душу. Он шел по засыпанному грязным снегом двору вдоль отопительных труб, с которых клочьями свисала желтая стекловата. Тощая серая собака лежала, прижавшись спиной к трубе, на освобожденном от снега пятачке земли и печально смотрела на Вадима. Не обратив на нее внимания, парень прошагал дальше, в сторону полуразвалившегося снеговика, который глядел на него пластмассовым взглядом своих глаз, видимо, позаимствованных у пивных бутылок. Дальше, дальше, дальше. Мимо убогих железных конструкций, претендующих на звание детской площадки, мимо обломанной по краям скамейки, вперед к старому панельному десятиэтажному дому с полуслепыми окнами.

Вадим остановился у подъезда и посмотрел вверх. Ранний вечер начал вступать в свои права.

Нужное окно сияло оранжевым светом. Парень запустил руку в карман, надеясь там обнаружить пачку «Мальборо», но вспомнил, что выкинул пустую пачку на снег еще в предыдущем дворе.

Плохо.

Может, уйти? Вадим сплюнул в сторону и дернулся, услышав, как запищал домофон – дверь подъезда открылась.

– Вы заходите? – услужливо спросила молодая женщина, все еще придерживая дверь.

– Да, спасибо, – Вадим, наклонив голову, перенял тяжесть двери на себя и, с опаской посмотрев женщине вслед, зашел в подъезд.

Возвращаться уже глупо. Надо идти. Может, посчитать ступеньки? До третьего этажа их так ничтожно мало! Цой жив, Катя дура, Миша Игнатьев был тут, воры должны жить – все это Вадим узнал, поднимаясь по замызганным лестничным пролетам; он остановился у зеленой двери с пыльным глазком и, отключив лишние мысли, надавил на старый черно-белый звонок.

Тишина. Шаги. Низкий немолодой бас:

– Кто?

– Клим Валерьевич, у вас не будет немного сахара?

– А, Николай, ты, что ли?

Ключ повернулся в замке, медленно отворилась дверь. В дверном проеме показался невысокий, широкоплечий старик. Вадим позволил удивлению лишь на секунду отразиться в бледно-голубых с желтыми завихрениями глазах старика и со всего размаху ударил его по лицу кулаком. Беззвучно старик упал на пол. Вадим зашел в квартиру, прикрыл дверь, хладнокровно отодвинув ногу старика в сторону, и прошел в единственную комнату квартиры.

Старый диван с торчащими пружинами, продавленное узкое кресло, ковер на стене, недавно купленный телевизор, подчеркивающий своей современностью убогую обстановку комнаты, складной стол с облупившимся лаковым покрытием и предмет, моментально притянувший взор Вадима, – темно-коричневый сервант с четырьмя дверцами и множеством ящичков. Парень подлетел к серванту, открыл стеклянные дверцы и запустил руку внутрь. Белая, жесткая кисть сбила пару хрустальных стаканов и один фужер с золотистой каймой, задела черно-белую фотографию молодой черноволосой женщины с загадкой в глазах, уронила икону, изображавшую Иисуса с распростёртыми руками, будто готового принять тебя в свои объятия, и наконец достигла цели. Вадим схватил рукой деревянную шкатулку, вынул из нее две медали, засунул их в карман и бросился прочь из комнаты.

В коридоре ему пришлось еще раз переступить через старика. Или через труп? Вадим замер перед дверью, пытаюсь понять, жив ли хозяин квартиры. Сердце бешено колотилось в груди. Сколько он здесь находится? Пять минут? Или полчаса? Долгие десять секунд он всматривался в изрезанное морщинами лицо (боже, какой он старый!), как вдруг глаза старика открылись и он, захрипев, ухватил парня за лодыжку. Ноги подкосились от страха. Вадим отшвырнул руку старика своей ногой и встретился с ним взглядом. Старик делал попытки встать. Лежа на боку, он оперся правой рукой об пол и поднял голову. Из крупного носа сочилась кровь, под глазом краснела ссадина, а его светло-голубые с желтыми разводами глаза взглянули на Вадима с такой грустью и смиренным, что парень чуть ли не рухнул на колени. С трудом подавив в груди вопль невыносимого стыда, Вадим распахнул дверь, выскочил в подъезд и, захлопнув ее, стремительно спустился вниз. На улицу, под открытое небо, подальше от дома, вперед, мимо качелей, снеговика, спящей собаки. Вадим остановился, задыхаясь, когда его отделяло от места преступления три двора. Найдя сугроб почище, парень взял пригоршню снега и умылся.

«Всё. Остается найти Степу, и можно домой».

Следующим вечером Вадим вновь брел через дворы мрачных хрущевок. Было очень холодно. Карманы Вадима, освободившиеся вчера от тяжелой ноши, грели его руки. Парень чувствовал себя неважно. Беспокоила предстоящая встреча и нехватка никотина. За весь день Вадим выкурил всего одну сигарету, которую он стрельнул утром у соседа. Хотелось есть. Давили проблемы.

Вадим углубился в лабиринт некрашенных гаражей и, проскочив через очередную улицу, оказался в нужном ему дворе. В дальнем углу, под елью, на спинке лавочки сидели пятеро молодых парней. Как одинаковые трубы промышленной фабрики, каждый из них равномерно выпускал в воздух густую смесь табачного дыма и морозного пара. Вадим подошел к лавочке, несколько секунд он вглядывался в дутые спины, а потом негромко позвал:

– Сизый, я пришел.

Пять красных огней, явно предупреждающих об опасности (или несущих ее?), резко возникли перед Вадимом.

– Принес? – раздался растянутый наглый голос.

– Да.

Пятерка поднялась с лавочки и на первый взгляд хаотично расположилась вокруг Вадима. Прямо перед собой он видел грубое, некрасивое лицо Сизого. Потрескавшиеся полные губы, огромный шмыгающий нос, разбросанные по краям лица глаза и самое неприятное – улыбка-инвалид с черной дырой меж обступивших ее желто-коричневых зубов. Едва сдерживая отвращение, Вадим протянул Сизому сложенные купюры, которые он «заработал» накануне. Медленно, зачем-то чавкая пережеванной слюной, Сизый пересчитал деньги.

– Здесь не всё, – медленно протянул он.

– Да, я знаю. У меня сегодня больше нет. Я завтра смогу...

– Слышь, Вадик, – Сизый спрятал деньги в карман и вплотную приблизился к парню, – у тебя было время. Почему ты не отдаешь весь долг?

Он подошел к Вадиму так близко, что тот смог разглядеть мельчайшие детали мерзкого рта.

– Я же сказал тебе, – Вадим почувствовал, как страх пробивается сквозь маску спокойствия, – я не смог достать больше. Но завтра деньги будут у тебя.

– Естественно, будут, – необычно тихо шепнул Сизый, и Вадим заметил осторожное движение справа. – Ты вроде в школе хорошо учился, легко понимал уроки. Думаю, выучишь и этот.

И Сизый с силой ударил Вадима головой по лицу. Вадим пошатнулся, сделав пару шагов назад. Рефлекс, воспитанный строгой мачехой, сработал мгновенно. Парень встал в стойку, нашел глазами противника, вычислил незащищенные места и... с криком рухнул на снег. Один из дружков Сизого чем-то металлическим (куском арматуры?) нанес удар в правое колено парня. Барахтаясь в холодном снегу, Вадим попытался встать, но чья-то нога, вооруженная тяжелым зимним ботинком, бухнула его по лицу, заставив перевернуться на спину. А потом несколько пар ног обрушили свои тяжелые удары на тело парня. Сжавшись, Вадим обхватил руками голову, оставив ребра, грудь и бока незащищенными.

Удар – воздух выгнан из легких.

Удар – почки сдавило невидимыми клещами.

Удар – жутко заныли ребра.

Все мысли были выгнаны из головы. Боль вспыхивала в разных местах, накатывала волнами. Боль и холод. Холод и боль. Ну, еще немного хотелось есть.

– Эй! – вдруг раздался гневный окрик. – Пошли вон, шакалы! Вы что творите? Я стрелять буду!

Количество бьющих ног сократилось вдвое.

– Сизый, у него и вправду ружье! – испуганно задыхаясь, сказал один из его дружков.

Карающих ног стало еще меньше.

– Валим!

– Оставь его!

– Пошли!

Сизый злобно обернулся, еще раз ударил Вадима в грудь и бросился бежать вместе со всей компанией.

Скорчившись, Вадим продолжал лежать на земле. Снег был колючим и рыхлым. Руки покраснели и болели от холода. Болело тело. С лица капала кровь. Словно озвучивая старый советский фильм, громко закрипел снег. Тяжелые шаги остановились возле Вадима, и прозвучал низкий бас:

– За что это они тебя так? Пятеро на одного. Шакалы!

Вадим сделал попытку встать. Он перевернулся на бок и, опершись правой рукой о землю, поднял голову. В темноте он смог разглядеть лишь силуэт своего спасителя. Коренастый и широкоплечий, в руках палка (у страха глаза велики), рядом на снегу пакет из супермаркета.

– Хватит лежать на снегу. Давай, я помогу.

Мужчина положил палку и нагнулся к Вадиму. Крепко схватив парня за подмышки, он мощным рывком поставил Вадима на ноги. Сделав упор на здоровую ногу, парень кое-как отряхнулся, взглянул в лицо своему Иешуа и, вскрикнув, вновь повалился в снег.

– Эй, ты чего? Нога болит? Сломали что ли, гаденыши?

Вадим лежал, закрыв глаза. Фонарь стоял далеко, но в этой негустой темноте он смог разглядеть сразившее его страшнее, чем удар арматурой, лицо. Лицо с глубокими морщинами, крупным носом и желто-голубыми глазами.

– Очень смешно, – распахнув глаза, сказал Вадим в небо.

Его вновь подхватили крепкие руки и поставили на ноги.

– Что смешно? – спросил Клим Валерьевич. – Пойдем, я тут недалеко живу, подлатаем тебя.

Кровь застыла, со скрипом пытаюсь протолкнуться в сердце.

– Нет. Не надо. Я тоже живу недалеко.

Вернуться в тот дом?! Лучше помереть здесь, на снегу.

– Где ты живешь?

Вадим промолчал, стараясь не смотреть на старика.

– Ты лицо видел свое? Тебя родные не узнают. Пойдем, приведем тебя в порядок, и отправишься домой. Скорую я вызывать не буду. Ты парень крепкий. Вроде.

Старик взял Вадима под руку, другой подхватил пакет и палку и потащил парня к выходу со двора. Сопротивляться со (не дай бог) сломанной ногой и сломанным (это уж точно) разумом было сложно. Вадим тяжело хромал. Одной рукой он все вытирал с лица кровь. Он решил оставить старика в следующем дворе, сославшись на свою самостоятельность, но когда они подошли к переулку, разделяющему дворы, и парень в оранжевом свете фонаря с такой отчетливостью увидел лицо старика, язык примерз к нёбу, и Вадим промолчал.

Ключья желтой стекловаты, два нелепых снежных кома, уродливые качели и дом. Дом, в который Вадим зарекся возвращаться после вчерашнего. Запищал домофон, пахнуло подъездным духом, застучали ноги, сбивая

снег с подошв. Зеленая дверь, узкий коридор, комната, от которой Вадима замутило, и тесная кухня, где он устало плюхнулся на стул.

– Сейчас я тебе бадягу заварю, лицо намажешь, – произнес старик, бегая по кухне. – И закатай штанину, посмотрим, что с ногой.

Вадиму стало очень жарко. Он скинул куртку – не помогло. Парень закатал штанину, явив свету раздетой лампочки фиолетово-багровый синяк на колене.

– Та-ак, – внимательно осматривая колено, протянул старик, – это не смертельно. Дам лед, приложишь.

Клим Валерьевич вынул из морозилки бледно-розовый окорочок в пакете и кинул его Вадиму. Парень поймал и приложил куриную ногу к своей. Спустя десять минут лицо Вадима позеленело от нанесенной на него бадяги. Парень так и не увидел ссадины и опухлости своего пострадавшего лица. Теперь их скрыла бадяга. Старик наконец закончил хлопоты и, усевшись напротив запрокинувшего голову и держащего окорочок Вадима, пододвинул ему чашку дымящегося чая и тарелку со скромными бутербродами (куски белого хлеба, накрытые докторской колбасой) и заговорил:

– Давненько я подобного не видал. Слышал, конечно, что молодежь у нас буйная, но, – Клим Валерьевич глотнул чай из своей кружки, – никогда не видел ее, так сказать, в действии.

Помолчали.

– Что же они от тебя хотели?

– Не знаю. Первый раз их видел. Денег, наверное. Гопники они, – дрожащий голос выбрасывал короткие порции фраз.

– Люди всегда были готовы убить за монету, – произнес старик. – Жалко мне таких людей. И жертв их жалко, хотя не так сильно.

Какое мучение сидеть и слушать этот глубокий низкий голос!

– Я, конечно, много ужасов повидал в своей жизни, – продолжал Клим Валерьевич, – может, ты уже заметил, я войну прошел. И всяких людей видел. Плохих и честных, трусливых и сильных, жадных и умных.

Вадим несмело повернулся на стуле.

– Знаешь, какие скрытые стороны души проявляются на войне? Во мне, например, раскрылась жалость, истинно русское чувство, – старик облокотился о спинку стула, его глаза слегка остекленели, и Вадим понял, что за этим последует военная байка.

– Помню, во время обороны Сталинграда – я служил тогда в тринадцатой стрелковой дивизии – лежал я в поле и высматривал противника. Долго лежал. Наконец показались немцы, я прицел навел, и, знаешь, такое странное чувство появилось... Тяжело быть снайпером. Вижу человека, немца, конечно – но человека же! Знаю, что он через секунду умрет, понимаю, что он молод, что жизнь у него только собиралась начаться!

Старик потер широкой ладонью морщинистый лоб и продолжил:

– Лицо его разглядел тогда. Одно слово – фанатик. До того предан своей идее, что жалко его сильнее, чем если бы он был просто откровенно по-мальчишески напуган. Но жалость не останавливала тогда никого. Секунда – и он был мертв.

Клим Валерьевич словно смутился и сказал:

– Надеюсь, ты понимаешь меня. Я вижу, жизнь тебя тоже не щадила. Таким, как ты, часто тяжело приходится. Главное для тебя – не прогнуться и не опуститься до самого низа.

Вадим тяжело задышал, и воздух, проникая в его израненные никотином легкие, издавал легкий хрип. Клим Валерьевич же вдруг поднялся на ноги.

– Иди в ванную, смой бадягу, – сказал он, – а потом я тебе кое-что покажу.

Вадим надеялся, что холодная вода немного успокоит его и приведет в чувство, но умываться было все равно что мыть снегом кусок льда. Все еще нервно дрожа, Вадим вернулся на кухню, аккуратно ощупывая израненное лицо. Кухня была пуста. Лишь продолжали дышать паром пустые кружки, стоящие рядом с голой тарелкой из-под бутербродов. Заслышав негромкий шум в комнате, Вадим вздрогнул. Душа нервно заметалась в груди парня, словно ища выход.

Нужно идти в комнату.

Вадим внезапно подумал о раскаянии, и ему на мгновение стало невообразимо легко.

– Заходи, заходи, – Клим Валерьевич стоял возле распахнутых стеклянных дверей серванта.

Вадим аккуратно прошел в комнату и заглянул в сервант. Бокалы вновь стояли на месте. Фотография женщины теперь выдвинулась чуть вперед, одной стороной она прислонилась к стакану, другой – к иконе.

– Моя жена, – сказал старик, указав рукой на фотографию. – Умерла два года назад.

– Мне жаль, – хрипло выдавил Вадим.

– Ее любимая икона. Она такой религиозной стала под конец жизни. Я к Богу всегда равнодушно относился, но в память о жене икону оставил.

Смиренно-умиротворенное лицо Спасителя призывало Вадима раскрыть свои уста и признаться в содеянном. Парень с трудом перевел взгляд на фотографию, и загадка в глазах красивой жены Клима Валерьевича сменилась укоризной.

– У меня недавно медали пропали, – вдруг так просто сказал старик, и душа Вадима заледенела. – Но я воров не корю. Как сказала бы моя жена: «Бог им судья», – старик вынул из-за иконы деревянную шкатулку и продемонстрировал ее пустоту. – Но самое главное, что не нашли они мое важнейшее сокровище.

Клим Валерьевич наклонился и открыл нижний ящичек серванта. Порывшись в нем, он вынул некий предмет, спрятанный в небольшую темно-синюю тряпочку. Темно-синее одеяние спало, и Вадим увидел гладкую желтую медаль с дугообразной надписью: «За оборону Сталинграда».

– Вот, – гордо улыбнулся ветеран. – Смотрю на этот латунный кругляшек, и гордость оживляет мое старое тело.

Лицо старика просветлело, и желтые потоки закружились в голубом море.

– Жены нет, друзья мертвы, внуки далеко, но мне радостно от одной только мысли, что я могу достать эту медаль и просто полюбоваться на нее. Хоть и не хочется вспоминать все те ужасы, за которые она мне досталась.

Сжатая душа Вадима радостно распрямляла свои стянутые члены. Как и вчера, парню захотелось броситься перед ветераном на колени, зарыдать и попросить прощения.

Прошлого не воротить, но ведь у старика осталась еще радость, которая будет продолжать греть его гордое сердце до конца жизни.

Клим Валерьевич положил медаль между фотографией жены и иконой, повел рукой в сторону кухни и вышел. Вадиму понадобилось еще около пяти секунд, чтобы сдвинуться с места. Оросятся ли его сухие бледные щеки слезами, которые не текли из его глаз уже много-много лет?

Парень зашел на кухню, когда Клим Валерьевич возвращал морщинистую куриную ногу в морозилку.

– Спасибо вам за все, – глухо произнес Вадим.

Старик выпрямился.

– И за сегодняшнее, и за тогдашнее.

Вадим надел куртку и вышел в коридор. Старик следовал за ним. Обувшись, парень в последний раз взглянул в двуцветные глаза ветерана, и его сердце сдавило ледяными клешнями; бесформенный комок чувств с оголенными нервами рвался из груди наружу. Он подкатил к горлу, но не получив из мозга речевой оформленности, рухнул вниз, разодрав душу Вадима.

– До свидания.

– Пока. Удачи тебе.

На улице стало еще холоднее. Ломаный шаг Вадима то и дело переходил в однобокий бег; горло хрипело, морозный воздух ранил легкие парня; пальцы рук коряво шевелились, ловя одинокие снежинки. Из глаз потекли слезы, и короткий вопль отчаяния вырвался из груди Вадима, когда его правая рука нырнула в карман и нащупала там круглую, все еще теплую медаль «За оборону Сталинграда».

Александр МАРДАНЬ

Родился во Владивостоке в 1956 году. Окончил Одесский институт инженеров морского флота. Работал в системе Минфлота СССР.

Писатель, драматург, сценарист, член Союза писателей Украины, Союза театральных деятелей Украины. Пьесы публиковались в журналах «Современная драматургия» и «Театр», спектакли по ним с успехом идут во многих городах России и других стран.

Живет в Одессе.

МЕНЮ

*Жизнь как меню – выбери что хочешь...Правда,
за все придется платить.*

Из разговора в трамвае

Константин Сергеевич не спешил. Спешить он не любил, помня высказывание Сократа: «Самое смешное на свете – вид спешащего». Стеснялся спешить. Да и некуда было. Как в романсе про ямщика, превысившего скорость. Вечер только начинался, а день, похожий на тысячи предшественников, закончился. Логично: если день не закончится, то и вечер не начнется. Логично с точки зрения астрономических наблюдений. А с точки зрения человеческой души – может и «дольше века длиться день». Роман с таким названием Константин Сергеевич читал лет двадцать назад. Содержания не запомнил, название не забыл, поэтому ставил умозрительную точку, отделяющую день от вечера.

Днем Константин Сергеевич работал. Работал не по специальности, как многие. И, как многие, работу эту не любил. Впрочем, и специальность свою он выбрал не по любви, а скорее по расчету родителей. Та, что ему нравилась, казалась им недоступной, а доступная оказалась неинтересной. Так часто бывает с профессиями и женами. Наверно, и с мужьями тоже.

Мужем Константин Сергеевич был почти четверть века, а потом, вырастив сына, разошлись. Она вышла замуж за чиновника средней руки. (Смешное определение. Ну где она, средняя рука, расположена?) А Константин Сергеевич остался один. Сын женился и уехал работать за границу. Писем не писал, иногда звонил по телефону. На день рождения присылал деньги, с инструкцией: «Папа, купи что хочешь». Добрый мальчик...

То, что Константин Сергеевич хотел, купить за эти деньги было нельзя. Впрочем, это вообще нельзя было купить за деньги. За любые. Например, Константин Сергеевич хотел, чтобы весна в этом году была теплой, а она была холодной. А поскольку лечиться, как и спешить, Константин Сергеевич не любил, то, выходя на улицу, обязательно обматывал шею черным

шерстяным шарфом, а под пиджак надевал тонкий кашемировый пуловер, согревающий его организм почти двадцать лет. Сверху – плащ на подстежке, с высоким воротником, который можно поднять при сильном ветре. В кармане плаща лежала вязаная шапочка на случай дождя. Конечно, если приходилось выходить в дождь, Константин Сергеевич брал зонт, хотя зонты не любил. Маленькие – за то, что плохо прячут от дождя, быстро ломаются и еще быстрее теряются. Большие не любил за то, что большие...

У черной, в тон шарфу, шапочки недостатков было меньше. Конечно, под проливным дождем долго сохранять волосы сухими она не могла, зато у нее было другое достоинство для вечерних прогулок. Надвинутая на брови, она придавала интеллигентному Константину Сергеевичу вид освободившегося братка из бандитского сериала... Выполняла отпугивающую функцию, как ядовитая окраска у насекомых.

Константин Сергеевич жил в центре большого приморского города, в старом фонде, как называют маклеры дома, построенные до той, настоящей, октябрьской по имени и ноябрьской по сути революции.

Парадная выходила во двор, не знавший ремонта все послереволюционные годы. Константин Сергеевич помнил, как ему и его сверстникам мешали играть в этом дворе художники, приходившие рисовать дворик – почему-то итальянский! – с висящим посреди него бельем и облупившимися стенами. Фауна двора была представлена в основном кошками, существующими не столько за счет охоты на грызунов, сколько на пенсию двух одиноких бабушек, подкармливавших их ежевечерне.

Квартира Константина Сергеевича находилась над полуподвалом. Не первый, но и не второй этаж звался прекрасным. «Бельэтаж» напоминал о безвозвратно ушедшем времени, в котором французские, а не английские слова селились в нашем языке.

Как-то зимой, уже в зрелые годы, воскресным утром, наступившим после затянувшегося празднования дня рождения, Константин Сергеевич проснулся и подошел к окну. Выпал долгожданный снег, и по нему радостно бегали кошки, за которыми гонялся сосед с первого этажа. «Странно, зачем они ему?» – подумал Константин Сергеевич, отходя от окна. Когда его взгляд прощался с жанровой картинкой, он отметил, что у кошек, у всех бегающих по двору кошек длинные, как у зайцев, уши. Не веря глазам своим, Константин Сергеевич прижался к стеклу, чтобы лучше рассмотреть мутантов... Рассмотрел. По двору бегали не кошки, а кролики... То есть белой горячки не было. А было тайное разведение четвероногих в дощатом сарайчике, пристроенном к квартире соседа. Наверное, их забыли закрыть или они что-то перегрызли...

Как давно это было? Лет двадцать, не меньше... Соседа уже десять лет нет. А носители ценного меха, как и все остальные съедобные представители фауны, перестали быть дефицитом. Сам дефицит стал дефицитом, практически исчезнув. Напарник Константина Сергеевича по нелюбимой работе любил повторять: «Сегодня в дефиците – только деньги». На что Константин Сергеевич добавлял: «Нет, не только. Еще совесть». Напарник вздыхал и соглашался. До следующего раза.

Дело было не в том, что Константин Сергеевич не любил деньги, как раз наоборот, а в том, что деньги не любили Константина Сергеевича и всячески уклонялись от встречи с ним. Совесть, напротив, не хотела его покидать, хотя много раз он на этом настаивал. Наверное, ей с ним было хорошо...

Одевшись, Константин Сергеевич вышел из дома, перешел улицу на зеленый сигнал светофора, прошел квартал и остановился у дверей недавно

открывшегося ресторана. Рядом со входом висело меню. Не доставая очки, прищурившись по-ленински, Константин Сергеевич начал внимательно его читать.

«Холодные закуски: килечка малосольная, тюлечка черноморская...» Уменьшительные суффиксы, наверно, усиливают выделение желудочного сока. Знал ли об этом физиолог Павлов? Хотя на собак это могло и не действовать, размышлял Константин Сергеевич.

«Ассорти сырное (Дор Блю, Камамбер, сырны «шнурки», Фета, Голландский, маслины...»). Покойная теща Константина Сергеевича помнила нэп, и названия «Рокфор» и «Камамбер» часто звучали в семье в те времена, когда в единственном в городе сыром магазине продавался единственный сорт сыра – «Костромской». Надо было два часа стоять в очереди. И больше килограмма в одни руки не давали. Жалко, не дожидая теща до второго пришествия «Камамбера». Да еще в такой компании.

«Грибы белые в чесночном маринаде».

Бабушка Константина Сергеевича, которая помнила не только нэп, но и дореволюционное детство, говорила: «Дешевле грибов» – когда хотела подчеркнуть, что дешевле некуда. Это удивляло Костю, потому что связка сухих грибов стоила на базаре безумных денег. Видимо, нагибаться за ними никто не хотел. А больше всего противился пионер Костя бабушкиной поговорке «Простота хуже воровства», объясняя ее заблуждение отсутствием комсомольской организации в гимназии, которую бабушка окончила с отличием в 16-м году.

Сегодня Константин Сергеевич уже не был столь категоричен в том, что чего лучше. «Оба хуже», – заочно примирялся он с бабушкой.

«Рыбная тарелка для гурманов (сельдь малосольная, картофель, скумбрия малосольная, масло слив., лук, зелень)». Оказывается, из слив тоже делают масло. Никогда не пробовал. Всё ты пробовал, отвечал Константин Сергеевич сам себе, – это же сливочное масло. Тогда, конечно, пробовал, – быстро согласился с собой Константин Сергеевич.

Все мы гурманы... Селедка с картошкой – кто же ее не любит? Каждый помнит воскресные семейные завтраки, никто никуда не спешит, все выпались, впереди выходной, настроение хорошее, и на столе, кроме прочего, селедка с картошкой, как правило, в мундирах. Маленький Костя говорил: «Хочу картошку в командирах». Эта фраза прижилась, и мама спрашивала: «Тебе пюре или "в командирах"? Но чистить будешь сам».

«В командирах», – всегда отвечал Костя. Он любил обмакивать еще горячую картофелину в так вкусно пахнущее жареное подсолнечное масло и, не в обиду селедке, посыпать крупной солью. Теперь все знают, что жареное масло вредно, а соль... И того хуже.

«Икра красная – 50 гр». Свободно. И не дорого, думал Константин Сергеевич. Чуть дороже селедки. А было время – все застолья делились на два категории: с икрой и без икры. Когда с икрой, то, как правило, по бутерброду на нос, а сейчас – как селедка...

«Салат "Лолита" (ветчина, помидор, яйцо, креветки, курага, майонез, сметана)». Интересное сочетание. Креветки-нимфетки.

Он читал этот роман еще в самиздате, перепечатанный на машинке и до Константина Сергеевича прошедший сотни рук и глаз. В то время роман считался порнографическим, а теперь это классика. Интересно. Почему салат «Лолита» есть, а салата «Гумберт» нет?

Правда, есть «Мужской каприз» (сыр сулугуни, куриное мясо, помидоры, огурцы, сельдерей, зелень). В чем «каприз» – каприччио по-итальянски? В сельдерее? Главное – не перепутать каприччио с карпаччо, а их

обоих – с гаспаччо. Это все равно что перепутать Венецию с Винницей – сам себя рассмешил Константин Сергеевич.

«Рапаны в сметане». Рапаны – это содержимое красивых ракушек, которые прикладывают к уху, чтобы услышать шум моря. Летом крымчане набивают ими морозилки, как сибиряки – пельменями, а зимой употребляют.

Рапаны – это Крым. Константин Сергеевич вспомнил город-городок с маленькими, карабкающимися на вершину холма беленькими домиками и зеленое, пронзительно зеленое, как глаза той женщины, море. Три недели они прожили в одном из таких домиков, не отрывая друг от друга глаз и рук. И казалось, что так будет всегда. Один раз они гуляли, держась за руки, попали под ливень и, не разжимая рук, прибежали домой, промокнув до нитки.

Дальше... Дальше было всё... и ничего. Ничего, потому что сын был маленьким и жену было жалко.

Ничего, потому что казалось, что на вопрос «или – или» можно ответить «и – и». Казалось. Она ждала его семь лет, а потом вышла замуж, как позже выяснилось, за миллионера, и родила ему двух дочерей в Австралии...

Вспоминает ли она тот крымский город-городок или не может забыть, как не могу я?

Хотя теперь у нас даже звезды разные, думал Константин Сергеевич. Надо мной Большая Медведица, над ней Южный Крест.

Креста Константин Сергеевич не носил, а в Бога верил. Чаше бывает наоборот.

В детстве его не крестили, а взрослым он считал, что Бог в сердце, то есть в душе, если в нее верить, а не в купели. Но это дело сугубо личное.

Рапаны в сметане... Сметана. Говорят, что нигде в мире ее не найдешь. Сливки, йогурт – пожалуйста, а сметаны нет. Редкое сочетание жирного, кислого и плотного. Главный признак подлинности продукта – ложка в сметане должна стоять.

Вот и «Борщ украинский со сметаной»...

Отец Константина Сергеевича любил борщ. Не московский, больше похожий на свекольник с капустой, а именно украинский – с помидорами, сладким, или, как его называют на юге, болгарским, перцем и чесноком.

Константин Сергеевич борща не любил. С детства. Из-за шкварок. В борщ бабушка обязательно добавляла растопленные на сковороде кусочки сала – шкварки, что делало его более сытным. Хотя варили борщ на мясном бульоне и сытности было хоть отбавляй. А заправляли шкварками по инерции, по опыту предвоенных, военных и послевоенных голодовок, когда о мясном бульоне мечтать не приходилось. Потом, после бабушки, борщ варили уже без шкварок, но Костя его по-прежнему не любил, тоже по инерции. А отец любил, вернувшись поздно из гостей, после всех угощений, съесть на кухне тарелку горячего борща и долго беседовать с Костей о своей неправильно прожитой жизни. Может, потому, что в гостях отец мало ел, но много пил.

А мама? Что она любила есть в молодости? Жаркое. Жаркое из баранины. С картошкой. Горячее, пока бараний жир не успел застыть. Интересно, есть у них в меню жаркое?

«Жаркое по-домашнему с лисичками». Нет, мама любила без лисичек. В войну их эвакуировали в Узбекистан, в небольшой городок. Дедушка ушел на фронт, бабушка Константина Сергеевича умерла в эвакуации, в сорок втором году, когда маме было двенадцать, практически от голода, а мама выжила, будучи полунянькой-полуучительницей детей заведующего городской столовой.

Она как-то рассказывала Косте про спектакль, который показывали в городке приехавшие из Ташкента актеры. Сюжет был незамысловат. Немцы схватили партизанку, и, как ни пытались, она не говорила, где скрываются ее товарищи. Тогда фашисты поставили на стол дымящийся казан и сказали: если выдашь, где партизаны, мы дадим тебе жареное мясо с картошкой.

Сидящие в зале зрители партизанами не были, но есть им хотелось не меньше героини. И каждый мог оценить подвиг отказавшейся от мяса с картошкой девушки.

Мама любила жаркое без лисичек. Откуда в Узбекистане лисички? Папа любил борщ со сметаной. Мама, папа. Анкета какая-то! У анкеты много общего с меню. А у меню – с анкетой. Хотя меню – оно, они, наверное, сестрички.

Анкет Константин Сергеевич не любил, как будто кто-то сквозь бумажку с вопросами простреливал его насквозь альфа- или гамма-частицами. Даже, казалось бы, приятный вопрос о дне рождения был дополнительным ориентиром для розыска среди тезок и однофамильцев. А уж вопросы про судимости и родственников за границей, участие и нахождение, исключения и сокрытие казались даже не враждебными, а угрожающими. Хотя скрывать особо было нечего, анкеты Константин Сергеевич не любил. А меню любил. Так бывает с сестрами, одну любишь, а другую ненавидишь. Сестер у Кости не было, как и братьев. Вроде как жилплощадь не позволяла.

У сына Константина Сергеевича тоже братьев и сестер нет. Жилплощадь. Универсальная причина.

Так, что у них на десерт? – еще сильнее прищурился Константин Сергеевич.

«Чернослив со сливками и грецкими орехами». Хорошо, что тут без сметаны обошлось.

«Крем из белого шоколада с фруктовой начинкой».

Начинка – ладно, а белый шоколад? Это почти безалкогольное пиво...

Меню закончилось. Пошли дальше.

Константин Сергеевич направился к перекрестку. Пройдя два квартала, он остановился у входа в ресторан французской кухни со скромным названием «Максим». Меню висело в стеклянном ящике и было подсвечено почему-то голубым фонариком. Его изучение Константин Сергеевич начал с супов.

«Буайабес» (суп из пяти видов рыбы и креветок с сырными гренками и соусом «Айоли»). Самое популярное блюдо в Марселе).

На память пришла старая псевдоблатная песенка:

А я теперь имею одну лишь в жизни цель,
Чтоб как-нибудь добраться в тот западный Марсель.
Там девки пляшут голые, там дамы в соболях,
Лакеи носят вина, а воры носят фрак.

Слава богу. Добрались все. Причем не выходя из собственных квартир. И девки пляшут. И воры в галстуках... И без галстуков.

Салат «Бон Фам» (нежный салат из корня сельдерея, заправленный соусом «Айоли»).

«Бон Фам» – в переводе с французского – хорошая женщина. А можно перевести и как добрая. Почему добрая? А наверно после эффекта, который производит на мужчину корень сельдерея. Ничего другого в голову не приходило.

Вообще так уж сложилось, что любимым собеседником Константина Сергеевича был он сам, и когда им удавалось прийти к согласию, ему было хорошо и спокойно. Но так случалось редко. «Бон Фам» – а где же ее найти? После развода желающих подать Константину Сергеевичу воду в трудную минуту было достаточно... Но пить из рук ровесниц не хотелось, а из тех, что хотелось... Ну, во-первых, деньги. Да и неинтересно было бы друг с другом. Тут сам с собой договориться не можешь, а с молоденькой дурочкой? Почему с дурочкой? Потому что умные давно замужем. Да и другое поколение, оно же действительно – другое.

Год назад Константин Сергеевич, вспомнив юношеские успехи в эпистолярном жанре, написал повесть. О прожитом времени. Назвал ее «Повесть о ненастоящем человеке» и отправил в Москву, в толстый, любимый с юных лет журнал. Не надеясь на ответ, хотел написать обратный адрес: «ул. Любая, 29», но потом подумал, а вдруг захотят напечатать? Зря. Ответ пришел через месяц. Начинался он так: «Уважаемый Константин Сергеевич. Ваша повесть проникнута желчным разочарованием незаслуженно обиженного жизнью совка...» Откуда ей знать: заслуженно, не заслуженно? Писала ему замредактора, судя по слогу – молодая женщина, выросшая в подлинно демократическом обществе. Бог с ней, с молодежью и с демократией, объявить которую намного легче, чем построить. Обойдемся без «Бон Фам».

«Фуа-гра с цукатами (один из самых известных деликатесов французской кухни)». А по-русски – жирная печень. Напарник по работе часто повторял: «Все, что есть в жизни хорошего, или преступно, или аморально, или ведет к ожирению». Хотя это многие повторяют, но они не правы. Разве преступно или аморально читать меню ресторанов, гуляя по вечернему городу? Не в окна же я заглядываю... Константин Сергеевич начал очередной спор с самим собой. Аморально. Потому что ты не собираешься заходить и заказывать. Да, но я же не сажусь за столик, читаю меню и ухожу. Так я их обижу, а так наоборот, они видят интерес. Не найду сегодня, найду завтра.

И завтра ты к ним не зайдешь. На завтра у тебя запланирован китайский, греческий и болгарский, а вчера ты стоял у чешского и ливанского. Ладно, примирительно сказал Константин Сергеевич сам себе. К ожирению это точно не ведет.

Не важно, что ублажать – хрусталик глаза, барабанные перепонки уха или пупыршки языка. Важно, как это делать...

На сегодня был запланирован еще японский ресторан, находившийся недалеко от входа в порт. Поздно, может, домой, на йогурт? Хотя сегодня я действительно проголодался и могу сварить вкусный грибной суп из концентрата, думал Константин Сергеевич, но ноги уже шагали по спуску. Сырая рыба, рис, водоросли, а такая популярность. В городе было уже пять японских ресторанов, и все полны посетителями. Интересно, что у каждого было свое меню с цветными картинками предлагаемых блюд. К портовскому «японцу» Константин Сергеевич приходил раз в две недели. Обычно ресторан и тротуар перед ним были ярко освещены, но сегодня лишь изнутри пробивались блики от стоящих на столах свечей. Наверное, электричество в доме отключили, подумал Константин Сергеевич. Да, при таком освещении креветки на картинках не рассмотреть и состав коктейля «Камикадзе» не прочитаешь, зря шел. Темно. Поздно. Иду йогурт пить.

Константин Сергеевич развернулся по направлению к дому. Навстречу шли двое коротко стриженных мужиков.

«Батя, сотку не разменяешь?» – спросил один из них, преграждая дорогу. Рука Константина Сергеевича потянулась в карман, за черной шапочкой, но было поздно. Действительно поздно... Совсем.

.....

Изменилось ли что-то? Для кого?

Для случайных прохожих, которые больше не встретят вечером мужчину в старомодном, с приподнятым воротником, плаще на подстежке?

Для посетителей ресторанов, которые больше не увидят сквозь стекло переминающегося с ноги на ногу человека, долго читающего меню, но так ничего и не выбравшего в этой жизни?

Вряд ли.

Дмитрий ВОРОНИН

Родился в 1961 году в Клайпедде (Литовская ССР). Сельский учитель. Автор трех сборников рассказов. Публиковался во многих журналах и прозаических сборниках.

Лауреат премии «Золотое перо Руси» и других международных конкурсов. Член Союза писателей России, Конгресса литераторов Украины. Живет в поселке Тишино Калининградская области.

ТАКСИ

– Иван, Иван, просыпайся, – тяжело наклонилась над постелью мужа Андреевна, – я те кашу приготовила, вставай, – дотронулась она до иссохшей руки мужа.

Иван никак не отреагировал на прикосновение жены. Он был мертв.

– Господи! – в страхе прикрыла беззубый рот полной ладонью Андреевна. – Иван, ты это что, умер? Не пугай меня так, Ваня.

Муж молчал.

Андреевна грузно опустилась на стул рядом с кроватью и мелко затрясла плечами. Глаза ее покраснели, и на дряблом бледном лице появились слезы.

– Что ж ты наделал, Иван! – растерянно заморгала Андреевна. – Что ж ты наделал!

Кончина Ивана не была уж такой неожиданностью для Андреевны. Муж давно и безнадежно болел, лежал в последнее время совсем беспомощный. Ни встать, ни сесть, лишнее слово и то с болью давалось. Но смерть такая штука, как ее не жди, как не готовься, а придет – не спросит, когда лучше.

– Как хоронить-то теперь тебя, Иван? – всхлипнула женщина, поправляя редкие седые волосы мужа.

Горестно покачав головой, Андреевна, кряхтя, поднялась со стула, вышла в прихожую, накинула на плечи телогрейку и, опираясь на палку, с оханьем, спустилась с крыльца.

– Ольга, – открыв дверь соседского дома, надрывно позвала она, – Ольга, поди сюда.

– Случилось что? – вышла к ней на зов такая же грузная старуха.

– Иван помер.

– Ань, да ты что! – ахнула подруга. – Когда?

– Не знаю, может, ночью, может, сейчас под утро. Подошла его завтраком покормить, а он не дышит.

– Горе-то какое, – запричитала Тимофеевна, – ой, горе, горе! Да ты сядь, Ань, – подвинула она Андреевне табуретку, – сядь.

– Чего делать-то, Оль? – заплакала Андреевна. – В голову ничего не идет.

– Ань, ты посиди тут-ка, – засуетилась Тимофеевна, – я сейчас оденусь да оббегу кой-кого. Ты успокойся. Сейчас я, – и вышла из кухни. – Я к Макаровне, к Наталье, – донеслось из глубины дома. – Надо в больницу, в собес сообщить, документы там оформить, справку о кончине, чтоб деньги на похороны. В сельсовет надо, к председателю. Ты не думай сама, мы все сделаем: и обмоем, и оденем, и дом приберем.

– Спасибо, Оль, – жалобно улыбнулась Андреевна.

– Да ты чего, спасибо, – отмахнулась уже одевшаяся Тимофеевна, – ты чего, благодарить? Такое дело благодарности не надобно. С каждым может, я ж понимаю. Мой когда помер, помнишь, что я могла? Так же было. Села и не встать, ноги на полдня отнялись. Ты ж и помогала тогда.

Андреевна, соглашаясь, обессиленно покачивала головой.

– Ты побудь пока у меня, я мигом, – направилась к двери подружка.

– Не, пойду я, как он там один? – попыталась встать Андреевна, но ноги не держали.

– Сиди уж, сейчас Наталью пришлю, две минуты, – засуетилась Тимофеевна и вдруг хлопнула себя по лбу. – Вот дура неумная, тебе ж успокоиться надо, а я квохчу, квохчу чегой-то.

Она достала из буфета пузырек, накапала из него в стакан и добавила воды. По кухне разошелся запах валерьяны.

– Выпей вот.

– Спасибо.

– А теперь давай-ка на диван пересядь, а я побегу.

В сутки выправили все документы на Ивана, а вот с деньгами загвоздка случилась.

– Нет денег, – заявили Андреевне в собесе.

– А что же мне? – опешила Андреевна

– Ну, не знаем, – безразлично пожали плечами расфуфыренные молодки, – с книжки снимайте.

– Да нет у меня книжки, еще в начале девяностых все деньги на ней погорели, – совсем растерялась Андреевна.

– Ну, тогда к родственникам, – отвернулись от нее девицы.

– И родственников нет, – еле слышно вымолвила вдова. – Далеко они, не приехать.

– Извините, ничем помочь не можем. Деньги будут, возможно, только недели через две, раньше никак.

– Я не могу столько ждать, мне завтра хоронить уже надо.

– А и не ждите, народ попросите, не нам вас учить. Вы извините, мамаша, но у нас очередь стоит, – указали собесовки на дверь.

В деревне Тимофеевна встретила подругу вопросом:

– Ну что, всё оформили?

– Справки все, а денег не дали, – удрученно ответила Андреевна.

– Как так?

– Говорят нету, через две недели только.

– Да что ж такое-то? – возмущенно всплеснула руками Тимофеевна. – А как хоронить, гроб как, поминки?

– Не знаю, – из глаз вдовы побежали слезы.

– «Такси», видать, придется заказывать, – хмуро вклинился в разговор кто-то из мужиков, пришедших проститься с Иваном.

– Ой, боженька ж ты мой! – схватившись за грудь, закричала Андреевна и обессиленно упала на колени.

Вокруг раздалась чертыханья мужиков и слезные бабьи причитания. Андреевну подняли с пола и уложили на диван.

– А что еще остается, коль денег не дали! В деревне тоже ни у кого нет, – вновь прозвучал тот же голос.

– Сволочи, довели до ручки, – полилось со всех сторон людское возмущение, – похоронить по-человечески и то невозможно. В войну так не было, уж на что бедно и голодно, но чтоб хоронить, «такси» брать...

– Вот так оно, жил человек, всю жизнь вкалывал до седьмого пота, а ему за всё про всё «такси» до погоста, а потом в мешок и как собаку какую...

На следующий день Ивана из дома выносили в аккуратном гробу, оббитом красной материей. До кладбища народ дошел пешком, благо погост за деревней в ста метрах. У могилы мужики сгрузили домовину с плеч и отошли в сторону, дав место для прощания с Иваном старикам и старухам.

Минут десять угрюмо прощались под тихие женские всхлипывания.

– Вот, пора, пожалуй, – тяжело вздохнул один из могильщиков.

И тут началось. Бабы заорали в голос, отступая от гроба и отворачиваясь в сторону, мужики, стыдливо пряча глаза, пытались их успокоить. Над кладбищем нарастал дикий полубезумный вой.

Оттащив полуобморочную Андреевну от мужа, могильщики передали ее старухам и принялись за свое страшное дело. Они достали Ивана из домовины и осторожно переложили его в черный плотный полиэтиленовый пакет. Двое из мужиков спрыгнули в яму и, приняв покойника на руки, бережно уложили его на дно могилы.

– Пусть земля тебе, дядя Ваня, будет пухом, – отставив в сторону от свежей насыпи лопату, один из могильщиков крикнул людям: – Идите, прощайтесь, кончено уже!

Вой над кладбищем постепенно стих. Могильщики молча взвалили на плечи пустой гроб и тихо поспешили с погоста.

– Отъехало «такси», – угрюмо провожали глазами удаляющуюся домовину люди.

– Кому следующему «повезет» в нем прокатиться?

– Не дай бог...

Дмитрий МАКАРОВ

Родился в 1986 году в Воронеже, где и живет в настоящее время. По образованию инженер. Автор книги стихов «Кварц». Шорт-листер литературной премии «Неформат» (крупная проза), 2009.

ДОРОГА К БОГУ

Если правда и ложь нематериальны, убедить человека очень непросто. Поверят тебе или нет – здесь всё зависит от авторитета. Так формировались взгляды, изменявшие общество в целом и каждого человека в отдельности. Но, сменялись десятки поколений, люди учились на своих ошибках, немудрено, что к закату двадцать первого века было сложно кого бы то ни было убедить в чём бы то ни было. Однако в тот день, когда патриарх в сверкающих одеждах, на пару с министром науки, с первых страниц всех значимых и незначимых СМИ представили народу научные доказательства существования Бога, им поверили все. Заядлые атеисты, дарвинисты и скептики – все с замиранием сердца слушали доклад о том, как учёные с точностью до пяти километров рассчитали координаты Точки Начала, породившей Вселенную. В докладе говорилось, что объект, имеющий соответствующие координаты, до сих пор функционирует и, более того, созидательные его действия поддаются логике человеческого разума. Патриарх со своей стороны подтверждал эту информацию цитатами из священных писаний и говорил о том, что если бы человек не был подобен Богу, то никто и никогда не подтвердил бы истину фактами.

Началось слияние религии с наукой. Власти строили церковные обсерватории, дававшие возможность послать звуковой сигналы молитвы в космос, к объекту, который служители церкви не стеснялись называть Богом. Службы проводили по ночам. К мощнейшим телескопам, направленным в звёздное небо, выстраивались длиннющие очереди. Чтобы рассмотреть сияние Творца среди бесчисленного множества светящихся космических тел, в обсерватории съезжались со всех окраин. В церковных лавках обновился доселе неизменный ассортимент. Наряду с иконами, свечами и крестами (спрос на которые возрос в несколько раз) продавались теперь амулеты в виде семиконечных звёзд, а также компактные современные лазеры, способные дотянуться до космических глубин, а вместе с лазерами – карты звёздного неба с траекторией перемещения Точки относительно разных городов Земли.

Спустя год международная компания Birds of Paradise по программе The Road to God стала запускать первые шаттлы. На их борту все желаю-

щие за соответствующую плату могли транспортировать что-либо к Точке Начала. В основном это были небольшие по размерам предметы, помещавшиеся в специальные контейнеры. Запускали в космос что ни попадя, от праха любимой прабабки до пряди волос с головы новорождённого. И письма. Миллионы писем, адресованных Богу, с просьбами и молитвами. Группа учёных, опровергавших религиозную суть открытия, в свою очередь заявили, что никто из адресантов не доживёт до дня прибытия письма в пункт назначения. Ведь даже со всеми новейшими технологиями запущенные шаттлы смогут доставить свой груз не менее чем через сто лет полёта. Более того, если даже «Бог» и видит всё происходящее во Вселенной, и знает о том, что написано в каждом письме ещё до его отправления, Он всё равно слишком далеко. И для того чтобы какие-то его ответные созидательные действия возымели по цепной реакции эффект в нашей галактике, должны пройти десятки эр. Но все те люди, которым наука доказала существование Бога, больше не слушали учёных и продолжали слать письма, отдавая все свои деньги, лишь бы Он услышал их голос среди свосьми миллиардов других голосов.

* * *

Кто-то отправил в космос гроб с покойником. С этого всё началось. Каждый хотел попасть в рай, и у тех, у кого были деньги, это получалось. Религиозные фанатики завещали свои состояния, подписывая контракты с ВР. Шаттлы с покойниками вылетали сначала два раза в год, затем раз в месяц. Компания обогатилась и развила свои технологии, которые стали не такими дорогими. ВР теперь подписывали контракты с рядовыми пенсионерами – билет к Богу стоил не больше средней квартиры в центре. Те, кто не мог позволить себе посмертный полёт, заключали договоры на отправку своего праха.

За покойниками полетели живые. Людей помещали в капсулы глубокого сна, запрограммированные на открытие в Точке Начала. Birds of Paradise гарантировали успех этих путешествий. Церковь ничего не имела против таких экипажей, и с каждым запуском в обсерваториях проводились службы у телескопа, изображение с которого передавалось на большой экран. Любой желающий мог наблюдать запуск онлайн и решить для себя – лететь ли на следующем шаттле в космос к Богу или оставаться гнить в земле.

Я не смог отговорить деда, когда он решил лететь.

* * *

Он никогда не был набожным и не носил крестика, хотя и был крещён ещё младенцем. Его не мучила никакая болезнь, кроме старческих немощей. Но однажды после просмотра очередного репортажа о запуске шаттла, он зашёл на кухню, и, сев за стол, заключил:

– Я полечу. Полечу к Вере.

Ни отец, ни мать ничем его не могли убедить. Я тоже пытался объяснить, что совершенно неизвестно, что именно находится там, в космосе, и куда на самом деле улетают эти шаттлы. Ведь даже если в Точке Начала действительно есть Бог (в чём я лично не уверен), и все эти люди, купившие билеты, всё же достигнут своей цели (что тоже под большим вопросом), даже если они встретятся с Творцом, на что это Ему? Зачем Ему эти урны и письма? Если Он вершит судьбу целой Вселенной, наверное, он

достаточно занят для того, чтобы прочесть письмо, отправленное одним из восьми миллиардов жителей одной из бесчисленного множества планет. К тому же адресанта уже не будет в живых, и совершенно неизвестно, будет ли к тому времени вообще существовать наш мир.

– Дед, ну скажи, зачем Богу люди в капсулах? Если Он и правда там, мастерит поля и материи, вряд ли Ему станет интересна судьба людей, которые прилетели, чтобы поглазеть на Него. А если и посмотрит в их сторону, то, наверное, разозлится...

– Надоели вы! Бог это или не Бог, а один раз в жизни я могу улететь на край света? Чтоб не видеть больше всего этого... кордебалета!

В «Дорогу к Богу» можно было взять с собой вещи из заверенного менеджментом компании списка. Вещи должны были весить в сумме не более пяти килограммов и иметь соответствующие габариты. Дед пожелал взять с собой проигрыватель винилов, доставшийся ему от отца, и памятную пластинку, которая играла на последнем юбилее Веры Константиновны. Разговоров о полёте дома больше не велось – дед уже купил билет, и ничто не могло заставить его передумать. Расплачиваться имуществом дед, слава богу, не стал – у него был депозит в банке. На билет хватило, и даже осталось. И он стал ждать и считать дни до рейса.

В день перед вылетом он целый день гулял один в городе. Вернулся вечером с покупками и закрылся в своём кабинете. За дверью было слышно, как на фоне игравшей пластинки шуршали пластиковые пакеты. К ужину дед вошёл на кухню наряженный – классические чёрные лакированные туфли звучно отстукивали по паркету. Чёрные брюки, белая рубашка с галстуком, пиджак закинута на плечо:

– Ну как я вам, а?

Мама улынулась:

– Совсем из ума выжил...

Деда передёрнуло:

– Да что вы знаете! Знаете... как задницы просиживать в виртнете? Работа – в виртнете, выходной – в виртнете, отпуск – и тот в виртнете! Вы помните хоть, когда море настоящее видели? А я полечу! Я космос увижу! Вы ещё про меня вспомните!

– Пап, хватит, не ругайся. Переодевайся давай и за стол. Посидим всеми вместе в последний раз.

* * *

В тот вечер допоздна не спали. Смотрели фотографии, вспоминали всё подряд, смеялись и грустили. А рано утром повезли деда в космос запускать.

С гордо поднятой головой он зашёл в здание комплекса предполётной подготовки. Это был огромный ангар, сплошь заставленный новейшим оборудованием. Белый свет монотонно заливал всё помещение, он был очень ярким, но ненавязчивым. Деда поприветствовали по громкой связи, назвав по имени. Следуя инструкциям, мы шли прямо, пока нас не встретил регистратор.

Нас проводили к нашей капсуле. Дед ушёл за ширму переодеваться, а мы глазели по сторонам. Вдоль стен стояли капсулы глубокого сна. Инструкторы объясняли пассажирам, что и как. Старики, одетые в специальные обтягивающие костюмы, соединённые с капсулами ворохом проводов, были похожи на киборгов. Люди в белых халатах сновали туда-сюда со стеклянными планшетами. Услужливые роботы разъезжали от капсулы

к капсуле, предлагая напитки. Я взял капучино и отметил про себя, что кофе превосходный.

– Пап, тебе помочь? – мама подошла к ширме.

– Ещё чего! Уж что-что, а в космос я сам соберусь.

Пожилая дама у соседней капсулы подняла шум. Женщина сетовала на неудобство костюма и грозилась пожаловаться главному или вовсе отказаться от полёта, если ей не дадут другой костюм.

Из-за дедовской ширмы донеслось:

– Шубу ей дайте, а то до Бога не доживём!

– Ах так, да? – дама отстранила от себя девушку в халате. – Ну-ка, дайте я ещё на себя посмотрю... По-моему, отлично сидит. А вы там молчали бы, за ширмой!

Дед вышел преобразённым. В отличие от старушки-киборга, он выглядел подтянутым и чем-то был похож на дедушку Кусто в его акваланге в старых роликах о морских глубинах. И ещё его лицо – оно стало важным, словно он выиграл в шахматы у своего сослуживца, который приходил к нам в гости по воскресеньям и у которого дед выигрывал нечасто. А когда ассистент стал подсоединять к его костюму провода и дед важно поднял подбородок, мама пустила слезу. Я осознал вдруг, что ничего забавного в этом нет, потому что это – самый важный момент в его жизни, ведь он летит в Точку Начала.

Старика уложили в капсулу, замерили показатели здоровья. Всё было в норме.

Прощались недолго. Мама плакала, а дед улыбался и говорил, что слёзы ни к чему и что он нас всех переживёт. Капсулу закрыли полупрозрачным стеклом, сквозь которое было видно, как он машет нам рукой, и повезли к составу. Я чувствовал какую-то восторженность, или даже гордость.

Когда все пассажиры заняли свои места, состав тронулся. На большом экране и на всех мониторах началась трансляция – под торжественную музыку поезд с пассажирами шаттла выехал на космодром. Дорога от ангара к шаттлу сопровождалась рекламой компании Birds of Paradise, периодически сменяясь комментариями бывалых космонавтов, приглашённых по случаю в студию известнейшего на весь мир шоу «Звёздный путь». Они говорили о космической индустрии и вспоминали свои полёты. Один из них, пожилой американец, чей китель был увешан знаками отличия, заявил, что через две недели и он полетит на таком же шаттле. Birds of Paradise обслуживала космонавтов и лётчиков бесплатно. При старте первых рейсов Дороги к Богу эти космонавты-пенсионеры отвечали на переключке перед обратным отсчётом. Они следили первое время за полётом и состоянием пассажиров, ежедневно рапортуя обо всём происходившем на борту, таким образом, ВР завоёвывала доверие своих будущих пассажиров. Так появилось шоу «Звёздный путь». Позже «Звёздный путь» «переместился» на Землю, а за пилотов на переключке стал отвечать робот.

Когда состав прибыл к шаттлу, эстафету принял репортёр первого канала. Стоя на фоне огромной ракеты, он вещал о происходящем на космодроме, где собрались десятки людей в форме всех мастей.

Капсулы глубокого сна поднимали к пассажирскому отсеку на специальном конвейере. Больше часа мы слушали разъяснения инженеров, которые транслировались также и в капсулы пассажиров.

Инженер сообщил, что полёт должен длиться сто четыре года и шесть месяцев. Всё это время деду предстояло провести в глубоком сне. Другой инженер заверил, что компания приняла все меры по обеспечению безопасности и гарантировала прибытие всех пассажиров живыми. Также

компания гарантировала, что после прибытия к Точке Начала системы жизнеобеспечения будут поддерживать в отсеке специальные условия: всё запрограммировано на пятнадцать лет жизни в кислородсодержащей среде. А там – на всё воля Божья.

Загрузили последнюю капсулу, в ангаре воцарилась тишина. Даже роботы с напитками остановились, как будто тоже кого-то провожали. Началась перекличка по всем процедурам запуска. Компьютер на борту отвечал на вопросы инженеров. «Всё успешно завершено. Начинаю то-то и то-то». Заработали двигатели, начался отсчёт. В эти минуты я совсем не думал, куда и зачем на самом деле повезёт моего деда шаттл. Мой взгляд был прикован к огромной ракете, нацеленной в самую глубину космоса. Я знал, что мой дед там. И когда шаттл окружили клубы огня и дыма и он стал подниматься в воздух, я покрылся гусиной кожей от мыслей о далёкой Точке Начала, в которой дед проснётся через сто лет, наденет свой новый костюм и поставит свою любимую пластинку.

Сергей БЕЛОЗЕРОВ

Родился в 1975 году в селе Платоновка Тамбовской области. Окончил Тамбовский госуниверситет им. Г.Р. Державина (факультет романо-германской филологии). Генеральный директор телекомпании «Новый Век» города Тамбова.

Победитель IX международного мультимедийного фестиваля «Живое слово» в номинации «Живые истории» (2014).

ПЕРЕЛОМНЫЕ МОМЕНТЫ

Лето. Троица. Дождик прошел. Быстрый и теплый. Только траву намочил. Такой еще «слепой» называют... Я, пятилетний сельский житель, копаюсь в куче песка около бабушкиного дома. Рою глубокую яму. Зачем, не помню, но дело важное, коль я этим занимаюсь. Рядом сосредоточенные куры, но у них свои терки. Одним глазом прикашиваю в сторону автобусной остановки. Жду родителей. Бабушка сегодня обзвонила родственников, пригласила всех отметить праздник. А сама в сенцах печет пирожки. Стол уже накрыт, остались изыски. Пирожки те же. С повидлом, с ливером. Бабушкины коронные.

Вот и рейсовый автобус. Вот и родители. Бегу навстречу. Обнимаемся. Отец подкидывает меня в воздух несколько раз. Я рад, они рады. Соскучились, видимся нечасто, раз в неделю. Летом я бабушкин. Пузо наедаю.

Крестный мой – дядя Юра подъехал на «козельчике». С ним братаны мои двоюродные, на пару-тройку лет постарше меня. Погодки. Пашка и Леха. Дядька по традиции сунул мне рубль. Подкинул несколько раз в воздух... Небо меня никогда не манило, но я не протестую. Понимаю, что бросают, значит любят. Эдакий запрограммированный в голове взрослых элемент любви к детям. Не любили бы – не ловили.

Подтягиваются остальные. Человек пятнадцать собралось, но стол большой, все уместится. Даже для гармошкиных мехов люфт останется. А до гармошки дело дойдет. «Тонкая рябина», «Виновата ли я», «Вот кто-то с горочки спустился»... Саундтрек в нашей семье мощный, проверенный.

Расселись. Настроение у всех хорошее. Праздник.

Детвора, то есть мы, быстренько подсократили общее количество пирожков и бегом на улицу. Знал бы – посидел за столом подольше.

breaking point 1

У соседа Вовки был «чезет» и дурная привычка самоуверенно газовать на нем прямо со двора. Мотоцикл – он же громкий. Услышит его человек,

включится у него инстинкт самосохранения, замрет он и не станет пересекать траекторию движения этого чуда чешского мотопрома. Но когда человеку пять лет и он несется куда-то со всех ног, весь в игре и в восторге. Чего он слышит-то?

Он вылетает, я выбегаю. Понимаю своим недюжинным дошкольным умом, что абордаж будет не в мою пользу, включаю реверс. Но лето, дождик, травка мокрая... Поскальзываюсь, падаю на задницу и кладу правую ногу прямо под мотоцикл. Вова ошалело и как-то даже аккуратно переезжает через нее обеими колесами и валится на бок.

Троица. Работать нельзя. Грех. Соседи в тенечке перед палисадниками на лавках. Скучно. Кто газету читает, кто семечки лузгает, кто так уже... в точку смотрит... Праздник же. А тут я и «чезет». Первым ко мне подлетел дядя Саня Корьпов. Схватил меня, начал мять всего и, бешено вытаращив глаза, на постоянном репите орать: «Где болит?!» Вот тут-то я и заревел. Не от боли. Больно, как ни странно, не было. От страха. Потому что с таким лицом прибегают не спасать, а добивать. Вокруг собралась толпа. Вовка чего-то кудахтал, кузены стояли в грогги, я верещал, дядя Саня мял...

Ценность информатора в его расторопности. Особенно четко это проявляется в сельской местности. Ибо кто первый сообщит новость, тот и останется в памяти поколений и в семейных преданиях. А я был громкий информационный повод. Эксклюзив однозначный. За меня стоило побороться. По направлению к праздничному столу в бабушкином доме практически одновременно выдвинулись несколько пожилых осведомителей женского рода. Победила бабка Нюра. Она стартанула первой.

Далее другая локация.

Со слов очевидцев.

Крупный план. Стол. Родственники

Детали: картошка, котлеты, курочка, овощи с собственного огорода, ну и так... по мелочи. Рюмочки конечно. Квас. Квас, кстати у бабы Мани знатный был. Беседа. До песен еще не дошло, ну оно и к лучшему, а то вдруг сперва бы допели. У нас вообще семья музыкальная.

Жарко. Входная дверь открыта. Кондюков тогда в нашей стране еще не изобрели. И вот в эту открытую дверь влетает бабка Нюра, забывшая про свой артрит, выдерживает необходимую паузу, окидывает взглядом праздничное собрание и с плохо скрываемым торжеством от победы над менее удачливыми товарками, выдает экспромтом фразу, которой по мере воздействия на аудиторию позавидовали бы первые полосы современных таблоидов: «Сидите?! А Сережку вашего ЗАДАВИЛО!» Ну а что? Легкая гипербола в деталях вполне допустима.

Снова пауза.

Батя очнулся первый. Пересекая дворовую территорию, он успел прихватить из поленницы топор. А может, специально в сарай забежал. Не знаю. Вид бегущего с превышением Николая Николаевича с топором вывел провинившегося Володю из режима искреннего сочувствия и раскаяния. И вдоль по улице бежали уже двое. Один впереди без топора, другой чуть позади, но с топором.

Мама отобрала потерпевшего у дяди Сани, у мамы начали отбирать остальные родственники. Всем хотелось меня помять. Ну не подкидывать же меня на самом деле.

Вернулся ни с чем отец. Порубал малость топором мотоцикл, хотя, на мой взгляд, обухом было бы ловчее. Все рыдали от счастья. Счастье было, конечно, не в том, что меня сбили, а в том, что я живой. Ну, это и так понятно.

breaking point 2

Баба Наташа была родной сестрой моей бабы Мани. То есть моя двоюродная бабка. Я ее звал Баня Таша. Раз в неделю она заходила за бабой Маней, и они шли в баню. Я не дразнился. Просто, видимо, так у меня в голове это мероприятие сложилось и переплелось с ее именем. Баня Таша была глухая. Не с рождения, а после болезни, но я ее другой не помню. Она громко разговаривала, а ей надо было в ответ писать. Очень любила поставить меня перед собой и сказать: «Ну-ка, Сережк, спой мне "День Победы"»». И я затягивал: «Этот День Победы, поохом поааах...» Зачем ей это надо было, не знаю. Она же не слышала. Точно не слышала. Я пару раз проверял это у нее за спиной с помощью пустого эмалированного ведра и чапельника. Я даже не знаю, слышала ли она эту песню в оригинале? Но я пел. И, видимо с артикуляцией у меня было все нормально, потому что пел я для нее часто, а она слушала меня глазами.

В тот памятный день Баня Таша среди прочих присутствовала за праздничным столом, но сидела спиной к входной двери. Важная информация о моей внезапной кончине, по понятным причинам, прошла мимо нее. Она ее просто не слышала. Она же спиной к источнику. Поэтому особенно любопытно было бы понять ее реакцию на происходящее. Но... Раньше не спросил, а сейчас уже не спросишь. Хотя представить можно. Сидит Баня Таша лицом ко всем, все довольные и радостные. Вдруг, внезапно, в один миг все скучнеют, а потом вскакивают и куда-то бегут. Она понимает, что нужно синхронизировать действия, тоже вскакивает и бежит. Из-за стола, через веранду, на воздух. Выкрикивая: «Да чего случилось-то?» Крыльцо на выходе из дома было весьма высокое. И, в этой суматохе то ли кто подтолкнул, то ли сама споткнулась...

В медицинском «рафике» кроме водителя ехали еще четверо. Моя мама, отец, я с загипсованной ногой и Баня Таша с загипсованной рукой. Мама плакала, Таша вздыхала, мужчины держались. Отец курил. Я так. На седативных. До гармонии в этот день дело не дошло.

P.S.

На следующее утро все немного пришли в себя. Приговаривали и мне, и Бане Таше за компанию, что, мол, ничего, до свадьбы зарастет. Стол разобрали, праздник кончился. Отец всю ночь просидел в засаде, но Вовка так и не появился. Вендетта откладывалась. В сарае нашли мою младенческую коляску. Померили ее. Померили меня. Пришли к выводу, что если ногу я немного выдвину вперед, через бруствер, то вполне умещусь. Отмыли ТС, постелили простынь, подушку положили. Короче, все сделали для удобного передвижения. Только не закрепили люльку на колесах. А так все. Посадили меня и говорят: «Так, ножку вот сюда аккуратно. Удобно? Удобно. Хорошо. Ложись, ложись. Подушка вот тебе». Ну я и лег,

просили же. Матом я тогда еще не владел, иначе изрядно бы шокировал родственников. Потому что в следующее мгновение я уже лежал на животе на полу, а сверху меня накрывала незакрепленная сине-белая люлька. Такая получилась черепаха спортивного общества «Динамо» с большим хвостом в виде загипсованной человеческой ноги. Люльку закрепили. Повторили укладку. Нормально. И вот все лето в этой коляске. Зато читать научился. А чего в такой ситуации еще делать? Особенно трогательно проходили наши встречи с Баней Ташей. Она ко мне приходила. Я к ней приезжал. У нас было кое-что общее, чего не было у окружающих. Она сидела с большой белой рукой на диване, а я с большой белой ногой рядом в коляске. «Сережк, спой мне "День Победы"», – просила она. И я затягивал: «Этот День Победы, поухом поааах...»

ГОЛОСА

Интересное занятие – вспоминать людей по их голосам. Причем, если человек что-то в твоей жизни значил, голос вспоминается легко. Есть куча народу, чьи лица ты помнишь, а вот голос – хоть убей...

Вместе с голосом вспоминается интонация и то, как эти люди к тебе обращались.

Сегодня ночью что-то не спалось, и в качестве снотворного вспоминал голоса.

«Серенький» (с улыбкой) – так мама меня называла.

«Белозёров» (в любом контексте) – жена.

«Серёжка» – отец, бабушка

«Ну, па-а-ап» – сыновья, когда чего-то нужно.

«Семё-ё-ён Семёныч» или «Вася Рогов» – брат (он всех так называет).

«Ну чё, Сергунь, еще по 50?» – шурин, он как-то всегда уменьшительно-ласкательно (у них в Наркоконтроле, наверное, так принято).

«Сергей Николаевич!» (укоризненно) – долго вспоминал, откуда голос. Потом вспомнил. Местный избирком в период различных выборов.

«Серджио», «Черноозёров», «Белоболотов» – один из моих друзей.

«Серый», «Серега» – остальные друзья.

«Белозёров» (через «е») – замдекана.

«Сергей» – малознакомые интеллигентные люди.

«Серёнька» – сосед.

«Фельдмаршал. Плохи наши дела» (умудренно опытом и озабоченно) – наш технический директор каждое утро вместо приветствия.

Некоторых людей уже нет, а голоса их помнишь.

Да, и чтобы меня правильно понимали и не беспокоились о моем психическом здоровье, я их не слышал, просто вспоминал.

Маргарита ФИНЮКОВА

Родилась в Горьком. Окончила филологический факультет Куйбышевского госуниверситета. Преподавала литературу в школе, занималась библиотечным делом, журналистикой. Сейчас – заместитель директора музея завода «Красное Сормово».

Стихи публиковались в местных и столичных изданиях, альманахах и коллективных сборниках. Автор двух поэтических книг.

Живет в Нижнем Новгороде.

ЗНАТЬ, ЧТО СЧАСТЬЕ – ЕСТЬ!

Перелёт-травы

*Ее ищут для счастья и удачи,
в ночь на Иванов день: цветок
радужный, огненный и перепархивает
мотылёчком...*

Владимир Даль

В тучных росах юбки намочить,
Вскинуть рукава.
Где-то тут, в Ивановой ночи,
Перелёт-травы.

Посреди некошенных лугов,
В звёздном терему,
До зелёных огненных кругов
Всматриваться в тьму.

Вон – мелькнула! – жарким мотыльком,
Угольком в печи,
Самоцветным тонким перстеньком,
Лепестком свечи.

Вот теперь – бежать за ней, бежать –
Озеро, кусты! –
В ежевичных куцах оставлять
Платья лоскуты,

Задохнуться, в чёрную траву,
Обессилен, сесть,
И потом весь век, что проживу,
Знать, что счастье – есть!

* * *

Я быть вполне счастливой не умею,
Вдруг посредине счастья – каменею,
Беспечный смех сведёт оскомой скулы
И прорастёт предчувствие беды:
Так в безмятежном море у акулы
Край плавника растёт из-под воды.

Берега

Речка плавно катит воды,
Вьётся змейкою в лугах,
Ни мосточка нет, ни брода,
Мы – на разных берегах.

День за днём идёт неспешно,
За волной бежит волна,
А на речке – ни дощечки,
Ни убогого челна.

Без раздумий – брызги в небо!
Без сомнений – напрямки!..
Но опять мы оба медлим
На излучине реки.

Расстоянье мерю взглядом –
Мы всего в семи шагах:
Вроде – близко, вроде – рядом,
Но – на разных берегах...

* * *

Как мерцают в ночи цветы!
Пыль созвездий струится с крыш.
Вижу сердцем, знаю, что ты
В эту ночь, как и я, не спишь.

Как и я, стоишь у окна,
За разлуку судьбу кляня,
И глядит на тебя луна
Точно так же, как на меня.

Отгоню золотые сны,
На ночное выйду крыльцо –
Может, в жёлтом зрачке луны
Отразится твоё лицо?

День рождения

Ещё не утонуть в сугробе,
Но – прокатиться по снегам.
В заволжской керженской чащобе
Горюют лоси по рогам.
Медведя валит сон в берлогу
На девяносто девять дней,
А волк выходит на дорогу
Опять с волчицею своей.
Над речкой льётся нежный шелест –
Колеблют воду плавники:
То подо льдом на зимний нерест
Идут налимы и сиги.
День вяло поведёт очами
И веки сонные смежит.
Спят домовые за печами,
В дупле глубоком леший спит,
Заснули мыши в тёплых норах,
Спит в лабиринте короед...
Об эту вот глухую пору
Явилась я на белый свет.

* * *

Вкус осеннего причастия –
Октября сухой глоток,
Неожиданного счастья
Бледный, немощный росток.

Сброшу с сердца серый камень –
Славный будет в кадку гнёт!
Божий храм пятью перстами
Осеньет небосвод.

* * *

Медленный дождь ледяные кружки
В лужах графитовых циркулем чертит.
Вот и любовь не спасла от тоски,
Как не спасёт нас однажды от смерти.

Но, если зло ноябри запоют,
И ослепит чернота новолунья,
Только в любви мы отыщем приют
От одиночества и от безумья.

Семён ПЕГОВ

Родился в Смоленске в 1985 году. Окончив филологический факультет Смоленского госуниверситета, переехал в Абхазию, затем в Москву. В качестве военного корреспондента Lifepnews работал в Египте, в Сирии, с июня 2014-го – в Донбассе.

Публиковался в альманахах, участвовал в форуме молодых писателей в Липках.

НАШУ ЛОДКУ ЛЮБИМИ ВОЛНАМИ КАЧАЙ...

Русский лес

Мы живём, под собою не чуя войны.
Не стесняйся, боец, поправь проводок.
Мы живём, за собою не чуя вины.
Так у вас говорят, мусульманин-браток?

Русский лес – не заслон против зыбких песков
Твоих дум. Этот вывод жесток.
Он прольётся неслышно из наших висков.
Так поправь проводок.

Нашу лодку любимыми волнами качай –
В ней когда-то качала права татарва.
Русский лес мы – ты прав – за базар отвечай,
Даже если деревья – в дрова.

Управляемый хаос и прочая муть
Нас на понт не возьмут. Нам – была не была –
Завалиться меж грядок и там затащить:
«Хезболла, ты моя, Хезболла»!

Разгром

Надрываются дула. Откуда-то звук оттуда.
Места себе не находит начальник тыла.
Санитарка Дуня: «Меня, – говорит, – продуло,
Я, – говорит, – простыла».

Никому в эту ночь не спится в госпитале полевом,
Кровяные тельца озноблены, целятся по уму,
Никому ничего не снится в ракурсе болевом,
Ничего никому.

Вот, например, Нечаев сменил не один отряд,
 Прошёл мировую, сызмальства в зоне риска,
 Двадцать лет наблюдал революцию октября
 В лесополосах – с брянских до уссурийских,

Неоднократно Нечаев сгорал в огне,
 По конституции ярко выраженный партизанин,
 Но и ему не по сердцу теперь пропадать в тайге –
 Горькой думаю занят.

Он зовёт Евдокию, просит себя на воздух,
 Да куда-нибудь на возвышенность, для обзору,
 Перелистывает сраженья в голове как гроссбух,
 Присматривается к косогору.

* * *

Нас приручили. Мы становимся всё ручней.
 Чем важней полицай – тем блаженней дрожь.
 Заповеди отсырели, высох родник речей –
 Нас в партизаны больше не зазовёшь.

Воздух, упёртый в горло. За руку ты и я.
 Реплика контролёра в очереди на поклон:
 – Вас затошнило, наверное, от хрупкости бытия?
 – Что вы, милая, голову напекло...

* * *

Раскачался граб накануне срыва,
 Растволкал соседей. Помята клюква.
 У корней в кручине лежит Сасрыква,
 Задирая нос наподобье клюва.
 Ты не спи, не спи, подневольник мифа,
 В корневой героической колыбели,
 Повезёт – на днях повстречаешь скифа,
 (С братьями кипеши надоели),
 С ним и пропустите пару стопок,
 Растволчёте в крошки запас словарный,
 Наломаете дров на вершинах сопок,
 Ночью решите сходить на варваров.
 И когда затоскует кочевник гордый,
 Пообещаешь в жёны ему абжуйку.
 А пока, Сасрыква, спускайся в город,
 Завари кизил, растопи буржуйку.

Рыболов

Все, кто были с тобою, с тобой перестали быть.
 Всё, что было тобою, тобой перестало быть.
 Каждое утро, проснувшись, жалеешь себе себя,
 Прокручиваешь через память, какой ты был богатырь,
 Особенно если сентябрь.

Единственное, что осталось, – по-прежнему тыловец.
Невдалеке от дома – всё та же река-сибирь.
С бывшим ударом барса, брассом лихой пловец,
Собираешься, как на пир:

Соболиный тулуп, керзовые сапоги, головной убор,
Надувная лодка, снастей набирая всласть,
Загруженный под завязку усаживаешься за борт,
Разогреваешь мотор «козла».

Правишь на юг, за ухабом жуёшь ухаб.
Как всегда оскорбляешь каждый встреченный джип.
Думаешь, почему настолько родился храбр,
Что не хочется жить.

Но вот он, могучий омут, медленный ход воды,
Пресный до тошноты, богатый породой рыб,
Оплетаешь сетями реку, сам себе поводырь,
Вышедший из игры –

Правила изменились, все теперь водолазы.
Кроме тебя, на посёлок больше нет рыболовов...
А невод всё тяжелеет, и его не вытащить сразу,
Точно выловил олово.

Тянет седой богоборец, надеясь на крепость рук,
Лямку своей судьбы, пропитанную водой,
На берегу рыдает, в сётях полно белуг
И серебряных рыб, но ни одной золотой.

Михаил ТАРКОВСКИЙ

Родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный педагогический институт имени В. И. Ленина по специальности «география и биология». В 1981 году уехал в Туруханский район Красноярского края, работал полевым зоологом на биостанции, затем охотником в селе Бахта, где и живет по сию пору. В 1991 году окончил Литинститут им. А.М. Горького.

Автор книг стихов и прозы, публиковался в журналах «Новый мир», «Юность», «Москва», «Наш современник» и других. Лауреат премий журналов «Наш современник», «Роман-газета», «Новая юность», литературных премий, Белкина, Соколова-Микитова, Шишкова, «Ясная Поляна».

КАМЕНЬ

Юрию Беликову

1

Где-то с Запада тащит туман и сыр...
Атлантический перегар...
А у нас за Камнем все та же ширь,
И морозный припал загар
На балык скулы, на скулу скалы
На каленую плоть смолы.

Здесь за Камнем настолько кристальна синь
В небе выстывшем и сухом,
Что на ветер слово сырое кинь –
И к утру упадет стихом
На крутой порог, на олений рог
На морозный парок дорог.

Здесь Усинский тракт сквозь навес хребтов
Чует Чуйского братский бок,
И свивает синь снеговых бортов
За КамАЗом в седой клубок.
И сюда не добьют облака простуд
И Европы несметный гуд:

Там за Камнем грядёт облаков гряда,
И спаленная клеть Москвы
Отдана врагу. То лиха беда
Начинается с головы,
Чтоб одевшись в смог, отравить исток
И отправиться на восток.

Не соболий кот, схоронившись в ель,
Напрягает до звона слух,
Не осенней мглой зверовой кобель
Вдруг причуял медвежий дух,
И не стан волков в тишине белков
Заходил мехами боков.

То не хиус ушами стриждёт марал,
И не ирбис когтём скребёт...
Это Батька-Камень, седой Урал
Ощетинил тайгой хребёт,
Чтоб громадой плеч на полнеба лечь
Иноземному ветру встречь.

Дует Запад, трещат у увалов лбы...
Не заткнуть штормовую дырь
В обветшалых стенах уральской избы,
Не уснуть – за спиной Сибирь.
Но не видно гор, хоть повесь топор –
Не сдержат дымовой напор.

Ты стоял. И порыв кое-как зачах
На расческе твоих лесов,
Ты всю гарь собрал в своих пихтачах,
Но закрыл Сибирь на засов.
Ты с утра до утра очищал ветра
И мокротой забил фильтра.

2

Я окрикну даль: отзовись Урал,
Непокрытая голова!
Это я виноват, что ты захворал,
Раз Сибирь до сих пор жива.

Тронет Север каленым смычком скалу,
Это наши гудят ветра.
Я всю жизнь просидел у тебя в тылу,
И настала моя пора.

И за Камнем есть кому встать грядой.
Так что ты не дури, залаг,
Отдышись, отпойсь чувовой водой
Из базальтовых гулких фляг.

Приложи к виску холодок ленка,
Чтоб душа, докрутив витка,
Отойдя чуток в хрустале проток,
Встала жабрами на восток.

3

Вновь дымки в отвес к сизоте небес
И слезят глаза мороза,

Не жалеют дров. И с седых яров
За сто верст слышны полоза.

О шершавый снег не набрать разбег,
Кто велел снарядить обоз?
Под такую кать не в тайге блукать,
Бесконечен Уральский взвоз.

Извиняй, Урал, но опять аврал,
Собирай на разгруз бичат.
Звеньевой сердчат: тузлуки сочат
Из кедровой клёпки бочат.

Выходи к гостям, коль остался тям
Принимать добро под надзор:
Вот хакаска-соль из степных озер,
Ты ее приложи к костям.

Здесь в настой небес Енисей вложил
Перескрип эвенкийских скал
И нерпячий жир для настройки жил
Для тебя натопил Байкал.

И еще один заповедный взвар
Сквозь прозор читинских степей
Ранним утром тебе протянул Амазар,
Ты его натошак испей:

Там росток свечи на морозном окне,
Как дрожит её остриё...
И колени... как стонут под утро оне!
И вот это, почти моё:

Океан и креста четыре луча,
И дымящие горы вдали,
И туман на зеркальной грани меча
От дыхания Русской земли.

Я искал зеркал себе по глазам,
И однажды едва не ослеп.
И одну половину разбил я сам,
А другую завесил креп.

Вот и все, Юрец, и строке конец,
За неё споет кладенец,
Раз из всех зеркал нам остался меч,
Чтоб хоть что-то еще сберечь.

В облаках проём, значит будет взём,
Вот и я к тебе доберусь,
Чтоб с лесным зверьём да с тобой вдвоём
Постоять за Святую Русь.

Публицистика

Николай БЕНЕДИКТОВ

Российский политический деятель, писатель, философ. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии Нижегородского госуниверситета. Избирался депутатом Государственной думы третьего и четвертого созывов.

Автор ряда книг, в том числе «Русские святыни» (Москва, 2003) – о системе ценностей русского народа. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ОН ШЕЛ ПУТЕМ ПУШКИНА

Лермонтов был из русских. Запад, император – из другой партии

России долго не получалось отметить большой юбилей М.Ю. Лермонтова. 100 лет со дня рождения бы отпраздновать, а тут Первая мировая война, и стало не до празднеств. 100 лет со дня гибели – тут Отечественная война. Сегодня тоже пахнет порохом на границе, идут боевые действия в Луганской и Донецкой областях (у России почему-то в любом столетии в 14-м году какая-то война...), однако – не мировая, а потому все же 200 лет со дня рождения великого поэта, на мой взгляд, не очень шумно и без размаха, но отметили. Побывал на ряде юбилейных мероприятий. Было много разговоров и самых неожиданных попыток интерпретировать и смысл чудесных сочинений Михаила Юрьевича, и его таинственную краткую жизнь. Но больше всего удивило то, что появились оригинальничавшие особого рода – желающие отыскать некую свежую изюминку в убийце Лермонтова Мартынове.

Одна из «свежестей» – национальность убийцы. Так, автор одной из новых книг о Лермонтове В. Бондаренко явно придает этому излишнее значение и долго объясняет, что Н. Мартынов не еврей. Почему-то это стало обсуждать заново. Мол, обычная логика подобных рассуждений такова: отец Мартынова был винный откупщик, значит, еврей. Но ведь, возражает В. Бондаренко, и многие дворяне занимались этим небогоугодным делом. Это так, и все же шинок и винный откуп обычное дело для евреев так же, как для цыган угон и торговля лошадьми. Имя отца Соломон, считает В. Бондаренко, дано просто по святам, ведь был же поэт Боратынский по отчеству Абрамович. Конечно, был, а все же Соломон Моисеевич, как звали отца убийцы, явно еврейское, а не русское имя. Согласитесь, звучит несколько анекдотично – русский Соломон Моисеевич.

На самом деле отец убийцы был винный откупщик из Нижнего Новгорода Соломон Моисеевич Мартынов, и едва ли не все шинки были даны ему на откуп в Нижнем и окрестностях. Захотелось ему в дворяне, он обратился в Нижегородское дворянское общество. Его приняли с условием, что он построит больницу. Он получил герб и выполнил данное обязательство: построил больницу, до революции так и называвшуюся Мартыновской, а улицу, ведущую к ней, тоже назвали его именем. Сегодня это больница и улица им. Семашко. А вот данный ему дворянами герб, на мой взгляд, снимает все спорные вопросы: на голубом фоне шестиконечные звезды Давида. Что тут обсуждать?

Видимо, Бондаренко и другие изыскатели хотели подчеркнуть, что конфликт Лермонтова и Мартынова не сводится к национальному вопросу. Так это и без того очевидно. Не вызывает споров и то, что нравственность не определяется национальной принадлежностью. Взглянуть хоть на нынешнюю Украину: там и преступник Коломойский, и современные жертвы бандеровцев – избитые и изувеченные евреи, и евреи – среди защитников Донецка и Луганска.

Так было и в XIX веке. Были в России не только Мартыновы, но и еврейские мальчишки-кантонисты, и из них вырастали русские офицеры и генералы. Об этом хорошо написал Б. Пудалов в своей книге о евреях в Нижнем Новгороде.

Мартыновы же были весьма увлеченными масонами. Пикантный и малоизвестный штрих – сестра отца и тетка сына Дарья Моисеевна была женой известного масона Н. Новикова. Масонство же не было народным движением. Это было элитарное западное учение, а элита, конечно же, выступала проводником и инструментом европейского отношения к России. Отношения, по словам Пушкина, всегда невежественного и неблагодарного.

В чем же корень конфликта Лермонтова и Мартынова? Была, безусловно, личная подоплека. Лермонтов – гениальная художественная натура с исключительным чувством прекрасного. Мартынов же был классический имитатор, не знавший меры и художественного чутья; по выражению Юнны Мориц – обои, а не стена. Отсюда его всевозможные чрезмерно кавказские черкесские наряды и громадные кинжалы. Это, конечно же, раздражало тонкую художественную натуру Лермонтова (как ножом по стеклу). Компенсацией раздражения была ирония и насмешки. Мартынову, разумеется, обидно было видеть себя на карикатуре в мундире с газырями и с огромным кинжалом, сидящим на ночном горшке.

Известно также, что Мартынов был весьма трусоват и предпочитал военным подвигам имитацию боевого образа для привлечения дам. Для этого он и ходил в невообразимых черкесках и с кинжалами длиной ниже колена. Лермонтов же был смелым воином. Вспомним описание битвы, в которой участвовал поэт. В ней участвовали тысячи людей, и бой шел не минами, ракетами и авиабомбами, а грудь в грудь. Вот его описание в произведении «Валерик» (трудно отказать себе в удовольствии еще раз процитировать мощные стихи):

«Ура!» – и смолкло. «Вон кинжалы,
В приклады!» – и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.

Хотел воды я зачерпнуть
(И зной и битва утомили
Меня)... но мутная волна
Была тепла, была красна.

Воевал он в отряде разведчиков-пластунов, которым командовал его друг, бретер и дуэлянт, многократно разжалованный и восстановленный в офицерском звании за храбрость Руфин Дорохов (прототип Долохова в романе Л. Толстого «Война и мир»). Когда же командира ранило, то он сдал свой отряд Лермонтову, и бойцы приняли поэта как своего. После этого отряд назывался отрядом Лермонтова. Говоря современным языком, это был спецназ.

Название пластунов сохранилось в выражении «ползать по-пластунски». Ходили они, как правило, не соблюдая форму, в невообразимых лохмотьях. Это рванье было и бравадой, и имело практическое значение. Форма тогда была из ярких цветов и имела четкие геометрические очертания. А для маскировки нужны тусклые краски и отсутствие длинных и четко выраженных линий. Так стал одеваться и Лермонтов.

Интересно, что на Кавказском фронте подобные части сохранялись и в Первой мировой войне. Когда в такое подразделение выделяли награды, то распределяли бойцы их сами, а после этого делились приличной одеждой для награжденных, чтобы те выглядели достойно на этом торжественном мероприятии. На фоне такой привычной формы своего отряда ежедневные смены якобы боевых красивых черкесских одежд Мартыновым для Лермонтова могли выступать дополнительным раздражающим фактором. А вот дуэльные страсти могли Лермонтову казаться ребячьим баловством.

Однако все это личные обстоятельства. Они могут прикрывать гораздо более существенное, глубинное. Ведь тот же Мартынов был довольно мелкой личностью, однако его наказали за дуэль весьма условно. И это в то время, когда за дуэль можно было надолго попасть в крепость или в Сибирь. В этой легкости наказания убийцы и кроются ответы.

Какова позиция императора? Почему за стихотворение «На смерть поэта» он сослал Лермонтова на Кавказ, где шла война? Почему же за убийство офицера (тот же Дорохов сказал, что это была не дуэль, а убийство) Мартынова сослали с Кавказа в Киев на церковное покаяние, а вскоре все ограничения с него сняли?

В XIX веке была в ходу фраза, что единственный европеец в России – правительство. Это касалось и императора. Как-то император Николай I сказал, что немцы служат ему, а русские – России. Русские воспринимали императора как первого слугу России, как управляющего, который должен защищать ее интересы. А ведь император мог и совершать ошибки. Немцы их простят, а русские – нет. Николай I неоднократно совершал ошибки и сам нередко их признавал. Россия фактически доминировала в Европе после войн с Наполеоном. И российский император считал необходимым поддерживать существующее положение вещей. Когда началась революция 1848–1849 гг., по его воле было подавлено венгерское восстание, спасшее Австрийскую империю. Николай I потом как-то выразился, что самым глупым польским королем был Ян Собесский, спасший Вену, столицу Австрии, от турок в 1696 году, а самым глупым русским царем был он, Николай, который спас Вену, подавив венгерское восстание. Действительно, в случае победы венгров не стало бы Австрийской империи, враждебной России (как выражался австрийский канцлер Меттерних, «Австрия еще

удивит мир своей неблагодарностью), а зато венгры превратились бы в дружественный народ. Вспомните Первую и Вторую мировые войны и поймете, что цена ошибки очень и очень велика. Впрочем, это было уже после гибели Лермонтова.

А при нем император совершил другую страшную ошибку. В турецкой империи начался сильнейший кризис. Египетский паша Мухаммед-Али, антианглийски настроенный и отразивший британское нападение, присоединил к своим владениям Палестину, Сирию, Ливан, Киликию, его войска вошли в Анатолию, у Коньи разбили турецкую армию и двинулись к Стамбулу. Умный египетский паша понимал, что у него и России одни враги – британцы и турецкая империя, а интересы Египта и России не противоречат друг другу. Он рассчитывал по крайней мере на бездействие России, что было бы к ее же выгоде. Ведь в результате его наступления ослабевало британское влияние на Ближнем Востоке, а турецкая империя превращалась в слабое и зависимое государство (если вообще сохранилась бы). России эти последствия были только на пользу.

Однако российский император считал себя гарантом стабильности в мире, и этот его доктринерский подход дорого обошелся России. По его приказу русский десант остановил египетскую армию, благодаря чему турецкая империя сохранилась, и хотя по Ункяр-Искелесскому договору гарантом целостности выступала Россия, но в 1841 году потеряла это преимущество, поскольку гарантами стали и Франция, и Англия. Русскому императору казалось, что он сохраняет стабильность. А на самом деле помог Британии сохранить свое влияние на Ближнем Востоке, резко уменьшив антибританскую роль египетского паши. Турция осталась враждебной страной, сохранилась как великая держава. С ней и с Британией пришлось в том же XIX веке вести Крымскую войну, а проиграв войну – уничтожить Черноморский флот. С Турцией пришлось вести войну за освобождение Болгарии и воевать на Кавказе с турецкими агентами и возбуждаемыми их племенами. Кроме того, Мухаммед-Али мог ослабить влияние Британии и стать другом России, а вместо этого геополитический противник России Англия усилилась, войны на Кавказе продолжились. В этих войнах и участвовал Лермонтов, и, конечно, обсуждал и переживал по поводу их причин и политических обстоятельств. За ошибку императора России пришлось расплачиваться долгие годы русской кровью, огромными ресурсами и т. п.

Чего же опасался император и при чем здесь поручик Лермонтов? Вот при чем.

Николай I начинает свое царствование с подавления восстания декабристов, среди которых были люди, готовые к цареубийству. Выстрел декабриста Каховского в генерала Милорадовича свидетельствовал об их решимости пойти на любые, самые крайние меры. Отец императора Павел I убит заговорщиками. Дед Петр III убит заговорщиками. Предыдущий легитимный государь Иоанн Антонович свергнут, десятки лет провел в заключении и потом убит при попытке освобождения. Петр I начал править с подавления заговоров и на всю жизнь получил нервный тик и припадки. Еще раньше было Смутное время, царей законных и незаконных резали и травили ядами. Николай Романов знал историю Романовых. Но он предполагал – и справедливо! – что будет еще хуже. Его сын Александр II убит террористами, на его внука Александра III были покушения, а его тезка император Николай II свергнут и расстрелян... Мировой опыт тоже к благодущию не располагал, пыль от французской революции еще носилась

в воздухе. Императору было чего опасаться, и опасности были вовсе не призрачными.

Поэт принадлежал к высшим родам России, к ее элите. Напомню, что его бабушка была урожденная Столыпина. Для русской элиты, к которой с опаской относился император, а тем более Запад, Лермонтов мог стать острием копья, кристаллизатором русской идеи, человеком, который мог сформулировать новую политику России, более национально ориентированную. Он служил России, а не императору. И уже проявлял свою непокорную волю, писал о близких к трону «наперсниках разврата, свободы гения и славы палачах», которых почему-то власть приближает, а Бог не любит, и ждет их «Божий судия» – вполне возможно, уже на этом свете. То есть человек как воплощение Божьего промысла будет судить преступления «стоящих у трона», а может быть, и троновладельца как пособника их, своим бездействием и ошибками допустившим грех. Подобный ход мыслей императора исключить нельзя: Зубов с табакеркой, убивший отца, Орлов с вилкой, заколовший деда, вынуждали предполагать в любом боевом поручике возможную опасность. А в думающем и резко выражающем свое мнение – тем паче.

Лермонтов явно шел путем Пушкина. Александр Сергеевич создал и издавал журнал, обещая стать своеобразным вождем-учителем России, осмысленно готовился выражать русскую идею, божественный замысел о России. Но его убили «свободы, гения и слова палачи». Лермонтов тоже собрался создать журнал с той же целью, тоже мог стать воплощением русской идеи, и вот – «блестящий кавалергард» убил его!..

Мировые культуры как симфонические сущности-личности преследуют свои интересы, борются за них, и на уровне инстинктов представители противоборствующих сторон хорошо ощущают своих и чужих.

Лермонтов был из русских.

Запад, император – были из другой партии. Мартынов был их орудием.

Николай МОРОХИН

Журналист, исследователь фольклора и этнографии нижегородского Поволжья. Родился в 1961 году в Вязниках. Окончил филологическое отделение Горьковского госуниверситета им. Лобачевского. Доктор филологических наук, профессор.

Член Союза журналистов России. Живёт в Нижнем Новгороде.

СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ

Письма из провинции

Некоторые из снимков, сделанных минувшим летом в этом городе, я показал своим знакомым. И спросил: какая на фотографиях страна? Называли Италию, иногда Голландию. Спрашивали в конце концов: так что же это.

– Набережная Брюгге, – отвечал я.

– Так ты был в Бельгии?

– Нет, это название набережной. А находится она в Йошкар-Оле.

Брюгге – старинный центр Фландрии, город с населением около сотни тысяч жителей – стилистически узнаваем. Но знатоки говорят: его набережная сама по себе стала своего рода репликой того, что европейскому человеку было знакомо по итальянским городам...

– Хорошо. А это где снято?.. – показываю одну из фотографий кремлёвских башен.

– Ну, это, наверно, наш кремль... Только какая это башня и откуда?.. Нет, не наш всё-таки!

Тоже, между прочим, Йошкар-Ола. А насчёт сходства с Нижегородским кремлём – оно очевидно.

Кто не бывал в марийской столице лет несколько, разумеется, не сможет себе представить её такой.

У Йошкар-Олы был хорошо узнаваемый центр. В XX век Царёвококшайск вошёл крохотным уездным городом, где было всего две с половиной тысячи жителей. Судьба повернулась так, что он вскоре стал столицей. Всё надо было начинать с нуля. И первые основательные дома на главной площади построил тот самый архитектор Александр Гринберг, которому принадлежит Дом Советов и ещё несколько серьёзных проектов в Горьком 30-х годов. Ведь тогда Марийская автономная область входила в Горьковский край. Стиль центра Йошкар-Олы вроде бы определился 40–50 лет назад: площадь с колоннадой театра, широкий проспект, на котором обосновалась республиканская власть, мосты над тихой рекой Малой Кокшагой...

И тут выясняется, что в городе теперь построен другой, вот такой центр, где каждый дом – настоящее произведение архитектуры. Причем навскидку его можно отнести чуть ли не к эпохе Возрождения. Выясняется, что в Йошкар-Оле есть кремль, которого никто не видел раньше, что улицы украшают самые вроде бы неожиданные памятники: царю Фёдору Иоанновичу, императрице Елизавете Петровне, сиятельному Лоренцо Медичи, при котором наступил расцвет искусств и наук, Алексею Второму. Где это может находиться?.. Старый центр снесён?

Нет! Йошкар-Ола сохранила его весь – причём каким-то непостижимым образом удалось оставить неприкосновенным сам дух соразмерного человеку города середины XX века – доброго, спокойного, с широкими озеленёнными улицами, не забитого в общем-то транспортом.

Но рядом выросло такое...

Рядом – это в заболоченной пойме Малой Кокшаги, реки действительно совсем небольшой. Не знаю, как бы она выглядела в черте города, если бы не плотина. Пойма начиналась сразу же, в нескольких сотнях метров от центра – камыш, осока, грязное мелководье. В начале восьмидесятых Йошкар-Ола построила на другом берегу реки первые жилые кварталы микрорайона, названного в честь венгерского города-побратима Сомбатхей. И сырая пойма оказалась в самой середине растущего города. Вряд ли его украшая.

Серьёзное наступление на всю эту сырость началось лет десять назад. Земснаряд методично засыпал низину песком. Ломали ветхие дома трёх старых кварталов Йошкар-Олы. Да по сути это было всё, что осталось от того крохотного провинциального Царёвококшайска. Домишки и сараи были обращены к Малой Кокшаге тылом. Про один из кварталов было точно известно, что в XVI веке, когда только-только начинался город, там был деревянный кремль. О его последних следах как о делах давно минувших дней писали ещё в конце XVIII века.

Яркий человек с безупречным вкусом – известный фотограф Антон Ланге, оказавшийся здесь в ходе работы над проектом «Россия из окна поезда», с долей иронии заметил: «В Йошкар-Оле срочно строят исторический центр».

Воля региональной власти была понятна: руководители республики хотели видеть столицу запоминающимся, оригинальным городом. И в то же время продолжить традиции этого края в его застройке.

Никто не посмел бы говорить в ту пору об отсутствии самобытности, стилия у Казани. Центр Чебоксар заново застроили после того, как водохранилище подняло уровень Волги, и это превратило его в город, которым любуются. Президент Чувашии Николай Фёдоров рассказывал журналистам: «Вот едем мы с Владимиром Владимировичем по Московскому мосту. И он говорит мне: "Николай, останови!" И вот Владимир Владимирович вышел из машины обвёл взглядом наш город, наш залив и говорит: "Европа, Николай, Европа!" И так три раза».

Трудно представить себе, что сказал бы сейчас руководитель страны, остановившись на мосту в Йошкар-Оле. И сколько раз бы это повторил марийскому лидеру Леониду Маркелову. Но нет никаких сомнений – слово «Европа» тоже бы прозвучало.

Где местная самобытность?.. За ней надо ехать в Козьмодемьянск, в музей под открытым небом. Красивые постройки, практичные, рациональные, с точки зрения ведения хозяйства. Но – хозяйства крестьянского. И всё из дерева. У марийцев не было к моменту присоединения их земель в Московскому государству городов в привычном для русского человека

смысле. Не было и долговечного строительного материала. Это к тому, что город XXI века не может состоять из деревянных изб. Даже если мы очень любим традиции.

Остаётся искать новый образ, думать об ассоциациях.

Постороннему человеку, не знающему, не понимающему этот край, возможно, набережная Малой Кокшаги покажется таким нагромождением стилей. Вот епархиальное здание, на фасаде которого двенадцать апостолов. Вот мраморные парапеты над водой. Мраморными включениями в отделку посверкивают дома, в которых сразу видно – элитное жильё. Торжественно здание, где разместилась школа-интернат для художественно одарённых детей. И в окнах – такое совпадение – видны античные скульптуры, которые полагается рисовать на занятиях. Школа эта воспитала весь цвет современных марийских художников, но могли ли они помечтать несколько десятилетий назад о таком чудесном здании? Резные белокаменные лестницы ведут на второй этаж Дворца бракосочетания, и там весь день толпится волнующийся и счастливый народ. Всё, как и прежде, соразмерно человеку, – в три-четыре этажа. Напротив в реку глядится краснокирпичная громада стен и башен, напоминающих старые русские кремли. За ними храмы-новоделы из силикатного кирпича – но с каким изяществом из него выложены самые сложные элементы.

Обратимся к тому, что называется «оценкой профессионала». Цитирую Романа Попова, заместителя директора направления «Муниципальное экономическое развитие» фонда «Институт экономики города», который, по его словам «помогает городам открыть свое новое лицо»: «Йошкар-Ола – интересный феномен, но это часть более массового явления. Уже можно говорить о таком явлении, как поволжский китч. Отчасти это действительно отчаянная попытка создать что-то интересное, притягательное для туристов, обрести какое-то лицо. В Йошкар-Оле, как и в Саранске, не так много фрагментов ценной исторической застройки, а хочется чего-то этакого... (Значения слов полезно точно понимать. Китч определяют как "одно из ранних стандартизированных проявлений массовой культуры, характеризующееся серийным производством и статусным значением, ориентированное на потребности обыденного сознания"). Действительно, многим нравится. Другие плюются. Третьи как-то совмещают: вот именно что плюются, но как бы и интересно, и забавно. Это как смотреть шоу фриков, трэшевый фильм: вроде как получаешь удовольствие, но при этом понимаешь, что удовольствие-то не вполне приличное. Ну, вот пошла Йошкар-Ола по такому забавному пути... Я бы не возражал, если бы подмена смыслов не происходила... Если бы Маркелов заявил, что строит развлекательный комплекс для туристов вроде "Измайловского кремля" в Москве, а не подавал это как создание нового центра столицы республики. А тут полная каша. Воевода Ноготков-Оболенский и Дева Мария, Лоренцо Медичи и Елизавета Петровна верхом на коне – кого там только нет, в этом паноптикуме. Кремль с набережной Брюгге и верх безумия – венецианские или флорентийские кварталы».

Наверное, это приятно, чувствовать себя столичным эстетом, понимать, что во многих частях «замкадья» нет «чего-то интересного, притягательного для туристов». И хорошо знать оттуда, из Москвы, которую, вероятно, зараза массовой культуры обошла, каким должно быть «новое лицо» у мелких провинциальных городишек. Ясно, что им скромнее надо быть.

Но, может быть, всё-таки эксперты (какие модное слово сейчас!) начнут заглядывать хотя бы в книги по истории городов и регионов, а не просто рассматривать в Сети картинки. Начнут пытаться сопоставлять факты.

Человек, идущий из жилого микрорайона Центральный в реально старую часть города, должен не просто пересечь по пешеходному мосту Малую Кокшагу. Он проходит через несколько башен – как сквозь несколько эпох. Он встречается с памятниками. На него посмотрит любимый писатель марийцев, автор исторических романов о средневековье, об эпохе Ивана Грозного и присоединении Поволжья к России Аркадий Крупняков. Посмотрят и основоположник марийской литературы Сергей Чавайн и первый композитор среди марийцев Иван Ключников-Палантай. А ещё Лоренцо Медичи, Богородица с младенцем Христом... Странное вроде бы сочетание?

Приезжего удивят йошкар-олинский кремль и башни – его и стоящие отдельно по берегам реки. Кремль совсем новый. Он построен на месте средневекового деревянного, на том самом, которое затем было ещё недавно совершенно непрезентабельно застроено. Место это было явно выгодным для вложений и дорогим. Могли бы здесь поставить многоэтажный офисный центр и гипермаркет со стоянкой, как это делают обычно в Нижнем Новгороде и в других городах. Сооружение было бы азиатски обляпано рекламами, цветными, мигающими, нависающими. И подавляло бы своими размерами. А здесь – низенькие по меркам современного города башни, стены. Стилль их явно заимствован у кремля Нижегородского. В центре открытая концертная площадка с отличной акустикой. На стенах развешаны стенды об истории края: вы неспешно совершаете круг внутри кремля – и перед вами проходит всё прошлое Марий Эл с древнейших времён в фотографиях, схемах, цитатах. Это историко-культурный центр. Посещение его – бесплатное. Рядом с кремлём можно видеть башню, удивительно напоминающую московскую Спасскую башню, даже своими часами, церковь, похожая на храм Василия Блаженного. Это – на западном берегу реки. На восточном берегу реки – а где же ещё? – стоит постройка, в которой читаются черты казанской башни Сююмбике.

Это сама средневековая история марийского народа. Он оказался между противоборствующими Москвой и Казанью, одинаково для него чужими. Но это было только началом развернувшейся здесь драмы. Два крыла народа – луговые и горные марийцы – тяготели к разным соседям и искали с ними союза, прекрасно понимая, что иначе путь в будущее просто оборвётся. Правитель горных марийцев Акпарс принёс присягу Ивану Грозному, обещав стать его союзником в борьбе против Казани – земли горных марийцев лежали ближе к Угарману, как в этом крае называют Нижний Новгород. А Мамич Бердей, владения которого начинались всего в нескольких десятках вёрст от Казани, был союзником Казанского ханства и понимал, что иной выбор будет просто губителен для луговых марийцев. Он остался верен Казани даже тогда, когда она пала: возможно, боялся кары русских властей или же того, что вхождение марийцев в Россию резко изменит их внутреннюю жизнь, в которую татары особенно не решались вмешиваться. Этот край ждали четыре Черемисские войны – около сорока лет, когда не просто луговые марийцы сопротивлялись Москве – одно крыло народа воевало иной раз против другого.

Легко ли это – войти и в Спасскую башню, и в Сююмбике?

Но присмотримся: доминантой среди этого чуда смотрится масштабный дом, напоминающий замок, – в нём разместились марийские радиокomпании. Житель Марий Эл видит в нём знаменитый замок Шереметевых в посёлке Юрино – одну из самых удивительных построек в республике. Каждый, кто живёт в Марий Эл, хоть раз бывал в замке или ещё мечтает о такой поездке.

Потомки княжеского рода Шереметевых, которые владели селом Богородским в окрестностях Нижнего Новгорода, обзавелись юринским имением в начале XIX века. Василий Петрович Шереметев, подолгу живший в Риме, мечтал о том, чтобы построить на собственной земле дом, ничем не уступающий по красоте лучшим постройкам итальянского Возрождения, дом, наполненный великими произведениями искусства, похожий на замок. Строительство его шло около четверти века. К началу XX столетия шереметевский замок, который было видно с Волги, стал одной из главных достопримечательностей её среднего течения. Им любовались. Его не принимали – не понимая, зачем всё это требуется в век парашютов и паровозов, не воспринимая соединение стилей и эпох. Разумеется, такова была позиция тогдашних экспертов. И возмущало их внутренне то, что от замка просто невозможно было оторвать взгляд. В его залах хранились подлинники лучших мастеров итальянского Возрождения – те самые, которые после революции оказались благодаря заботам местного уездного комитета ВКП(б) в Нижегородском художественном музее и в Эрмитаже.

Но итальянское Возрождение приходило к нам и совсем в другом облике – грозном, воинском. Зодчий из Италии, имя которого сохранено в документах как Аристотель, руководил постройкой кремля в Москве. Итальянец, названный в летописях Пётр Френчушка Фрязин, полтора десятилетия в начале XVI века вёл постройку кремля в Нижнем Новгороде. Легендарный реставратор Святослав Агафонов, который восстановил этот кремль в прошлом столетии, изучал остатки древней кладки и обнаружил потрясшую его вещь. Оказалось, зодчий применил в конструкции стен и башен самые новые для той эпохи фортификационные разработки, принадлежавшие Леонардо да Винчи – старшему современнику и, вероятно, учителю Фрязина. Вот когда дух Италии обосновался в Поволжье. И её мастер любил этот край, понимал – иначе мог ли быть создан тот архитектурный образ, без которого не представишь себе Нижний Новгород.

Итальянские сны снились здесь спустя триста лет предводителю нижегородского дворянства Шереметеву – и разве это случайность? Может быть, приехав в Италию, гуляя по её городам, Шереметевы вдруг вспомнили свой губернский город. Догадывались ли они, почему?

Их замок в советское время часто и не лучшим образом менял хозяев. Дольше других в нём задержалась турбаза, приспособившая помещения под нужды отдыхающих, чтобы были и кинозал, и столовая, и еще бог знает что. Юринский замок долго и безуспешно восстанавливают, прекрасно понимая, что былого не вернёшь. В нём, как и прежде, живут туристы, но есть и музейные залы.

Приходилось в Юрине видеть очередной «пазик», из которого выходили два десятка сельских жителей и направлялись в шереметевский парк. Там их встречала экскурсовод, которая напускала на себя важность и произносила вслед за приветствием первую фразу: «Замок относится ко второй половине XIX века и построен в стиле эклектики».

Сельчане переглядывались и шёпотом повторяли незнакомое учёное слово.

Да, можно его произнести и с пренебрежением. И даже очень просто: вот такая беда – ну, не чувствует человек меру вещей, соединяет слишком разное. А можно увидеть в этом совершенно другое – попытку объять целый мир в его сложности, смонтировать несоединимое, заставить его звучать, наполнять собой пространство и слушать, слушать все это невероятное многоголосье.

Его-то и слышишь здесь. И в эклектике марийской столицы, как оказывается, нет ничего случайного.

«Йошкар-Ола – город вне стилия, – сказал один из корифеев марийского зодчества заслуженный архитектор РФ Анатолий Галицкий. – Изобилие скульптур и памятников для городской среды – это замечательно. Они создают облик города. Без этих элементов он смотрится очень бедно. Взгляните на северную столицу Санкт-Петербург – сколько там исторических памятников, всевозможных монументов и скульптур. Все они нелишние. Возможно, многие жители недовольны, что ставят не тому, кому надо. Голоса недовольных и возмущенных звучали всегда. Об этом много можно спорить. Согласитесь, угодить всем сложно. Преображение столицы региона – главная заслуга местных представителей власти. Те памятники, которые появились в Йошкар-Оле за последние несколько лет, мы не могли поставить за полвека».

Анатолий Галицкий был среди создателей Национальной художественной галереи – одного из первых зданий, которые выпадали здесь из стереотипа построек обычного центра региона в России. Уместно вспомнить главных архитекторов города Вениамина Мамуткина, Андрея Жена. Под их руководством новые кварталы разрабатывал институт «Маригражданпроект». Но понятно, что главным здесь было наличие политической воли. Каким главный город хочет видеть власть региона, таким он в итоге и становится.

А что – нагромождение в центре Нижнего Новгорода раздавивших его офисных зданий из бетона и стекла, их (лучше Пушкина не скажешь) однообразная красивость – это принципиально лучше? В отличие от тоскливых сиявших огромными окнами коробок 70-х годов нынешние имеют закругления и выкрашены не в серый цвет, а как-то попестрее. Они обязательно огромны и нависают над людьми. Это, например, стиль нынешней Варварской улицы. Ущелье, сверху над красной линией громоздятся начиная со второго и третьего этажа некие конструкции из бетона и стекла, почти перекрывающие тротуар и проезжую часть припаркованные машины: куда их деть, об этом как-то не принято думать, когда всё это проектируется: ну, приедут и куда-нибудь поставят. А ведь приедут: каждый офисный центр набит генеральными, исполнительными и финансовыми директорами, которые плохо представляют себе, куда ходят под окнами их конторы трамваи и где находится ближайшая станция метро. Наши архитекторы в связи с этим рассуждают о новых формах.

Только несведущему человеку может показаться, что йошкар-олинское Возрождение – это обязательно дорого, это обязательно какие-то непомерные расходы бюджета. Пресловутые футуристические формы, за которыми тоже уже почти век истории, – штука не менее дешёвая. Но очень и очень банальная: и в Нижнем Новгороде, и в Екатеринбурге, и Ростове, и в Волгограде новые овалыне небоскрёбы готовы закрыть собой чуть ли Родину-мать на Мамаевом кургане... Но почему-то к ним столичные снобы не применяют слова «китч», вероятно, потому что так застраивается Москва, хотя в ней человек всё больше и больше чувствует себя ненужным, потерявшимся муравьишкой.

Эклектика вырастает в Йошкар-Оле до совершенно самостоятельного стилия. И это не получается не уважать. Ведь уважаем же мы мастерски сделанные декорации в театре. И калейдоскопичность центра придаёт городу многомерность, заставляет человека быть аккуратным, чтобы не повредить прекрасное, будит в ком-то историческую память.

Нет гармонии в этом мире. Нынешним летом правительство Марий Эл отказалось финансировать пригородные поезда – и их в республике отменили все до одного. Многие дороги в Йошкар-Оле в ужасном состоянии – они разбиты. От сумрачного, давно не отремонтированного автовокзала уходит всё меньше автобусов – этот вид транспорта развален, и людей, желающих ехать в районы, подбирают на городских улицах где-то в условленных местах частные «ГАЗели». На окраине города еще есть бараки с удобствами во дворе – вот, например, на улице Соловьёва, за вокзалом. Многого хотелось бы, но плохи дела с республиканским бюджетом.

Кто-то наверняка попрекает власть за кремль и набережную: вот на что все средства ушли.

Но глядя на эти удивительные постройки, тут же невольно начинаешь чувствовать: рядом с ними всё обязательно начнёт рано или поздно налаживаться. По-другому просто не бывает.

Стихи по кругу

Евгений ЭРАСТОВ, *Нижний Новгород*

* * *

В синеве ли бреду иван-чаевой,
Золотое топчу ли жнивье,
Мне неловко от криков Цветаевой,
Восклицательных знаков ее.

Будто ты не у Камы припадочной,
Где с сетями сидят вотяки,
А смущенно стоишь в перевязочной
И глядишь на ее гнойники.

Эта строчка, в мгновение узнана,
Нам размеренно жить запретит.
Словно лошадь, дика и разнуздана,
Из горящего стойла летит.

Ветер свищет над стылою Камою,
Огоньки за рекою горят.
Подсудимая, мрачная самая,
Холодна и бесслезна волна моя,
И не высказать камских утрат.

О, как тяжело с такой лихорадкой
Погружаться в кромешную тьму!
...Я поправлю ушанку украдкой –
Нам такие ветра ни к чему.

* * *

О чем задумался в тиши,
Ветвистый друг, ребристый клен,
Когда повсюду ни души,
И воздух ветром опьянен?

Летит десантник-паучок
Над сладким клевером паря,
А корни клена родничок
Всё моет, моет втихоря.

И недалек уже тот миг,
Быть может, завтра он придет,

Когда мой клен, родной старик,
Со склона в Волгу упадет.

А я дрожу на берегу –
Моя игра не стоит свеч,
Иголку щупаю в стогу
И всё стараюсь уберечь

И жизни тоненький лоскут,
И клена дрожь... Но быть беде.
Как ветер свеж!
Как берег крут!
Как смерть кривляется в воде!

Странный сон

Какой-то странный сон приснился, други.
Убила Клитемнестра на Ветлуге
Кассандру... Тонкий запах ивняка
Я ощущал сквозь сон, и вдоль излуки
Ползли ужи и юркие гадюки,
И это видел я наверняка.

И было грустно мне и одиноко.
И вспомнил я, что дивный дар пророка
Кассандре в дар достался от ужей.
Об этих змеях нам вещали греки?
Об этом я читал в библиотеке?
Иль это так, один из миражей?

Подобен сон мучительному бреду.
Отдай на суд литературоведу
Такой вот удивительнейший сон,
Его он разберет по всем сюжетам,
По ракурсам и дискурсам, при этом
Сам выводами будет потрясен.

Анализ буден вдумчив, длинен, долог.
К нему на помощь ринутся психолог
И психоаналитик, и в реке
Увидят страсть, виктимность – в остром жале,
Агрессию – в наточенном кинжале,
Мечту уединенья – в ивняке.

И лишь поэт, сидящий молчаливо,
О сне услышав, скажет: «Как красиво!
Ужи, гадюки, пролитая кровь!
Как много чувств испытывает спящий!
Во сне живет он жизнью настоящей!»
И неумна к вымыслам любовь.

Александр КЛИНДУХОВ, *Киров*

* * *

Пусть мне это с детства знакомо,
Но ноет, как свежий нарыв:
Две яблони старых у дома –
Антоновка, белый налив.

И дверь между ними и тропка.
Я, маленький, в сером пальто...
Оборвана старая плёнка –
Не выйдет из дома никто.

Страницы последнего тома
Закроются, дверь растворив,
Родители выйдут из дома...
Антоновка, белый налив.

* * *

Под Красным Яром я рыбачу
И не надеюсь на удачу,
А так – слежу за поплавком
И отдыхаю. Тишь. Уныние.
Как будто всё это не ныне,
А раньше или же потом.

Но этот яр, реки течение,
В кармане хрупкое печенье,
Что разломилось на куски,
Вселяет веру, что я вечен,
Хоть знаю – жизнью обеспечен
Всего до гробовой доски.

Юрий ТАТАРЕНКО, *Новосибирск*

Грибной дождь

Для пишущего в рифму приколита
Стихотворенье – это смех пунктиром.
Таблица в кабинете окулиста
Написана поэтом Велимиром.
Ослепшего художника этюдник –
Хранилище идей и бутербродов...

Моим стихам не нужен поэтюнинг,
 Им проще жить без лишних наворотов.
 Вселенная рифмуется с пельменной
 У всех, кто пишет ямбом о хорее.
 Из пункта А – и сразу в пункт обменный
 Решаем, как добраться поскорее.
 И гению талант не подотчётен,
 И взвод шестидесантников прогуглен,
 И снова метафизики в почёте,
 Покуда инвалирики в загуле.
 Над радугою, вставленною в детство,
 Хихикают украдкой занавески.
 Поэты погружаются в фуршетство,
 Не дописав последней смс-ки.

Урок географии

Стоит у доски в ожидании двойки
 И смотрит в окно второгодник Рашид.
 С большой перемены на школьной помойке
 На крышке контейнера глобус лежит.
 Копейка в копейку – лицо ботанички:
 Надутые щёки не в силах втянуть!
 На первый попавшийся бок по привычке
 Улётся, пузан, «на минутку» вздремнуть –
 Ему нипочём ни жара, ни мороз
 В своём камуфляже телесно-небесном...
 И снова указке вынюхивать место,
 Где Волга впадает в анабиоз.

У реки

Рассыпался мир на фрагменты.
 Заплыв незаполненных ниш.
 В сравнении с облаком мнишь
 Себя беспризорно-бессмертным...
 Невидимой силой влечёт
 Бикини к шелкам подвенечным.
 Где

пол
 день –
 там
 солнце.
 Пе
 чёт.

Как
 пол
 ночь –
 у
 солнца
 пе
 нечет.

20 лет спустя

Когда ты простой неудачник,
(А главное слово – «простой») –
Глотаешь года как подачки
И жив суетой-маемой.
Хватает ума и силёнок
Добраться до дома в пургу –
И тешишься мыслью спросонок:
«Я крут! Я ещё! Я могу!»
Иллюзия потенциала –
Реально надёжный капкан,
Своим для тебя уже стал он –
Так с пятницей дружит стакан,
А в пору студёного глянца
Отсутствие чистых носков –
С причиною не появляться
На вечере выпускников.
Не верю в графьёв Монте-Кристо:
Судьбу обнуляет – петля...
Давно уже звёздная пристань
Не ждёт моего корабля.

Ирина ДЕМЕНТЬЕВА, *Нижний Новгород*

Та самая ель

Великое древо, основа основ,
ты мир обнимаешь ветвями.
Твой дух из шаманских пророческих снов
явился беседовать с нами.
Тебя мы украсим плодами земли,
дождями, искусственным светом...
К тебе мы на праздник с поклоном пришли
и гостьей назвали при этом...
Мы, всё перепутав, живем как в раю,
закон попирая ногами...
Но ставим звезду на верхушку твою,
а ствол укрываем «снегами».

Ты небо и землю связала для нас,
январскую дверь открывая.
И это – единственно крепкая связь,
поскольку смолисто-живая...

А жизнь, словно книга, –
дорога... метель... –
читается просто мгновенно...
Но точка опоры – та самая ель.
И это уже неизменно.

Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ, *Нижний Новгород*

Сонет №3

Когда-то я шлялся по улице этой
Еще сорванцом, белобрысым мальцом...
Мой путь вслед за улицей свился кольцом –
Я под пальтецом, и дымит сигарета.

Бреду. Сочность красок сезанновых лета
Вокруг увядает. С печальным лицом
Влекусь, наблюдая за тихим концом
Сезона и улицы. Кажется – света.

Листву отряхнули кудрявые липы
У бани пасутся корявые типы
И все – хоть на холст.

Четвертый десяток, эпоха цинизма –
И лица ребяток с импрессионизма
Печатами пост.

Сонет №4

Где были мы все эти злые годы?
Мы были здесь и прятались в словах.
Имея всё, вымаливали льготы,
Пускали их по ветру в головах.

Как флюгеры под веселящим газом
Вертелись лихо, жили «на ура!»...
Но жизнь-поэму съели метафразы,
И проза-жизнь уже неопера-

бельна. Как вязкая параша,
Как сумасшедший абстинентный сон
Течет. Уже плывешь, приняв сто грамм.

И мальчик, словно кисти Караваджо,
Тебя на улице снимает на I-Phone
И с тегом #синь# сливает в Instagram.

Сонет №5

Смотри, разъятая на части Хёрстом плоть:
Корова, женщина, акула и овца
Словно сосуд, но если расколоть
Фрагменты тел, конечностей, лица

Не смерти страх несут, но ужасы иного
Рассудком не объятого порядка:
Сокрытое внутри привычного живого
На свет изъятое и мерзостно, и гадко.

И поэтические бабочки под сердцем
Рождаются из мерзостных червей...
Откуда взяться им еще, куда им деться?
Чем отвратительней, тем, стало быть, живей.

Мой друг, за ради мира и добра
Во всем. Не выворачивай нутра!

Владимир ЛЕБЕДЕВ, *Нижний Новгород*

Круги в море

В безбрежном море незадач
Нет утешенья.
Вдали от берега удач
Терплю крушенья.
И небо надо мной, как боль,
Звезд тусклых прорва.
Воды холодной злая соль
Дерет мне горло.
В туманной дали горизонт
Не зрим, как прежде,
И не берет меня на борт
Корабль надежды.
Опять мне жизнь дает урок,
И шутки плохи.
Какой же подлый этот рок,
Пострел эпохи.
Отчаянно держусь за борт
Рукою цепкой.
Но по волнам – увы – плывут
Одни лишь щепки.

Зимний трамвайчик

Как по волнам, среди сугробов
Плывет заснеженный трамвай,
И рада зимняя природа
Открыть ему свой белый рай.

И нипочем тому метели
И вихря снежного фристайл.
Звонка заливистые трели
Несутся по округе вдаль.

Плывет, уткнувшись мачтой в небо.
Свой серый купол распластав,
Слилось оно со снежной негой,
Целуя в колкие уста.

Мороз, пурга, но нет печали,
Плывет от снежной кутерьмы
Кораблик к тихому причалу,
Где я стою среди зимы.

Сам

Я руку помощи себе
Готов подать без оговорки
И непонятливой судьбе
Простить наскоки и разборки.

Я сам себя согну в дугу
И сам сумею распрямиться.
А коль напасть, к себе бегу –
Поскольку есть с кем поделиться.

Своим дыханием дышу,
Своим пером черкаю вирши.
Я сам себя в себе ищу,
Но жаль, на след еще не вышел.

С собой общаюсь на ходу,
Сам откажу себе в наградах.
Я сам себя поднять могу –
Но только ниже, чем мне надо.

Критический подход

Рамиль САРЧИН

Поэт, литературный критик, литературовед. Родился в 1975 году в селе Калда Ульяновской области. Окончил Ульяновский государственный педагогический университет, кандидат филологических наук.

Автор поэтических сборников «Стихотворения», «Возвращение», «Цветоповал»; ряда монографий, сборника статей «Лики казанской поэзии».

Член Союза российских писателей, Союза писателей Республики Татарстан, Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Живет в Казани.

НА ЯЗЫКЕ ТРАВЫ

Сегодня поэтом, при обилии всевозможных версификационных средств, при наличии Интернета (только пальцем ударь – вот тебе и рифма или даже стих), стать и даже быть в общем-то нетрудно. Не потому ли у нас пишущих стихов нынче так много. Но вот могущих «петь по-свойски, даже как лягушка»... Или, например, говорить на «языке травы»...

«Язык травы» – так названа книга прошлого года издания поэта из Нижнего Новгорода Евгения Эрастова, ставшая одним из моих главных поэтических обретений последних лет. В самой заглавии явлен его ключевой пафос, состоящий в сопряжении культуры и природы – двух главных проблем, волнующих автора.

Что-то от Мандельштама есть в этом. Как и у него, у Эрастова природа и культура – всегда рядом, неразъезы. Например, в стихотворении «Я помню всё – немолчную возню...», открывающем книгу, так же убежденно озвучена мысль об «оприродовлении» культуры («возня гласных»); а финал обусловлен идеей «культурной» природы и «природной» культуры, которая связана с жизнеопределяющей идеей осмысления себя, своего места в мире, своего предназначения.

В стихах Эрастова природа дана человеку как культура божественная, потому эти два начала – природа и культура – восприняты автором как пространства для реализации человека, что обуславливает их понимание с точки зрения смысла человеческого существования, собственно прежде всего – поэтического: «Мне песенный дар уготован за то, // Что жить на особинку всюду старался, // Что словно сорняк, на свободу я рвался, // Что мало воды унесло решето». Сравнение «словно сорняк» свидетельствует о том, что тема «травы» воплощена в стихах Эрастова не просто как одна из тем, а глубоко пережита им, вошла в «плоть и кровь» его лирики, потому органична, а значит требует особого внимания. Потому ещё, что именно природой, отношением человека к ней обусловлено право человека на творчество, на его состоятельность, как

и на состоятельность человека вообще. Потому, что природа – творение Бога. Здесь таятся религиозно-философские корни поэзии Евгения Эрастова.

Говоря о его стихах, нельзя обойти вниманием тему реки – настолько она «полноводная». Яркая, пластично воплощённая в пейзажном смысле, она в то же время осмыслена в культурном аспекте. Так, в стихотворении «Глядел на Кудьму я – на илистое дно...» «речная» тема поворачивается такой стороной:

Никак ответить я не мог – к чему
Сижу я здесь, зачем мне это пенье
Кузнечиков, поскольку не пойму
Ни этот мир, ни светопредставленьё

И светопреломленьё – видит Бог
Меня у речки, сломанную иву,
Цикорий, зверобой, чертополох,
Пырей, полынь, репейник да крапиву...

Здесь два близкозвучных, однокорневых понятия: светопредставленьё, обозначающее в христианском вероучении конец мира, гибель всего живого, и светопреломленьё – физический термин – сведены воедино, выражая глубокую философскую мысль об относительности и в то же время единственности-неповторимости, а значит и осмысленности всего и вся «в свете Бога» (Р. Бухараев). Дана же эта мысль, как, видимо, и рождена, во вполне обыденной, простецкой, житейской ситуации – естественно вытекает из хода поэтического сюжета, спокойно и мерно, как течение реки.

Идея «культурной» природы работает в стихах «речной» тематики столь же естественно и гармонично, как и в случае с темой «травы». Так, даже на метафорическом уровне она воплощена в образах «свечки камыша», «губы бухт» в стихотворении «Вновь Ока-красавица на выбор...». А в «Это утро легко начиналось...» очень уместно оказывается «речное» сравнение: «И причудливых мыслей извивы // Словно след от слепого весла». Это не красоты стиха, а целые идеологемы поэзии Эрастова, выражающие его глубинную мысль о кровной спаянности человека и природы, об их взаимообусловленности: в контексте Вечного Бытия, Космоса они утверждают друг друга.

Тема реки органично реализована у Эрастова в контексте важнейшей категории человеческой – и природной, стало быть! – жизни – в контексте счастья. В стихотворении «На свете счастье есть – на берегу Оки...» раздумья об этой глобальной для каждого из нас философской величине ведутся в споре аж с самим Пушкиным, как бы им актуализируясь даже: в эпиграфе широко и повсеместно известная, ставшая банальной и – да простит меня Пушкин! – пошлой в устах обывателя фраза «На свете счастья нет». Получается, всё относительно: даже Пушкин относительно вечного течения реки жизни, жизни природы. Но ключевая мысль об относительности чего бы то ни было решена по-эрастовски – с точки зрения отношений (отсюда идея относительности!) человека и природы, где одно без другого не мыслится, точнее – не «смыслится», одно другим оправдано. Потому и финал стихотворения очень светел, по-пушкински светел – и в том числе и этим пушкинским началом утверждён: «На свете счастье есть, и оттого легка // Походка муравья, несущего иголку. // Покуда так легка рождённая строка, // Не можешь ты сказать, что жизнь прошла без толку». Потому и разлит в стихах Эрастова «счастья нескончаемый поток».

Только не надо думать, что пейзаж, речной в том числе, у Эрастова – это некая идиллия. Совсем нет. В его стихах постоянна память о «кровавой беде», о «сиплой тоске». О тоске – особенно, «сквозным» лейтмотивом.

Тоска поэта столь боляща, что воплощается им даже не на уровне мотива, а целой отдельной темы, требующей серьёзного, вдумчивого разговора. Она своеобразно «переливается» из темы реки, словно являясь её продолжением, а порой двойником. Неслучайно эта пара в одном из стихотворений накрепко скрепляется рифмой:

И до смерти ты сможешь рукою
Дотянуться легко, и дымок
От костра породнился с тоскою.
Не с того ли над самой Окою
Низколобый повис городок?

Тоска в стихах Эрастова реализуется не только как душевное томление, как сосущее под самой ложечкой чувство, хотя и не без этого: «Ты себя до конца не поймёшь, // Хоть и свяжешь с душевным порывом // Эту тонкую нервную дрожь // Ивняка над песчаным заливом».

Я бы даже рискнул определить её в качестве первопричины поэзии, а судя по его рассказам – и всего творчества Эрастова. В его «притихающей» в момент творческого наития душе постоянно живо ощущение смерти – «этой ёмкой гулкой бездны», погружающей человека в состояние подчас неодолимой тоски-одиночества. Но она же удивительным образом оказывается душеспасительной. По крайней мере не испытываешь при чтении даже самых «мрачных» стихов поэта какой-либо безысходности. Ровная, мерная поступь стиха ли, в которой слышится поступь-дыхание самой вечности, тому причиной, как, например, в случае со стихотворением «Снова ветра знакомый привет...», для «шороха» которого как нельзя хорошо подошёл трёхстопный анапест. Нет, это, конечно, вторично. Умиротворяет происходящее всё та же тоска, которая очень созвучна светлой пушкинской печали: и больно, и отратно.

Но не по отдельности, а едино, отчего и светло. Это неоскудевающее, как родник, как река, ощущение в стихах Евгения Эрастова мотивировано его глубочайшей верой в то, что «...было так от века – // Ласковый кузнечиковый треск, // Еле слышный голос человека, // Карася задумчивого плеск». Как запрятано здесь, почти незаметно сказано о человеке: между кузнечиковым треском и плеском карася – таково место человека в мироздании, без тени самоуничтожения, с полным правом на это место, каковое ещё нужно заслужить, всей своей жизнью утверждаясь в мире природы, в мире большой жизни.

В мире бессмертия... Именно с природой связана мысль о нём. Как ненавязчиво она звучит в заключительных строках стихотворения «На ветлужской старице в июле...»:

Сторона сосновая, родная
Солнечному отдана лучу.
Что такое время? Я не знаю.
Да и знать, наверно, не хочу.

Здесь шмели летают, будто пули,
И лучится первозданный свет.
Может, нас со смертью обманули?
На ветлужской старице в июле
Никакого времени и нет.

Упоминая это стихотворение, нельзя не отметить, что Евгений Эрастов не боится «чисто» пейзажных стихов. При обилии их в мире литературы

«новой» России (последних двух десятилетий), хороших стихов собственно о природе очень мало. Во многих природа присутствует «по поводу», как фон. Написаны они часто с оглядкой на себя. Но таких стихов, чтобы природа была самостоятельной темой – ничтожное количество. Я говорю о стихах, которые относятся к области высокой поэзии. Может, оттого это, что во всё более прогрессирующий век технизации, информатизации мы всё далее от своей праматери, оттого всё замкнутее на себе, всё эгоистичнее. Потому так ценны и дороги стихи Эрастова, вроде этих:

Вот она, родимая земля!
Слышишь детский лепет коноплянки?
Длинные листочки щавеля
Греются на солнечной полянке.

Счастья нескончаемый поток,
Кружевного ветра дуновенье,
В лёгкой дымке – запад и восток,
Словно капиллярный кровоток –
Невесомых ангелов паренье...

Утопают в сумеречной мгле
Контурсы бревенчатого дома.
Нет тебя дорожке на земле,
Лёгкая июльская солома.

С пейзажем, с природой у Эрастова связана мысль об утверждении ценности жизни как таковой, как в цитируемом стихотворении: «Кто сказал, что жизнь не дорога? // Глотку рвёт золотоглазый кочет, // Высоки июльские стога, // И всю кузнечики стрекохут».

Природой, самой высокой верой поэта, пейзажами часто вершатся стихотворения Евгения Эрастова. В этом как бы скрытно явлена мысль о том, что выше Божьего творения нет ничего, лучше Бога не скажешь, выше взятой им ноты не возьмёшь. Это то, что изначально даётся человеку и что единственно остаётся ему после всех жизненных обретений и утрат:

... в жизни мне осталась
Лишь эта зелень, пущенная в рост,
Лишь ты, любовь, да вкрадчивая жалость,
Да тонкий мост

Меж мной и небом, на ветру дрожащий,
И вязы у притихшего пруда,
И дрожь осины в проржавевшей чаше
Да мутная болотная вода.

В природе прочувствовано «дуновенье высокой судьбы», судьбы поэта, высота которой в том и заключается, чтобы силой своего слова, силой души возвыситься над Смертью, над Прахом, преодолеть её. Так, в финале одного из лучших, на мой вкус, стихотворения Евгения Эрастова «Под горой созревает китайка...» по сути переживается состояние смерти, но – сколь жизнеутверждающе, с какой верой во Спасение:

Тихий голос отчётливей слышишь
И над миром подлунным летишь.

Поднимаешься выше и выше
Крон деревьев и крашенных крыш.

Под тобою еловые чащи,
Голубые монетки болот.
И всё легче на сердце, всё слаще,
И всё ближе до Райских Ворот.

Откуда такая вера поэта, где её корни? Мне думается крепость веры Эрастова основана на причудливой свитости в его сознании двух начал: природного и культурного. Будучи «язычником» по силе своей веры в природу, поэт в то же время несёт в себе память о многовековой культуре человечества, утверждая в мире Божьем своё, человеческое, по праву одного из созданий Творца. Потому любые артефакты в стихах Эрастова, как бы пространственно и временно далеко ни отстояли они друг от друга, органично вплетены в живую ткань общей природы и в этом единении рождают одну из художественно-эстетических констант творчества Евгения Эрастова, которую простыми, поэтическими словами лучше его самого не выразишь:

...У каждого своя
Стезя, поэзия, свой почерк и подкладка,
Пусть неудачная – и горько с ней, и гадко! –
Судьба-изменщица, но всё-таки своя.

Вот этой мыслью о незаёмности, единичности, неповторимости жизни любого живого создания мне по-человечески и творчески близок Евгений Эрастов. Его порой, казалось бы, импрессионистически «лёгкие», казалось бы – всего лишь набросково-зарисовочные стихи так глубокомысленны, так «тяжеловесны» (как «кислорода тяжёлого взвесь»)! Оттого, наверное, что всем, что нас окружает, полнится наша жизнь, наша душа. Благодаря всему этому, мы ощущаем себя, своё бытие в мире, в какой бы точке Вечности оно ни творилось.

Позволю свой нынешний разговор о большом поэте завершить его стихотворением «Август»:

Всё же грустно, что лето прошло,
И свинцовые тучи нависли.
Сколько дум ветерком нанесло!
Пахнет тиной гнилое весло,
И приходят печальные мысли.

Пусть от лета остался кусок,
Но уже порыжела опушка,
И кузнечика вял голосок,
И совсем замолчала лягушка.

И всё реже звенит на беду,
В огороде твоём, во саду,
Малахольная песенка птичья.
Тишина. Лишь на мутном пруду
Крякнет селезень – так, для приличья.

Олег ЗАХАРОВ

Родился в 1961 году в селе Новоликееве Нижегородской области. Окончил Волго-Вятскую академию государственной службы.

Поэт, публицист. Автор книг «Кстохмы» (2006), «Нежданный гость» (2011). Лауреат Всероссийского фестиваля иронической поэзии «Русский смех» 2007 и 2012 годов. Председатель Нижегородского городского отделения Союза писателей России. Живет в городе Кстове Нижегородской области.

КАК НЕ НАДО ПИСАТЬ ПАРОДИИ

Попытка исследования

Прочёл недавно новую книгу пародий одного известного автора (к слову сказать, моего хорошего товарища) и понял, почему некоторые авторы нас, пародистов, мягко говоря, недолюбливают. Нет, не за то, что пародисты высмеивают их произведения или литературных героев. Большинство пишущих достаточно мудры для того, чтобы признать неточности (ляпы, «косяки») в своих творениях. И достаточно самоироничны, чтобы за компанию над ними посмеяться, особенно если пародия удачная. Абсолютно безгрешных литераторов, я думаю, вообще не бывает. Тем более что русский язык настолько сложен и многообразен, что не всегда увидишь за написанным словом второй или третий смысл. Хорошие пародисты в этом плане молодцы: они вытаскивают дополнительный смысл на поверхность, вынуждая и самого автора тщательнее работать над словом. Сборник хороших пародий – это своего рода учебник русского языка, где в развлекательной форме разъясняются ошибки языкознания.

Сразу следует оговориться, что здесь речь пойдет об одной из разновидностей пародий – сатирической, критической. За границами нашего глубокомысленного исследования останутся другие разновидности – дружеская пародия, не ставящая своей целью высмеять литературное произведение или литературного героя, и пародия-подражание, когда копируется стиль автора или используются герои его произведений. Мы же будем говорить о пародии, задача которой – обратить внимание читателя на какой-либо недочет автора произведения, ставшего объектом пародии.

Так вот, мой друг-пародист написал некоторые пародии на строки, которые, на мой взгляд, не стоило пародировать. Иными словами, выдернул из стихов других авторов обычные строчки, где нет ни языковых, ни литературных изъяснов, и совершил над ними «насмешку». Некоторые основы для пародий вообще взяты из иронических стихотворений или даже других пародий. То есть получилась насмешка над насмешкой ради насмешки – просто так, без причины, без оснований, на пустом месте. Не удивлюсь,

если кто-то из пародируемых авторов на пародиста справедливо обидится – согласитесь, неприятно получить щелчок по лбу и даже дружеский подзатыльник, если ты этого не заслуживаешь. В свою очередь, пародист из борца за чистоту русского языка, из санитара поэтического леса превращается в язвительного зубоскала. А вместе с ним в глазах литераторов в зубоскалов превращается весь и так немногочисленный отряд поэтов-пародистов. И когда появится пародия на действительно имеющийся промах в произведении того или иного автора, тот может воспринять пародию не как указание на его собственную ошибку, а как беспричинное глумление (насмехательство) над его творением. Наконец, это просто дискредитирует жанр литературной пародии. А жанр этот сегодня нужен как никогда.

К сожалению, в современной России почти исчез институт редактуры, когда каждое литературное произведение, прежде чем быть опубликованным, проходило жёсткую правку профессионалов. Откровенно слабые произведения появляются и в литературных журналах-альманахах (особенно если их автор является спонсором издания), издаются книгами, если автор может себе позволить оплатить их выпуск. По таким книгам начинающие авторы формируют представление о литературе вообще, ошибочно думая, что это и есть настоящая поэзия (проза). В будущем они пополнят ряды литераторов-недоучек. И так в геометрической прогрессии. Пародист же, как санитар поэтического леса, выискивает и «съедает» слабых, чтобы сохранить популяцию сильной, чтобы окончательно не зачах и не расплылся наш великий и могучий... Ведь вместе с русским языком мы можем потерять и русскую культуру, а значит, и русскую нацию.

В марте 2014 года на закрытии областной Недели детской книги я выступал в Сергаче перед школьниками нескольких районов. Эти ребята были отобраны для участия в мероприятии как наиболее грамотные (по мнению сотрудников районных библиотек). Из ста собравшихся в зале учеников ни один правильно не ответил на мой вопрос – что такое литературная пародия? Звучали ответы: это когда мужчина переодевается в женщину и ее голосом исполняет песню на телеэкране. А ведь это наиболее грамотные современные дети! До чего же надо было довести уровень образования и культуры нашей молодежи, чтобы они сегодня понятия не имели о старейшем – со времен Гомера – жанре литературной пародии. Прошло немногим более двадцати лет с тех пор, как передача «Вокруг смеха» пародиста Александра Иванова собирала у экранов телевизоров целые семьи. И вот по прошествии этих двадцати лет новое поколение уже не знакомо со старейшим литературным жанром, который не просто вскрывает и показывает изъяны в литературном творчестве, но делает это ненавязчиво, смешно, результативно.

Пародист как никто ответствен за сказанное им слово, ведь героями его произведений зачастую являются не вымышленные литературные персонажи, а реальные люди, его собственные коллеги по литературному цеху. Если уж высмеивать, то исключительно за дело – за серьезные неточности, ошибки, ляпы и «косяки». Признаюсь, некоторые мои ранние пародии тоже написаны просто так, без достаточных на то оснований. И я не безгрешен. С удовольствием выбросил бы сегодня их из своего творческого багажа, но они уже опубликованы в книгах, альманахах. Увы, что написано пером...

Недавно по просьбе одного из начинающих авторов я анализировал его пародии. Некоторые результаты этих «анализов», выявленные ошибки являются, на мой взгляд, типичными для начинающих поэтов-пародистов.

Прежде всего пародисту по уровню литературного мастерства недопустимо быть ниже автора оригинала – пародируемого произведения.

Эта ситуация ёмко описана Иваном Крыловым: «Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!» Понятно, что не боги горшки обжигают, но прежде чем браться учить кого-либо профессии (жанр пародии не просто развлекательный, но и обучающий), следует прежде самому стать профессионалом. Я не веду здесь речь о графоманах. О графоманах я вообще предпочитаю ничего не говорить – ни хорошее, ни плохое. Слабый в литературном мастерстве пародист (как и любой слабый литератор) вызывает жалость и сострадание как человек, явно занимающийся не своим делом.

Одна из распространенных ошибок пародиста – сюжетная ограниченность. У всех без исключения анализируемых пародий молодого автора был единственный сюжет: человек пишет стихи. Варьировались ситуации, герои (Муза, Пегас, поэзия) но все об одном и том же – стихосложении и авторе стихов. В одном произведении герой идет в поэзию босиком, в другом – Муза пришла на сеновал, в третьем – автор не может писать стихи, а зачем-то пишет. Читатель (или слушатель) от такого сюжетного однообразия быстро заскучает. Не исключено, что одна из причин – выбор объекта для пародий. Видимо, автор сознательно (или неосознанно) выбирал у пародируемых поэтов строки, связанные с процессом стихосложения. Конечно, в этом случае у пародиста выбор невелик. Как говорил герой Алексея Смирнова в фильме «Операция "Ы"», «сейчас к людям надо помягше. А на вопросы смотреть ширше». Надо больше и внимательнее читать разных авторов, больше обращать внимания на стихотворные промахи в произведениях, посвященных различным тематикам («ширше»), а не только связанным с процессом написания стихов. Кстати, я подозреваю, что у моего друга-пародиста была та же проблема – малое количество достойных объектов для пародий.

Лично я, читая очередной сборник стихов или поэтическую подборку в журнале, на страницах с возможными будущими пародийными объектами делаю закладки, а иногда карандашом на полях записываю мелькнувшую мысль для будущей пародии. К этим закладкам я потом периодически возвращаюсь, не раз и не два, потому что не сразу приходит достойная для пародии идея. У меня и сейчас несколько полок с книгами и торчащими из них закладками. И каждый пародист должен быть в первую очередь читателем (причем очень активным), а уж потом писателем.

Говоря об идее пародии, мы плавно подошли к следующей распространенной ошибке – пародия не смешная. Вроде всё у пародии есть – и объект пародирования, и копирование стиля автора этого объекта, и сюжет раскрыли по-новому, а... не смешно. В чем дело?

Чтобы понять, как написать смешную пародию, углубимся в науку смеха: что такое смех, откуда он берётся и как его вызвать у читателя (слушателя)? Не знаю, догадался ли кто до меня такое исследование провести, но если я первый, то вполне могу претендовать если не на Нобелевскую премию, то как минимум на какой-нибудь орден.

Пародия строится по тем же законам и правилам, что и анекдот. Давайте разберем на части бородатый анекдот про Штирлица:

1. *Штирлиц сидел у окна.*
2. *В окно дуло.*
3. *Штирлиц закрыл окно.*
4. *Дуло исчезло.*

1. В первой строке автор анекдота вводит слушателя в сюжет, задавая некий стереотип, в соответствии с которым слушатель будет дальше воспринимать этот короткий рассказ. Как правило, это отсыл к чему-то широко известному. В нашем случае задан Штирлиц и, следуя логике

стереотипа, всё, что с ним связано: советский разведчик в Берлине, Великая Отечественная война и так далее (свои стереотипы сразу же возникают, стоит лишь назвать очередного героя анекдота: Вовочка, блондинка, доктор Айболит и прочие).

2. Во второй строке происходят некие события, связанные с главным героем, – «в окно дуло». События эти, как правило, – своеобразная закладка для концовки анекдота. И события происходят именно в рамках развития заданного стереотипа. Важно заложить именно такое развитие сюжета, чтобы в конце анекдота слушатель мысленно, неосознанно вернулся к этой закладке. То есть чтобы произошла своеобразная закольцовка сюжета.

3. Третья строка – продолжение развития событий, их уточнение. Главное, чтобы слушатель раньше времени ничего не заподозрил о результате. Все события до этого происходят именно во фрейме стереотипа.

4. Наконец, концовка. Вот здесь и происходит ломка стереотипа. Слушатель слышит то, чего услышать не ожидал. Для него такой поворот сюжета стал сюрпризом. Я называю это – концовка-парадокс. Автор анекдота резко сломал стереотип, в данном случае воспользовавшись игрой слов «дуло» – «дуло», глагол – существительное. И вот тут появляется смех. Учёные полагают, что смех вызывается, как правило, несуразницей – ошибкой, несовпадением результата с намерениями или ожиданиями. Кстати, существует даже наука о смехе – гелатология. Наука, правда, совсем молодая, я сам узнал о ее существовании в процессе подготовки данной статьи. Значит, всё-таки не я первый заинтересовался причинами смеха, так что не видать мне ни ордена, ни Нобелевской премии.

Кстати, согласно данным учёных, женщины смеются чаще мужчин. Поэтому, если перед вами будет стоять выбор, перед какой аудиторией выступить с пародиями – перед мужской или женской, – выбирайте женскую. Или детскую – ребёнок смеется в 20 раз больше взрослого. Правда, в детской аудитории вам придется предварительно объяснить, почему вы написали эту пародию, в чем пародируемый автор неправ, какое правило русского языка он нарушил.

А теперь разберем по косточкам пародию, и вы увидите, что она строится по тем же законам анекдота. В качестве образца я взял свою пародию, которая называется «Ласка».

*Девушка красивая как в сказке,
Умоляю, мимо не пройди.
Знай, что утоплю тебя я в ласке,
Нам с тобою будет по пути.*

Автор – Валерий Шевченко из Новосибирска.
А вот и сама пародия:

*Девушку красивую как в сказке,
Засучив, как водится, рукав,
Искупать хотел однажды в ласке,
Да и утопил, не рассчитав.*

Так же, как у анекдота, у пародии четыре строчки, каждая из которых исполняет свою роль.

1. Отсыл к чему-то известному, то есть к стихам пародируемого автора, которые прозвучали вначале. Тем самым у слушателя уже складывается некий стереотип дальнейшего развития событий.

2. Происходит развитие, уточнение события. Делаем в мозгах слушателя закладку («засучив рукав»), чтобы переносный смысл выражения «искупать в ласке» в конце пародии превратился в прямой смысл – «утопил».

3. Продолжение развития события; одновременно напоминаем читателю, что правильно говорить «искупать в ласке». Это тоже закладка, она поможет нам дальше смыслово закольцевать всю пародию.

4. Концовка-парадокс, ломка стереотипа, построенная на игре слов (искупать – утопить) и на неправильном употреблении этого выражения пародируемым автором. Закольцовка сюжета. Говоря по-научному, в голове слушателя произошло несовпадение результата с его ожиданиями (это и есть ломка стереотипа). Важно как можно дольше скрывать сюрприз-концовку, чтобы слушатель (читатель) раньше времени не догадался, чем кончится дело. Тогда концовка будет эффектнее. И смешнее. А ведь мы именно этого и добиваемся, верно?

Не могу удержаться, чтобы не поделиться интересной информацией о смехе, которую вычитал в журнале «Наука и жизнь» за 2008 год:

«Известна заразительность смеха. Её используют в юмористических передачах, проигрывая за кадром заранее записанный смех. Причины такой заразительности пока не раскрыты гелатологами, но известны целые смеховые эпидемии. Так, в одной из школ Танзании в 1962 году группа девочек, начав над чем-то хихикать, не могла остановиться. Смех перешёл в истерический и распространился на несколько окрестных деревень, откуда ученицы приходили в школу.

Если уж говорить о медицинском аспекте смеха, надо упомянуть, что, по многим данным, смех усиливает иммунную систему, способствует выработке в мозге естественных обезболивающих веществ – эндорфинов, помогает дышать глубже и тренирует дыхательные мышцы».

Так что жанр литературной пародии, оказывается, полезен не только для сохранения русского языка, но и для здоровья.

Кстати, насчет концовки. Один мой хороший товарищ поэт-пародист из города Сочи Виталий Серков прислал мне однажды пародию, которую он написал на стихи Александра Боброва. Сначала стихи-оригинал, затем пародия Виталия:

НОЧНЫЕ КРИКИ

*Стих ресторан, шумевший подо мной,
Но оглашалась криками округа:
– Григорьев, гад, пойдёшь ли ты домой? –
Взывала чья-то верная подруга....
...– Григорьев, гад, пойдёшь ли ты домой?
Я крикну в фортку: «Не ходи, Григорьев!
Дыши вольней: семь бед – один ответ,
Да сколько мы живём на этом свете!»
Александр Бобров. Гостиница. Полночь*

Какая ночь стояла, боже мой!
Но крик летел, ночную тишь минуя:
– Наталья, дрянь, пойдёшь ли ты домой?
Взывал мужик, скорей всего, ревнуя.
– Поди-ка, ты прошла и Крым и Рим, –
Подумал я, – большая жизнелюбка...
Да ведь и мы судьбу благодарим,
Когда легко спадает бабья юбка.

Я понимаю: выплатить кредит,
Потом тянуть, как баржу, ипотеку...
Но как же счастьем это всё вредит!
А старый друг зовёт на дискотеку...

– Наталья, блин, пойдёшь ли ты домой?!
Я крикну в небо: «Не ходи, Наталья!
Коль дом тебе стал клеткой и тюрьмой,
Твой муж-ревнивец – попросту каналья.

Но я, замоскворецкий атташе,
Готов укрыть беглянку черноброву...
...Мой номер на четвёртом этаже,
А коридорной скажешь: «Я к Боброву...»

Изначально концовка у пародии была какая-то... никакая. Ну не смешно было, и всё тут. И мы с ним вместе долго бились над тем, чем же завершить эту ночную историю, пока самому Виталию не пришел в голову нынешний вариант – классическое несовпадение результата с ожиданиями читателя. Стало понятно, к чему сводятся философские размышления о тяжелой женской доле из уст гостиничного гостя.

Я вам еще не недоел со своими поучениями? Тогда продолжим дальше разбирать типичные ошибки поэтов-пародистов.

Ещё одна проблема пародиста – многословность. Многие пародии, которые я «анализировал» у молодого автора, неоправданно длинные, неоправданно затянутые и оттого скучные. Согласитесь, что лучше сказать одно слово и попасть в точку, чем сто слов и без результата. Строк и слов в пародии должно быть ровно столько, чтобы донести до читателя основную мысль (если она есть). Чем длиннее пародия, тем выше вероятность того, что читатель забудет строки пародируемого автора. А в этом случае пародия вообще теряет всякий смысл. Пример короткой пародии смотри выше («Ласка»). Читатель еще помнит слова пародируемого («утоплю в ласке») и понимает смысл игры слов (искупать – утопить в ласке). Читатель не успевает заскучать, его внимание еще не рассеялось, не переключилось. Самое время ударить парадоксальной концовкой.

Относительная многословность пародии оправдана только в одном случае – если в «теле» самой пародии присутствует несколько мини-концовок, вызывающих смех. Тогда даже не нужно особо ударное завершение, ваш слушатель (читатель) будет смеяться на протяжении всей пародии. Даже если он хихикнет в двух-трех местах, считайте, что пародия удалась. В качестве примера приведу пародию замечательного поэта и человека Евгения Андреевича Нефёдова, имя которого носит Всероссийский фестиваль иронической поэзии «Русский смех». Пародия на стихи Валентина Меркурьева называется «Случай в лесе»:

Я в этом старом лесе

Ищу слова для песен...

Валентин Меркурьев

Я в лесе был. Искал слова
Для песен о подруге.
Сидел на берегу сперва,
Потом лежал на луге.

Остановился на мостё
И думал: неспроста ведь
Слова приходят – да не те,
Чтоб их в стихе поставить.

Тут критик вдруг из камышов
Подплыл ко мне на плóте,
И говорит: – Вы падежов
Давно не признаёте?

Коль в самом деле не в ладу
Или нарочно это –
То лучше прыгайте в водú
И ваша песня спета...

Я говорю: «Вы что, в бредё?
Вы что имели в вíде?
Катитесь, милый, как по льде –
А я в гробе вас видел!»

...Ушёл он, не сказав «прощай»,
При личном интересе.
Такой вот, мóлодежь, случáй
Со мною вышел в лёсе.

Написать пародию, вызывающую смех на всем протяжении ее чтения (слушания), – это высший пилотаж. Евгений Нефёдов и был пародистом высшего пилотажа. К сожалению, он рано от нас ушел.

В большинстве случаев многословность пародиста проявляется тогда, когда ему нечего сказать или он не умеет донести свои мысли коротко. Возможно, что, начав писать пародию, автор сам еще не знает, какая у нее будет концовка. А вот это принципиальная ошибка. Пародии пишутся, как правило, «с конца». Сначала следует придумать, понять, чем ваша пародия завершится, а уже потом писать ее, целенаправленно закладками подводя к итогу.

И, наконец, вернусь к тому, с чего начал, – пародировать следует только то, что следует пародировать. Причем, читатель пародии должен без лишних усилий понять, что именно пародируемый сделал не так, за что его пародист взял на карандаш. А строками самой пародии как раз и следует объяснить, в чем пародируемый автор неправ. Тогда ваша пародия будет не только смешить, но и просвещать.

Как проверить пародию – удалась она или нет? Проверять надо на слушателях. Именно на слушателях, а не на читателях. Читая пародию вслух, можно расставить необходимые смысловые акценты там, где нужно. По реакции слушателя можно понять, сработала ли концовка, не затянута ли пародия, не теряем ли мы внимание слушателя. И не надо лениться пародию доделывать, переделывать, если чувствуете ее незавершенность или концовка недостаточно ударная. Я над некоторыми из них работаю очень долго, хотя бывает, что в пародии всего четыре строчки. Но их надо максимально отточить так, чтобы не было ничего лишнего и в то же время было все необходимое. Конечно, не всегда получается, но я стараюсь. А пародии проверяю на супруге, свеженаписанное читаю ей по утрам. Если после прочтения она хотя бы хмыкнула, значит, пародия удалась.

Наконец, последнее – азбучное. Если вы серьезно решили заняться пародиями, помните о том, что ритмика вашего произведения должна повторять стихотворение-оригинал. Если пародируемый автор натворил пятистопным ямбом, то будьте добры, в том же духе и продолжайте. Ваша пародия тоже должна быть написана пятистопным ямбом. Иначе вы дезориентируете читателя и он не поймет, что перед ним именно пародия. Правда, признаюсь, у меня есть одна ранняя пародия, написанная в иной ритмике, чем стихотворение-оригинал. Называется она «Случай в больнице» и опубликована в книге «Нежданный гость». Я понимаю, что неправ, что нарушил законы пародий, о которых так долго только что писал, но ничего поделать не могу. Пародия получилась с мини-концовками, зрители смеются на всем протяжении ее чтения, поэтому она мне очень дорога. Иногда я даже думаю, что проще попросить пародируемого автора переписать свой стих под мой ритмический рисунок. Шутка.

Примеры ломки стереотипов

Легко сказать – сломай стереотип, и слушатель будет смеяться! А как это сделать? Какие для этого существуют литературные инструменты? Давайте на нескольких моих пародиях попытаемся понять, какие типичные методы ломки стереотипов в них применены.

Уточнение недосказанности

Оригинал – строки московского поэта Виталия Пуханова. Объект пародирования – последняя строка четверостишия. Пародия называется «На пенсии». Названием мы делаем первую закладку – речь пойдет о пенсионерах. Концовкой пародии уточняем не очень понятную мысль автора – что незачем, что нечем? Причем уточняем вполне конкретно применимо к паре пенсионеров. Сюжет – любовная встреча.

*Из отражённой глубины
Я выходил тебе навстречу.
Мы, как часы, разведены!
Но больше незачем и нечем.*

Виталий Пуханов, Москва

Года не те! И потому
Сорвался миг любовной встречи.
Она сказала: – Ни к чему.
Ты согласился: – Да и нечем!

Использование двусмысленности

Зачастую авторы не замечают второй смысл, заложенный в их стихотворных строках. Пример – строки нижегородского поэта Сергея Паско. Выражение «сырой» очень часто используется применительно к маленьким детям – «ребёнок сырой», то есть обмочился. В пародии мы используем именно этот смысл, уточняя его концовкой про памперс. Именно последняя строка является несовпадением результата с ожиданиями слушателя пародии. На протяжении пародии делаем закладки: первая о том, что это курьёз, что автору за что-то стыдно, вторая закладка уточняет, что это конфуз. И в конце пародии становится ясно, в чём именно конфуз проявляется. Сюжет – посещение берёзовой чащи.

*Есть ли где ещё так много
Ослепительных берёз?!
Не судите меня строго:
Я и так сырой от слёз.*

Сергей Паско, Нижний Новгород

Нет забавнее курьёза,
Хоть и стыдно мне порой –
Как увижу где берёзу,
Сразу делаюсь сырой.

И конфуз такой всё чаще.
А теперь я вам скажу,
Что в берёзовую чашу
Только в памперсе хожу.

Словесная ошибка

Наиболее распространенные объекты пародий – строки, в которых автор проявляет словесную ошибку, нарушая правила русского языка. В строках московского автора Владимира Федорова использовано слово «ждя» – деепричастие настоящего времени глагола «ждать». Согласно правилам русского языка, такого деепричастия не существует. Пародия построена на использовании других, не существующих в русском языке деепричастий – мокня, ложа, брожа, знав, поклав. Неожиданность концовки заключается в том, что сама природа испугалась недостаточного знания автором русского языка. Название пародии – «Повелитель дождя», это первая закладка для будущего понимания смысла пародии. Закольцовка – использование слова «ждя» в последних строках пародии.

*И от небес любви уже не ждя,
Я буду петь мелодию дождя.*

Владимир Федоров, Москва

И от небес любви уже не ждя,
И мокня от осеннего дождя,
Я сочинял, по улицам бродя,
Свои стихи на музыку кладя.

А может быть, на музыку ложá,
Я сочинял, по улицам брожа.
А дождь меня промачивал, лижа,
Свою натуру мокрую кажа.

И вот, не знав ни нотов, ни октав,
Я вдруг запел, на музыку поклав.
А небеса, кошмар такой не ждя,
С испугу перестали лить дождя.

Использование личности автора

В некоторых пародиях используется личность автора, особенно если этот автор хорошо известен, обладает характерными признаками. Строчки для следующей пародии написала Джуна. Известно, что она экстрасенс, и поэт, и профессор различных академий. Мы понимаем, что она очень высокого

мнения о себе. Именно это самомнение использовано в пародии – каждый её шаг сопровождается какими-то глобальными событиями. Название пародии – «Могучая Джуна» – это первая закладка для понимания результата. Концовка – строки из известной песни на стихи Роберта Рождественского. Они усиливают глобализм происходящего. Сюжет – купание в море.

*Я в море лежала,
И думал моряк,
Что новый над морем
Зажёгся маяк.*

ДЖУНА

Я к морю пошла,
И суровый моряк
От страха залез
На ближайший маяк.

Я в воду вошла,
Ни на что не смотря,
И яхты сорвались,
Подняв якоря.

Я в море нырнула
На пару минут...
А город подумал –
Ученья идут.

Использование нелогичности сюжета

Автор следующих пародируемых строк – нижегородец Павел Шаров. Это как раз та пародия, о которой я говорил, что в ней, к сожалению, применена иная с автором ритмика стиха, что нежелательно. Но, надеюсь, это не сильно портит результат, тем более что в пародии присутствуют так называемые мини-концовки, вызывающие (надеюсь) усмешку не только по окончании ее чтения, но и в процессе. Инструмент пародиста в этом случае – придание сюжету ещё большей алогичности, нереальности. Почти каждое четверостишие пародии закольцовывается на строки-оригинал, подчеркивая невозможность происходящего. Название пародии – «Случай в больнице». Сюжет – любовная встреча в приёмном покое.

*Приятное знакомство наше запомнится надолго мне,
Когда лежал я распластавшись на хирургическом столе.
Пока умелыми руками мне что-то делали внутри,
Я пересохишими губами читал стихи Вам о любви.*

Павел Шаров, Нижний Новгород

Я влюблен – не ходи и к гадалке,
Потерялся и сон, и покой,
Лишь столкнулись две наши каталки
Возле входа в приемный покой.

И пока, матерясь, санитары
Расцепить нас пытались с тобой,
– Приходите под вечер к амбару, –
Прошептал я отсохшей губой.

Вот победа над анабиозом!
Даже щечки пошли багрецом.
Вы кивнули под общим наркозом
Забинтованным крепко лицом.

Я откинулся в кому счастливый,
И, пока холодели ступни,
Шевельнулся аппендикс игривый,
Приподняв уголок простыни.

А когда мне хирург что-то резал,
Пришивая умело назад,
Я о вас, ненаглядная, грезил,
Помня тот забинтованный взгляд.

Нарушение падежей

Неправильное использование падежей – тоже достаточно распространенная ошибка многих авторов. Питерский поэт применил родительный падеж там, где следовало использовать именительный. Пародия усиливает ошибку, в каждом четверостишии используя неприменимые падежи. Концовка неожиданно объясняет, почему это происходит. Название пародии – «Питерский трамвай». Сюжет – встреча в трамвае.

*Лист березы и дуба
Поспешили на вальс...
Прошептала: «Я – Люба»,
И спросила: «А вас?»*

Александр Темников, Санкт-Петербург

Раз в вагоне трамвая,
Помню я, как сейчас,
Вдруг услышал: «Я – Рая»,
И спросила: «А вас?»

Чтобы дружбу затеять
С незнакомой мадам,
«Без пятнадцати девять, –
Я ответил. – А вам?»

Вдоль по Невскому споро
Шёл трамвай этот наш.
Слышу: «Нет, я не скоро».
И спросила: «А ваш?»

На вопрос этот честно
Отвечаю тотчас:
«Я – писатель известный»,
И спросил: «А у вас?»

Все в трамвае чумели
От беседы такой.
А чего вы хотели
От слепого с глухой?

Использование примитивизма стиха

У некоторых авторов можно встретить излишне упрощённые, примитивные строки. Пародист акцентирует на них внимание, продолжая эту упрощенность, усиливая её. В нижеприведенной пародии концовка – строчки из песни в исполнении Андрея Миронова (фильм «Обыкновенное чудо»). Вообще удачное использование известных стихотворных или песенных строк усиливает эффект пародии, завершая ломку стереотипа. Главное, чтобы их использование было действительно в тему. Сюжет пародии – донжуанство автора.

Только утром мы проснулись

И друг другу приглянулись.

Как приятно по утрам

Заниматься трам-тарам!

Владимир Морев, Нижний Новгород

Нестабильный я мужик –
По девчонкам прыг-прыг-прыг!
Как приятно по утрам
Заниматься трам-тарам.

А к обеду – вуаля! –
Я с другой уже ля-ля.
Ей на ушко мур-мур-мур
Про бессмертную лямур.

Вот такая се ля ви!
Ты не плачь и не зови,
Потому что я привык
Бяк-бяк-бяк
И шмыг-шмыг-шмыг!

В каждой из вышеприведенных пародий я специально акцентировал ваше внимание на сюжете. Помните, выше мы уже говорили, что однообразность сюжетов существенно обедняет жанр пародии. Так что будьте изобретательнее, разнообразнее, парадоксальнее! Творческих вам находок и вдохновения!

Николай БЕНЕДИКТОВ

БЕЗ ФИМИАМА

«Прославит» ли Бог князя Грузинского?

В библиотеке попала на глаза шикарно изданная книга М. Сухоруковой «Из рода Давидова», издательство «Вертикаль. XXI век», благотворительный фонд «Меценат», Нижний Новгород, 2013. Великолепная белая бумага, твердая цветная обложка, масса интересных иллюстраций, – о князе Грузинском. Взял почитать, а вдруг чего-либо не знаю о персонаже...

Вся книга насыщена православной риторикой. Она начинается с молитвы Господу с просьбой благословения написать «о Великом человеке», который «стал для многих образцом». А в книге чего только нет: жизнеописание, хвалебная песнь князю, поэтическое обращение, поэмы, поэтический плач, рассказы, песни, проза автора, А. Фунтиковой, А. Толстых, И. Юдина, В. Цветкова, И. Высоцкой, молитва, отзыв студента и проч. Из книги узнаю, что состоялся в память о князе Грузинском крестный ход, торжественно открыта мемориальная доска на здании театра «Комедия».

Смысл издания сводится к восхвалению благороднейшего князя Грузинского, «клевета на которого лилась почти два с лишним века. И до сих пор кто-то называет Его "самодуром", "деспотом", "донжуаном". Но у чистого все чисто. Закройте, наконец, свои уста, беспечные лжехулители, одумайтесь хорошенько прежде того, чтобы хулить человека с христианской душой. Премудрость Евангельская гласит: "По делам их узнаете их". Чаша добрых дел Князя Георгия Грузинского давно перевесила Его маленькие страсти в виде гнева и раздражительности... И я совершенно уверена, что недолго (так в тексте М. Сухоруковой. – Н.Б.) то время, когда Бог воочию прославит Князя в лике Святых».

Так вся книга: «Великий», «Святой», «Благороднейший», с большой буквы... Умолкните, клеветники и т. п.! И я, который не занимался специально историей князя Грузинского, стал читать очень внимательно, надеясь поменять не самое лучшее общепринятое мнение о князе и узнать что-то новое о человеке.

Увы, меня ожидало полное разочарование.

Судите сами. Когда-то Петр I дал в кормление бежавшему с родины грузинскому царьку село Лысково в кормление. Пишу «царьку», а не «царю» потому, что Грузия не была единой и тогда, в давние времена, это был один из правителей и его бывшие владения вовсе не охватывали всей Грузии. Семейство Грузинских мало жило на нижегородской земле. И лишь князь Грузинский Георгий Александрович почти всю жизнь провел в Лыскове, Нижнем Новгороде. Был губернским предводителем дворянства, майором в отставке, возглавил Нижегородское ополчение в войне с Наполеоном, но только в стадии сбора ополчения. Сам князь был отмечен горячим нравом,

у него находили приют беглые крестьяне, вел он себя на Макарьевской ярмарке и в Лыскове удельным владыкой. Про него писали современники, писатели – например, А.Н. Толстой, А. Печерский (Мельников), и в основном сложилось мнение о нем как о самодуре и деспоте. И вот данное издание должно было бы, по замыслу авторов, исправить это впечатление, даже поднять князя до уровня чуть ли не святого. Ничего не вышло. Книга больше говорит об авторах, православно-праведно заблуждающихся, но не меняет мнения о князе-персонаже. И сами факты, приведенные в книге, факты, которые не вызывают сомнения у авторов, говорят о том же. Этакий восторг, перехлестнувший пределы.

Рассмотрим эти факты.

В храм князь ездил на 12 лошадях, и без него служба не начиналась. При нем церковная служба всегда велась на грузинском языке. Это, конечно, не Суворов и не царь Петр, что ездили на одной лошади, ему по причине плохого воспитания нужно ездить на 12 лошадях. Бог с ним! Но как вам понравится служба в церкви в центре России на грузинском языке? Князь наполовину русский (мать – Меньшикова), грузинского никто не знает в Лыскове. О чем говорит этот штрих? Даже в православной среде, в богослужении он ставит на первое место себя, свою спесивую блажь. Вспомните борьбу в христианстве за понятный язык богослужений, Кирилл и Мефодия, наконец. А тут является фигура, отменяющая целый пласт церковной жизни, нарушающая все возможные каноны, и... ничего! И церковнослужители, и прихожане обязаны были подчиняться прихоти князя не потому, что был такой порядок или князь имел право менять что-либо в богослужении, нет. Они просто были вынуждены терпеть самодура. Говорит ли это о православной любви к ближнему? Говорит ли это о благодарности к стране и народу, приютившему изгнанников, стране и народу, ничем не обязанному пришельцам, стране и народу, кормившему и работавшему на пришельцев? Нет, это говорит лишь о гордыне и невоспитанности, спеси и самодурстве.

А могли ли возразить князю его ближние церковнослужители, крестьяне, торговцы, ремесленники, посетители ярмарки? Все не хотели связываться по той простой причине, что найти на него управу было трудно, почти невозможно, а неприятностей грозила масса. Князь славился мордобоем и брадодранием. Конечно, можно ласково написать «отечески поучил», «слишком горяч», «южная кровь», однако выбитые зубы и вырванные клоки бород вместе с попранием человеческого достоинства никуда не деть. Ах да, натешившись в «горячем» состоянии и будучи явно не прав, потом князь мог дать и рубль в извинение!.. Однако подобное извинение действует только среди людей без чувства собственного достоинства. Конечно, как писал поэт:

Люди холопского звания –
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказание,
Тем им милей господа.

Однако наши предки не все были такими, а те, кто был и кто этим восторгался, видимо, как раз к этому холопью роду-племени и принадлежали.

Если на ярмарке князю не нравились цены в лавке, то он мог со своими присными выкинуть торговца и распродать его товар по дешевке. То есть – элементарное безобразие и хулиганство, поскольку князь не имел

никакой формальной власти на ярмарке, не имел права следить за ценами и за торговцами. Для этого имелись соответствующие службы. Если дорого, то не купят. А князь что, был специалистом по товароведению? То ли Робин Гуд, то ли рэкети́р, скорее, конечно, второе. Не исключено, что подобное поведение князя и подтолкнуло перенести ярмарку в Нижний Новгород, где самодуру уже труднее было бы куражиться. Попробуй отними лавки у Бугрова или у Рукавишника?! То-то его кураж с перенесением ярмарки сразу сдулся и куда-то пропал.

Или вот еще сюжет. Ярмарка от Лыскова находилась на противоположной стороне реки, товары надо было переправлять к Макарьевскому монастырю, покупателям тоже постоянно требовался переезд через реку. Князь регулярно этому мешал, запрещал неудобным заниматься перевозом, преследовал их, и средств перевоза не хватало. Посетители ярмарки мучились в долгом ожидании переправы. А в результате его сословного высокомерия и разнузданности (ибо, повторяю, на ярмарке и переправе он не имел никакой законной власти) страдала и ярмарка, и ее посетители, и жители Лыскова, боявшиеся заниматься перевозом и терявшие на этом хорошие деньги.

Авторы пишут, что князь привечал беглых, не выдавал их, снабжал некоторых деньгами на устройство. Его, мол, даже обвиняли в том, что под его патронажем были бандитские шайки. Авторы возмущаются: княжье покровительство бандитам не доказано. Да, не доказано. Однако укрытие беглых не отрицают. Тогда вопрос – все ли беглые были жертвами злых помещиков? Нет, разумеется. Многие были просто-напросто преступниками. Вспомните, недалеко от Лыскова Татинец, село с названием, говорящим о привычности грабителей (татей) в окрестностях ярмарки. Татинец, конечно, не Лысково, князю не принадлежал, однако был близок к ярмарке, расположен на торговых путях. Вряд ли кто сочтет преувеличением предположение, что ярмарка притягивала преступные элементы, грабителей, убийц и всех любителей легкой наживы. Грабили и торговцев, и проезжающих, и убивали ни за понюх табаку. Беглые платили оброк князю, пишут авторы апологии великого Георгия Александровича, однако напрашивается добавление, что эти оброчные платы были своеобразной мздой за укрытие!

Можно ли считать всех привечаемых князем беглых крестьянами и старообрядцами, несправедливо преследуемыми властью и помещиками? Куда бежали несправедно преследуемые старообрядцы и крестьяне? Легко сослаться, что не на ярмарку. Бежали на Урал, в Сибирь, в Южные земли, скрывались туда, где людей меньше, где и узнать их трудней, и от властей подальше. Разве ярмарка – подходящее для них место? Сюда скорее побегут такие ухари, что мало не покажется встречному. А тут князь с «отеческой лаской». Поэтому покровительство князя бандитам не доказано, но пособничество преступному элементу неоспоримо. Экий благодарный изгнанник, пригретый Россией!

В книге указано, что князь был широко образован. Для нормального человека образование подразумевает и воспитание, хотя и среди университетских хорошо образованных людей встречал, к сожалению, недостаточно воспитанных, если хотите, даже хамов и самодуров, однако мало находил людей, готовых оправдывать их «необразованное» поведение. Геббельс, защитивший в Гейдельбергском университете докторскую диссертацию, турецкий султан, в разговоре с образованным французом о структуре костей шеи человека отсекающий голову рабу, чтобы показать свою правоту, кандидаты наук Фарион и Яценюк, доктор наук и вор

в законе Иоселиани, врач Менгеле... Господи, о чем мы говорим, вопрос предельно прост! Еще Жан Жак Руссо получил первую премию Дижонской академии наук за сочинение, в котором доказывал, что образование само по себе не влечет улучшения нравов. Тогда, в 1750 году, это было свежей мыслью, но сегодня – это банальность.

Было ли княжье хамство нормой в то время?

Императору Павлу поступила просьба от грузинского народа помочь вернуть в Грузию крест равноапостольной Нины, который находился у князя Грузинского. Павел обратился с этим посланием к князю Грузинскому и... получил отказ!

Забавно – Павел числится тираном и самодуром, однако он не стал отбирать крест у князя, хотя эта реликвия совершенно очевидно должна принадлежать Грузии, а не князю. Император лишь потребовал сместить его с поста губернского предводителя дворянства, что и было сделано. Павел в этой истории выглядит государственным и ответственным человеком, а князь Грузинский на Грузию... не обратил внимание. Каково должно быть мнение Православной церкви по этому поводу?

Майор запаса Грузинский (говоря современным языком) никогда не воевал ни за Грузию, ни за Россию. Грузия переживала во второй половине XVIII века тяжелые времена. Полчища врагов приходили на его первую родину, резали зверским образом население (вспомнить хотя бы тбилисскую резню, учиненную персами в 1796 году). За время жизни князя Россия выдержала четыре войны с турками, две с персами, две со шведами, несколько войн с французами и англичанами! Так вот, русского генерала Багратиона из грузин знаю, а о военной доблести князя Грузинского мне неизвестно ничего... Ни Грузия, ни Россия его не волновали в достаточной степени, чтобы оторваться от своей вотчины, где «хан» и «падишах» мог бить, драть бороды, не рискуя получать в ответ. Так что грузинский язык на богослужении в церкви на этом фоне явно служит не показателем тоски по родине, а только спесью и издевательством над окружающими.

И наконец – хозяин, глава дворянства и руководитель ополчения Грузинский...

Хорошим хозяином был предводитель губернского дворянства Нейгарт. Он разводил племенной скот, создавал современные производства. Он сам, и его предки, и потомки богатство свое и уважение получили в основном воюя за Россию. Князь Грузинский много лет был предводителем дворянства и собирал деньги на ополчение. Хорошо. Но когда царь обратился к дворянам с призывом собирать ополчение и быть примером в этом деле, то князь Грузинский до фронта почему-то не доехал... А деньги – деньги, уж извините, заработаны не им.

Избранный предводитель дворянства... Свидетельство ли это всенародной любви к князю? В наше время сплошных выборов мы давно убедились, что данная процедура сама по себе ничего не гарантирует. Выбирали и Ельцина, и Януковича, и Гитлера, и Обаму, а последнего избрали даже лауреатом премии мира. Аргументация от выборов сегодня, мягко выражаясь, неубедительна. Она не говорит об уважении к князю, о его душевных и деловых качествах, она всего лишь говорит о его возможностях в тех условиях (деньги, титул, связи), но эти возможности созданы не им, а ситуацией.

Из сказанного нетрудно сделать вывод, что фигура князя Грузинского дутая. Никакой он и не святой, и патриот сомнительный, и воспитанием не блистал, и законопослушностью, увы, не отличался. Неблагодарный человек, чье имя ассоциируется скорее с Шеварднадзе и Иоселиани, не-

жели с Багратионом. Печально, что подмена смысла православной морали привела к подобной попытке возвысить эту сомнительную личность, про которую никогда бы не писал, если бы не помянутый повод. Как повторял великий богослов и писатель митрополит Вениамин (Федченков): «Христианство хорошо, христиане мы плохие». Неприятно!

И помощь ли это православию?

Об этом стоит думать и властям, прежде чем прикреплять мемориальную доску, и издателям, печатающим подобные книги, и авторам, о подобных деятелях пишущим.

Весна КАПОР

Родилась в городе Невесине (Республика Сербская). Окончила филологический факультет Белградского университета. Работает редактором литературной программы в белградском Студенческом культурном центре.

Автор романа «Три одиночества» (СКЗ, 2010; Филип Вишнич, 2011). В периодике публикуются ее рассказы и литературная критика

Живет в Белграде.

КАК В КИНОТЕАТРЕ

Ей очень нравился этот парень. Он был женат, понятное дело. Понятное дело, потому что все улыбающиеся ей, со скрытым значением и обещающе, в течение всего дня, писали сообщения путем различных технологических устройств: да, дорогая, да дорогая... каким-то другим женщинам.

Ей писала ее мать: да, дорогая. И: нет, дорогая.

Биляна танцует на своих тонких дорогих шпильках. Пока шагает. По светлым коридорам современных «святынь»: корпорации. Странное слово. Пугающее. Обозначает, если перевести на человеческий язык: объединение, сообщество. Основывающееся на интересах. Странное слово, для тех, кто не подразумевает за словом «интерес» – приказ. Слова «тишина» или «луг», с трудом понимаются людьми, красующимися в костюмах одного и того же вида, пока поддерживают миф, появившийся из когда-то безобидного слова: согроасио. Немыслимы слова «дом» или «друг», но корпорация, как новая отчизна, слово нужное. По этому, по всей видимости, понятное.

Биляне не нравятся занятые мужчины. Те мужчины, которые каждое утро приносят на одежде волосы разной длины и цвета. Ей не нравится, когда они приходят на работу в чуть-чуть поглаженных рубашках, с линией на рукавах. Когда открывают рот, а кариес на пятерке перекрывает все их слова. Когда двигают кромку ее юбки своими наглыми взглядами. Когда, о, когда день ломает свет сквозь окна со всех сторон здания, когда свет, в полдень, двигает весь мир, когда все моргает этим светом и кружится, прозрачное, с бликами, а она остается одна, внутри, в пустой стеклянной коробке корпоративной дирекции.

Биляна не курит. Страсти в полдень, из-за спертого дыма, на балконах и боковых лестницах, – эти страсти делают ее окончательно несчастной. Ее одиночество вырастает в белизну, которая не может соприкасаться с другим цветом, любым другим цветом.

Биляна – девочка, удивленная своими длинными ногами. Она не верит, что они ее. Она не верит, что этими ногами способна толкнуть в уныние клубы дыма тех, что пишут на дисплеях: да, дорогая, пока солнце переливается и погружается в зрачки. Она улыбается белой прекрасной улыбкой, естественно, здоровыми зубами. Даже на шестерках без кариеса. Родинка над губой, и еще одна на левой щеке, потом одна под челюстью, делают ее улыбку неуверенной. Беспричинно, но она этого не знает. Поэтому нежность, пока она говорит слова типа: прошу тебя, если можешь, или: отправь сегодня оптимальные предложения по... или: в случае снижения цены стали сегодня, или: если продается старая коллекция по цене... та нежность заслоняет ее глаза. Поэтому все те в галстуках, скрывающих приглушенное тяжелое дыхание, каким оно бывает, пока на них никто не смотрит, все те табаком перекуренные мужчины, всех их страстно влечет и у всех слюнки текут.

Но Биляна презирует обманы. Поэтому в своих юбках до колен хранит тайну и только шагает, как будто у коридоров нет концов, как будто пространство без перегородок, как будто стеклянные стены двигаются перед ее коленками.

Ах, но тот парень. И его жена. Они ей нравятся. Ей нравится поболтать с ними. В эти минуты ее нежные блузки поднимаются как паруса под ветром. Как будто ветер поднимает мир над чертой гравитации плоскости, как будто находясь в садах белых цветов. Жасмин, сирень... все запахи в мире Биляны всегда белые.

Биляне кажется, что жена парня, Ольга, благодаря спокойствию своего пухленького лица, выглядит намного лучше тех костлявых подтянутых лиц дам, с которыми Биляна проводит время в частной жизни. Ольга не улыбается, и ее дешевые вещи становятся светом новогоднего освещения на бульварах. На ее платках растут цветочки, мелкие, веточками, как на высоких манящих прогалинах...

Биляна время от времени уговаривает парня подарить Ольге что-нибудь из одежды, дорогое и уникальное. Ольга моргает, вращает глазами, кажется, весь мир кружится в этом взгляде, и равнодушно говорит: боже упаси. Мне это зачем.

В тот момент все юбки Биляны тускнут, бледнеют и садятся. Чувствуют они себя лишними. Их охватывает чувство стыда. Кажется, что они не сшиты у превосходных портных, руками магов, идеями которых восхищаются до изумления и чертежи которых вызывают тревожное чувство каждый сезон.

Пока парень делает кольца из дыма, довольный тем, что Ольга сильнее всего магазина, в котором упаковано полмиллиона долларов, Биляна вздыхает быстро, незаметно. Под Ольгиными пальцами без маникюра всегда шуршат какие-то бумаги, переплет, в котором кроется ее сила Самсона.

В клубе, который время от времени собирает их из разных частей города, время складывается и колыхнется, как шелк. Ольге это нравится. Что-то аристократическое, накрахмаленное, из Толстого, какой-то такой мир, легкий и прозрачный, проскакивает ветром из-под бархатных штор, целующих мраморный пол. Она заказывает кофе, высоко поднимает подбородок, открывает книгу и окунается – в салон двести лет тому назад. В котором графиня В. со страстью защищает веру в свободу личного выбора.

Она очень дорожит этим высоко поднятым подбородком, вытянутой шеей – это возвышает ее профиль над суматохой, атакующей из внешнего мира, выше блеска новой буржуазии и того самого собственника клуба. Господин, который оплатил отделку клуба, каждый день ведет переговоры

о цифрах, которые Ольга писала только на уроках математики, и смотрит на нее искоса, пока она: пьет кофе, как будто никого в мире больше нет, тихо вздыхает, переворачивает страницу, потом закрывает книжку и смотрит в беленькие полосы света во дворе. В какие-то моменты он ее презирует и ему хочется задавить ее как таракана. Эту маленькую зазнайку-интеллигентку, которая ничем не восхищается! А потом, вдруг, иногда, ему хочется сесть рядом с ней и молчать. На белой подушке ручной работы, сделанной в Кашмире.

Биляна выглядит лебедью рядом с ней. Но, пока они сидят друг напротив друга, между ними ощутимо какое-то странное чувство. И ощутимо, что понятие красоты рассыпается и влево и вправо.

Биляна хорошо воспитанная девушка. Выбирает слова, всегда.

– Прости, пожалуйста, ты можешь приехать установить мне программу на компьютере?

– Прости, пожалуйста, я купила ноутбук...

– Прости, пожалуйста, ты разбираешься немного в стиральных машинах?

Биляна постоянно что-то спрашивает у парня. Он терпелив. И приезжает на каждую просьбу в ее квартиру. Квартиру, заполненную солнцем, именно насколько надо, квартиру, хорошо пахнущую. Податливую.

Биляна чувствует себя неловко, улыбается, ведет себя неуклюже как девочка, у которой впервые в жизни появилась тайна. Парень серьезен, предан делу, из-за которого его пригласили. Она каждый раз разворачивает какие-то новые сладости. Например, шарики Моцарт... таким образом она его удерживает на минуту-вторую дольше. Иногда она сидит с закрытыми глазами, пока он возится с техникой. Он закрыт в ее жизни. Он никогда не уйдет. Ее родинки улыбаются успокаивающе. Он смотрит на нее со стороны, морщит лоб и подмигивает. Ее длинные пальцы двигаются. В тот момент он оборачивается и говорит: завтра заканчиваем. Встает. Шоколадные конфеты рассыпаются вслед за ним. Биляна их не ест, чтобы двигаться легко, на своих ножках, длинных, как тень, легко и безотказно красиво.

Если соединить точки, находящиеся в одном ряду, получается прямая линия. Если эти точки, случайно, рукой творца, подвинуть в какую-нибудь сторону, получатся разные линии и отрезки. Или формы. Иногда, скажем, треугольник.

Биляна весь день иногда проводит с уникальной одеждой. В салоне над клубом, пока ждет парня с Ольгой. Куклы в витринах красивы как сон. Ольге иногда, пока подходит к витринам, кажется, что Биляна одна из этих кукол.

– Если бы я была парнем, – говорит она мужу, – я бы безумно влюбилась в нее. – И засматривается в точку над его головой, туда, где вечерние тени собираются в ночь.

Потом открывает книжку и продолжает свою жизнь, в которой он не задерживается надолго.

У Биляны чешутся коленки, собственник клуба наполняется злостью, как бокал пива пеной.

Биляне так хочется снять обувь с одной из кукол и обуть Ольгину жизнь в шаги, какие даже во снах не снятся. Собственнику клуба хочется схватить ее и вытрясти из дешевых туфель, от которых ему стыдно перед посетителями клуба и партнерами, как будто они его собственные. Но Ольга – она ничего этого не замечает. Она положила ногу на ногу, качает туфелькой, и кажется, что этот маятник ее ступни – единственное движе-

ние во всем космосе. Удерживает всю жизнь там, где только и возможно, в книгах.

Биляна не может придумать, что бы купить новое, чтобы парня направить в свою безгрешную жизнь. У Биляны есть новый «Порше» и тяжелая татуировка на душе. Биляна едет на Ямайку, Биляна возвращается с Кубы, у Биляны новая Версаче сумка, Барберри платок и зонтик, у нее есть, у нее есть, у нее есть...

Биляна сидит на балконе в Мексике... звезды кружатся по кругу мыслей, Пэрис Хилтон хохочет за соседним столиком, далекий горизонт гор опускается на морские камни, как бальзам на рану.

Кто-то подает ей коктейль. Касается ее колен, тех самых, уже сто раз похищенных взглядами.

И говорит: ты знаешь, кто я такой? У нее кружится голова от тошноты. – Я король стали.

– Хахахааха... смеется она. – А я царица Савская. Проваливай.

Это она расскажет Ольге и парню, когда вернется. Так скучны эти путешествия, в которых никто не читает книги, высоко поднимая подбородок. Никто не подмигивает. Никто не избегает тебя. Все за тобой только гонятся.

Только что еще купить, чтобы парень услышал ее рассказы?

Пейзажи Мексики – они хотят навсегда остаться в ее глазах.

Ага, вспомнила! Куплю плазму. Большую, чтобы мир навсегда был похищен для ее глаз. Безграничные звездные ночи, неосвещенные края божественной привлекательности, крыши городов, по которым ходила...двигающиеся картины мира будут пробегать тенью по ее дому. Как в кинотеатре.

Она возвращается в Белград. Беленький купол корпоративного здания кажется домом.

Биляна опускает свою длинную руку на плечо парню: прости, пожалуйста, я купила плазму...

Весна длинная. Вечером Биляна с парнем провожают красное солнце за черту горизонта, как будто опускают фонарь. В полдень оно идет в шаг с ними. Проливает жару за дверь. И они ускоряют свои шаги к ее новой квартире. Все-таки утренний перерыв – это самые безопасные часы дня для них, часы, когда их никто не будет искать. Они тогда садятся удобно на балконе. Два кресла с огромными подушками глотают удобно нехватку слов. Каждый смотрит в свой бокал пива. Пенка белеется на краю, горькая и сладкая одновременно. Биляне нравится, когда желтые капельки пробиваются через пузырьки пены. Кажется – время остановилось. Белыми усами подмигивает другой подушке. И вздыхает. Дымовые кольца ей улыбаются. Ей кажется, в тот момент солнце пролилось на весь мир, как жженный купол над Вавилоном.

Ах, эта плазма. Столько хлопот вокруг нее. Программирование длится долго, а обучение собственницы еще дольше. А Биляна хочет, чтобы у нее были все каналы мира. Все, какие пересылают все мировые спутники. Она хочет съемку с Бали, истории о королеве Елизавете, о ящерице из Эритреи, о... Она хочет мир на ладони, всегда.

– Это был последний урок, больше я повторять не буду – говорит парень, отдавая ей пульты управления. – Ты запомнила?

– Какой ты наглый, – отвечает короткая юбка, намного ласковей, чем королю стали.

Биляна умеет подобрать слова.

Вся стена переполнена волнами движущихся теней. Внутри плазмы бурлит жизнь.

Коридор окунулся в свежесть сумерек. Переполненный вздохом Биляны. Ожидаемых и предвидящихся движений парня. Они притеснены в плывучем мгновении, определенность конца которого видна на ключе в двери, который объявит окончание украденного времени. Парень дышит медленно.

Родинки Биляны успокоились. Молчание выливается, как свет, перекрывающий липкие тени ночи. Мир потерял формы в их глазах. Чувствуется только приятное пузыристое желание на губах. Поблескивает играющими красками.

Парень делает небольшое движение влево, и ее волосы, хорошо пахнущие, отпивают сладость из-под языка. М-м-м... их носы встречаются, как замедленные силуэты прохожих друг мимо друга людей.

Вдруг по безмолвному пространству рассыпается звонкий голос.

«Конечно, речь идет о треугольнике. Кто не знает такой расстановки точек, может считать, что и не жил».

Биляна с парнем выскакивают из тени, одевают свои тела. Смешливо смотрят друг на друга.

– Как ты думаешь, я ошиблась с королем стали? – спрашивает Биляна. А ей хочется, чтобы руки парня победили голос Ольги. Чтобы это стало ответом.

– Ошиблась. Ты дуреха.

Голос Ольги тянет их назад. С плазмы, в крупном плане, с поднятым подбородком и глазами, к которым никто не может остаться равнодушным, смотрит Ольга, прямо на них.

«Впрочем, нет ничего нового под куполом небесным. И те часы обманчивого бытия, в течение которых наши жизни растягиваются в треугольник, – они лишь подтверждение, что мы горели. Думаю, что в этой книге каждый найдет свое мгновение. И историю».

Подмигивает и улыбается им. Через фильтры камеры, через спутниковые сигналы, прямо через плазму. На ладонь Биляны. Прямо с далекой цифровой звезды, звонко, спускаются слова и слезится глаз под судорожно играющей бровью.

Как в кинотеатре.

БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ

Стояло легкое лето. Прозрачное, круглое и свежее. Мягкий ветер раздувал горячие облака.

Я перелетела Европу. Через облака кажется, что в волнах и вуалях хлопчатобумажной высоты зависли, как будто в дымке далекой земной, целые селения. Видно их очертания, ясно и чудесно, как летом, бывает, нависает летняя жара, и пейзаж перед глазами превращается в незримый небосвод. Это те же города? Отражения вне времени?

«Надо за тобой угнаться», – говорит Дашенька, пока пьем вино в просторной французской кухне, наверное столетней давности. Ее тихий сын и мой муж, один – американец, другой – серб, играют в настольный теннис в парке перед домом, в котором поздней ночью злые подростки бегают и кричат во весь голос, как дикие кошки. Дашенька – это я так люблю называть ее, она высокая тоненькая брюнетка, любительница путешествий, которая кокетничает с идеями социальной справедливости, интернационального социалистического братства народов, сторонница ангажированного искусства... Но в конце любого дня, где бы ни находилась, она заполняет стаканы на длинной ножке красным вином и говорит тосты.

Дашенька проживает свои сны и живёт внутри них.

Ее слова становятся у меня поперек горла. Как легко говорить.

Сидим мы, вдвоем, каждый вечер. Говорим тосты. Наш визит в ее летнюю жизнь обернулся непонятной беготней и рядом нелепых недоразумений. Какой-то колкий холод затесался в нашу встречу.

Иногда приходят воспоминания про другие дни, время давнее, из-за которого мы и купаемся в роскошном свете Парижа. Вместе.

Мы колючие. Дашенька говорит, что это влияние ретроградного Юпитера или какого-то другого небесного астрологически-астрономического события. Я не знаю, верю я в это или нет? В любом случае – это всегда хорошо: найти причину в чем то извне.

Мы боремся с ходом времени в себе появившимися и пропавшими историями.

Я признаюсь, мой муж и я, гости Дашеньки, превратились в ужасных бегущих туда и сюда туристических марионеток.

Мы стоим на мосту Александра III, величая декадентство. У Обелиска на площади Согласия нас оковал дух империи. Он касается рукой законов Хаммурапи, говорит, что изучал их в этом году тщательно, вместе с нашим старшим, учащимся в седьмом классе. Я толкаюсь, стараюсь не улыбнуться, там, рядом с Моной Лизой, чтобы показать младшему, проявляющему талант к живописи, какая мама милая дама. Мы хотим взобраться на каждую колокольню, на которую вообще возможно взобраться, хотим зажечь свечи в храмах, которые Дух святой покинул в глазах земли, как роскошный улей, переполненный жужжанием, но без меда; хотим, обязательно, провести ленивое утро на Монмартре... да, да, именно, хотим пить кофе во «Флоре» на Сен-Жермене, как делали Симона и Сартр. Хотим...

«Тьфу, вы же настоящие туристы!» – говорит Дашенька.

Лето катится, свежее и светлое, перед нашими глазами. Где-то глубоко в моей душе тикает далекое прошлое. Теснятся поселения под облаками.

Мы с Дашенькой. Знаем ли мы друг друга? Целое столетие тому назад наши бабушки проводили часы чистые, снежно-белые, воскресные, в скрытой церквушке. В той церкви предок ее сына причастил повстанцев перед большим восстанием. Предок моего мужа поживает в тени той самой колокольни, под одним камнем с десятками погибших в течение первого года Второй войны. Мы с нею провели вместе одну войну. Вслух разговаривали, освещая словами длиннющие, болезненные ночи. Под языками и сейчас в лед превращаются слова, слова невысказанные, слова скомканные, воспоминания, не дающие спать. Ну, и что теперь?

Вечер – похожий на этот, в морганье которого мы выпиваем свои воспоминания. В подножии далекой горы. Лето. Свежее, молодое. Вечер осыпается пеной безрассудной радости. Внезапный мир, из-за красоты лета, и прекрасный воздушный шарик несет нас в чудесное путешествие.

Посмотреть в себя. Откуда-то из далеких глубин времени, из уснувших воспоминаний, как первые петухи, накатывает волна одного чувства: мы живы! Живые, живые! Выдохся ужасающий змей ненависти. Каждый дышит грустно в своем завоеванном мире. Расселились и зажили снова, все перепуганные, все каким-то образом пережившие. Лето на дворе, рассыпчатое и прекрасное. С., мой друг, недавний, принес свою чудесную улыбку.

В уголках губ, когда они растягиваются в улыбку, как тайна, собирается отстраненная судорога, и глаза задумчивы, как непроходимый бор во время горных вечерних сумерек. Ему не нравится, что он здесь. Его жизнь в другом месте, а это – это место из жизни отца. А отец – он в плену или убит, но посещает С. и наяву, повидаться. Поэтому он здесь. «Здесь безопасней, чем где-то еще, среди своих», – говорят голоса более мудрых людей. Поэтому он, чуточку шая, иногда по-детски неуверенно, преодолевает дни под горой. Как послушание.

Тогда, когда мы с Дашенькой познакомились с ним, расстилалась свежесть сумерек как след ушедшей жары, одновременно с сигналом тревоги. Мы остались в каменном дворе одного дома, военного кафе, и подняли стаканы. Мы вдвоем и странный путешественник, поющий тихо, низким голосом: *Stranger in the night*. Мы делились сверкающей пылью в глазах, смеялись, беспричинно, хохотом, безудержно, как это бывает под натиском грустных и тяжелых дней. Вокруг крошился и вздрагивал мир. Жизнь была всего лишь пламенем, зыбким как у свечи. В любовной момент это пламя могло вильнуть ввысь и вспылать на небе как звезда. Бездыханная. Война же. Нас учили так: приходит время и по земле ходят тени и требуют выплаты долгов. Нам забыли сказать, или это всем казалось не суть важным: рассчитываемся за былую роскошь, чужую.

Вечер перемирия. Мы верим, что никто не будет стрелять... Никто не будет стрелять. Никто, никто, никто. Тучимся облаками, вихрем кувыркаемся и кружимся по улицам. Потрясающе пахнет липа. С. приносит улыбку. Сигаретку в тайне губ. И книжку под мышкой. «Вальс на прощание».

Дашенька, большими шагами неутомимого любителя прогулок, останавливает вечер. Говорит – я вернусь. Только пробежусь коротко. Будем ждать, говорим. И еще говорим: «Водка и водка с апельсиновым соком».

Дашенька стала американкой. Она верит, что все возможно. Мой муж не верит в это. Он верит в точные вещи. Она – в невидимые силы психики. И в душу. Моей магией являются слова. Между беспокойствами Да-

шеньки и моего мужа – я, разделенная, тихо живу. Пока выпиваем вино, зарожденное на зеленых склонах и равнинах Бордо, волнами накатывают прекрасные края нашего детства, сеткой ловят рассказы, нежностью заполняются глаза.

Мы с осторожностью выбираем воспоминанья. Кое-какие не упоминаем. Они тикают внутри нас, как тени давно забытых ночей. Мы с ней хотим быть счастливыми!

Дашенька любит слово «творческий». Он, мой муж, – слово «смотри». Я отдыхаю, втесавшись в тени уже давно начавшейся ночи, кружащейся в остатках света. Думаю: имя прилагательное – женщина, и глагол – мужчина. Выбираю свои слова: дом, дети, отечество. Я – имя существительное.

Мы стоим на мосту. Уже целый час измеряем его длину. Я же говорила: Согласия, понятно? Сумасшедшая женщина, полностью, сумасшедшая, злится мой муж. Он терпелив и предупредителен. Продолжает ждать. Он дал слово, мы встретимся здесь! Я смотрю на него, облокотившись на перила. Он всегда знает, где он и что надо делать. Доверяю ему вести меня и молчу. Отходит от меня. Превращаясь в точку в зрачках. В животе сжимается и завязывается какой-то узел. Как будто я одна на свете. Если он уйдет, если придется все одной, если бы пришлось все одной... и слезы собираются на ресницах. В какой-то момент все должны уйти, знаю. Конкорд перед глазами как белый медальон, как неизмеримая полоса света, парящая, соединяющая меня с мужем. Мы стоим в двух концах, понимающие друг друга, нужные друг другу.

Париж, со всеми своими обманчивыми явлениями, блеском и с устрашающими историями, станет всего лишь одним из воспоминаний, которые будут перебирать наши утра. Как и в одном конце моста написано: король Луи и Мария Антуанетта были проведены революционерами из Консьержери через мост до площади Согласия и казнены.

Гильотина находится в тени Обелиска из Луксора. Двери между мирами и сейчас открыты. Только нужно долго стоять облокотившись над Сенной. И ждать.

Дашенька на каком-то другом мосту, говорю и раскрываю объятия мужу, как будто впервые вижу его. Обнимаю его, нежно. Мы чувствуем себя, как будто кто-то обманул нас, взвесив меньше дней. «Всегда, и вновь, я бы выбрал тебя», – разрезает воздух над моей головой.

Эти люди сумасшедшие. Сумасшедшие, сумасшедшие. Подпрыгивает Дашенька на мосту Инвалидов. Я же им ясно сказала. Мост Инвалидов. Господи, насколько они одержимы историей, жалуется она своему маленькому сыну, пока большими шагами измеряет снова и снова мост, на котором ждет. И они насколько не дорожат мною. Им только хочется сфотографироваться у достопримечательностей. Она вдруг одинока и хрупка. Путешествует, чтобы жить. Каждое место пробует на вкус, полирует взглядом, и, до того как захочет вернуться, она проживает одну короткую жизнь тут, где сейчас находится.

Как будто кто-то запутал наши следы, безвозвратно. Как будто никогда больше не пойдем друг друга. День стал негодным, сломавшимся. Дашенька уходит в солнцем заполненную квартиру, квартиру с видом на парк, а мы к Елисейским полям. Нас трясет одна и та же ярость.

Туча из прошлого кропит по нашему дню. Середина июля, жар невыносимый.

Назавтра мы поднимаемся в чистый свет Монмартра. Нас четверо. Ярость мы полили смехом, проглотили каждый свою часть мыслей, молча выпили по стакану вина. Базилика Святого Сердца открывает вид

на невиданную роскошь города и на собственное я. Что-то здесь странное, думаю я. Свод церкви византийский. Иконы по бокам. В бедекере, читаем судорожно, написано: смесь византийского и романского стилей. Зажигаем по свечке. Удивительный сын Дашеньки шепчет: «Отнеси меня в Герцеговину, я загадал желание». Его легкие ступни устали от больших шагов матери.

Солнце круглое и белое перекатывает через обрез горизонт, и прозрачная ночь перекрывает небосвод. В девять часов вечера у тебя все еще остаются хоть три плана, пока не спустится ночь, а потом, вдруг, на тебя накатывает сон, как зеркало в отражение, и тихо, как паутину, собираешь день под веки.

Отличная книга, говорит С. и с улыбкой опытного человека, хотя младше нас двоих, отправляет кольцо сигаретного дыма в прозрачный июльский вечер. Подносит улыбку к моему лбу и говорит: только... И мой белый свитер, подаренный Дашенькой, вдруг становится красным. Как шампанское, выливается дыхание моего друга. На мои руки. В мой крик. Чей-то голос, как будто откуда-то издали, кричит: вниз, вниз. В моих ушах нет ничего, кроме собственного голоса. И тела моего друга, его лица пойманного с беззаботной, счастливой улыбкой, с оборванным предложением. «Только, только, только...» Переливаю это мгновение. Под покровом каждого дня. Небо звездное и страшное. Его рассекают очереди пулемета.

Большой шаг Дашеньки врывается в кафе. Теперь понимаю – античный театр под звездным небом. Такая была наша жизнь, в те времена. Под горой. На границе, границе миров и государств. Царила смерть, везде. Бросала свои сети и поедала нас. Пока мы читали вечные книги и произносили вслух: да здравствует и пусть поживает с миром. Пока мы прикасались к предкам сквозь время. Бежали и возвращались, в драму под открытым небом. Мы со страстью принадлежали происходящему, были частью этого спектакля. Это был наш дом.

Да, Дашенька ловила призраки этой ночью. Ее манил твердый шаг, носил через толпу по улицам, она сказала: ждите. Мы сказали: ждем.

Я стою на площади Согласия, среди блеском политого дня, в городе, где свет растягивает тьму и день такой длинный, что, пока он длится, успеваешь, как говорится, и убить, и раскаяться. И в конце, в хрупкие сумерки, на самом деле уже ночь, после катарсиса, успеваешь даже выпить вина. Стою, пока та точка, в которую превратился мой муж, терпя июльскую жару, забывает суматоху города, который вселился в нас, сосредоточенный на поиски, злится безумно. Мнется далекое лето, под горой. Улыбка и блеск потерявшегося человека, читающего «Вальс на прощание», перекрывает весь мост. Только проносится эхо улыбающегося слова – только... он мог еще только остаться в живых, думаю, пока солнце полирует мир.

Лето вздувается, как парус над Европой. Теплый ветер превращает все края в мягкие, круглые, мглистые. Если мерить по высоте, глядя из самолета, мир кажется единственным местом, и возле каждого края моргают мглистые поселения. Весь мир видимый – это граница неба.

Свечки в церкви Святого Вознесения Господнего в Н., под горой, переплетаются и возносятся в высоту, со звуком и горячо, как голоса. Тут, рядом с ограждением, я все еще стою и кричу. Я не ушла. Тут, все еще в пути пуля, которая оборвет предложение С. Тут, тут пуп всего мира. Роится время, и дыхание завертывается теплотой.

«Господи, благослови города, в которых живем», – перевожу слова литургийной ектеньи в множественное число.

Свет Парижа ложится в тень рассказа. Я летала и вернулась. Какое-то шурушанье в воспоминаниях двигает моим сердцем. В тот день, когда мы искали друг друга в ярости на мосту, в тот день много лет тому назад, мы искали место выпить кофе с С., в звонкий вечер перемирия. А назавтра, пока смотрели своды византийские в католической базилике, мы похоронили его. Июль – это не наш месяц, Дашенька.

Та свечка, в церкви Святого Сердца на Монмартре, в тот день, она была для него. Под своды, под которыми кружатся воспоминания о сотне тысяч французских бойцов, мы принесли его взгляд из грустной одной войны. Только «Вальс на прощание», я больше никому не рекомендовала.

Дашенька продолжает свое парижское лето. Спрашивает: «Париж подтолкнул тебя писать?»

«Не-а, – коротко брызгают слова на мониторе и под пальцами, – меня толкнули мы».

Перевод с сербского Оливера ЖЕРЕНИЧА

Розалия КУЗНЕЦОВА**ЗАВЕТЫ ПАВЛА ФИЛОНОВА**

В раннем своем романе «Художник неизвестен» (1931) Вениамин Каверин поведал непростую историю молодого художника, мучительно ищущего свое место в новой послереволюционной жизни. Бытовые перипетии и личные трагедии накладываются на общую драму русского художественного авангарда, взметнувшегося в те годы стремительным взлетом и так до конца и не понятого. В главном герое романа находили черты ярких творцов этой уникальной поры в художественной жизни России – Велимира Хлебникова, Николая Заболоцкого. Называли среди прототипов и имя Павла Филонова, живописца и графика, главы нового направления аналитического искусства, особого варианта авангардизма в изобразительном искусстве. Он был так же не приспособлен к практической жизни, как и каверинский Архимедов, был таким же бесребренником, так же ненавидел все уродливое и глупое, во всем искал необычное, так же преодолевал себя, беззаветно служа своей идее. В конце романа, спустя некоторое время после гибели возлюбленной Архимедова, появляется живописный шедевр, изображающий погибшую девушку. Читатель понимает, кто ее автор, но под картиной подпись – «художник неизвестен».

Павла Филонова называют самым неразгаданным художником русского авангарда. Смешение высокого, Вселенского, по сути, строя с мелочами и подробностями жизни. Россыпь беспредметных, фигуративных форм, за которой вдруг угадывается нечто целое, при этом необыкновенно важное. Постоянное стремление осмыслить и проанализировать окружающую жизнь, отобразить не поверхность, а суть явлений. Отсюда все эти вопрошающие взгляды людей и животных на его картинах, ощущение смотрящих прямо в тебя лиц.

Именно Филонов, вместе с Александром Родченко и Лазарем Лисицким, больше всех повлиял на становление западного авангарда, оказал заметное влияние на творческие устроения многих художников и дизайнеров новейшего времени. Подтверждение этому можно найти в ставшем таким актуальным в последние годы искусстве выставочного плаката.

«Ленинградские» воспоминания старой горьковчанки Розалии Марковны Резниковой-Кузнецовой, публикуемые здесь ее дочерью, приоткрывают атмосферу самых ярких лет художественной жизни Петрограда-Ленинграда 1920-х годов. Будучи студенткой Ленинградского художественно-педагогического техникума, она была в самой гуще выставочных событий, вернисажей, диспутов, вечеров в Доме печати на Невском. Взволнованные и непосредственные её впечатления, зафиксированные ею моменты общения с великими художниками, дружеское знакомство с некоторыми из них, в первую очередь с Павлом Николаевичем Филоновым, конспекты его лекций о новом искусстве – все это в какой-то степени приоткрывает атмосферу той загадочной эпохи.

Валерия БЕЛОНОГОВА, кандидат филологических наук

Автор предлагаемых вниманию читателя воспоминаний о «филоновском» Ленинграде 20-х годов прошлого века, – моя мама Розалия Марковна Резникова-Кузнецова (1902–1984). Село, в котором прошло её детство, до революции носило тёплое имя Солнцевка (Сонцовка, Сонцівка) Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Советская власть была установлена там в 1918-м. С тех пор это село Красное Красноармейского района Донецкой области.

Окончить Киевскую гимназию и художественную школу она не успела, помешала революция. Ленинградский художественно-педагогический техникум тоже пришлось оставить, надо было зарабатывать. В первую пятилетку она работала переводчиком, затем секретарём по иностранной документации на строительстве консервного завода «Гигант» в станице Крымской Северо-Кавказского края.

Города Одесса, Сочи, Туапсе, Гороховец, куда заносила её и её мужа судьба, с его прекрасной архитектурой, и, наконец, город Горький – всё запечатлено её точной рукой в рисунках и набросках. В Горький наша семья приехала после войны. Отец работал механиком на волжских судах. Мама растила детей, занималась общественной работой. Она всегда активно участвовала в газетных и журнальных дискуссиях, печаталась в периодике. Ее хорошо знали в медицинской среде города как опытного и добросовестного переводчика.

Большую часть своей жизни мама прожила в Горьком. Но всегда существовал в её жизни Ленинград, где прошли недолгие, но такие насыщенные молодые годы, где жила лучшая подруга – Вера Владимировна Милютина. В семейном архиве сохранились многочисленные письма Веры Владимировны. Она из тех шести художников, которые все блокадные, все военные годы работали в Ленинграде под руководством прекрасного пейзажиста Анны Петровны Остроумовой-Лебедевой. Стараниями Веры Владимировны Милютиной сохранены и «устроены» в ЦГАЛИ СПб (Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга) многие бесценные реликвии из частных коллекций, в том числе и мамины конспекты лекций Павла Филонова, которые вместе с личными впечатлениями послужили основой этих воспоминаний.

*Жанна КУЗНЕЦОВА, ветеран «Радио России»,
заслуженный работник культуры*

Старое письмо

Передо мной старое, пожелтевшее, ломкое от времени письмо, написанное мною в апреле 1927 года, в Ленинграде. Оно продиктовано молодой впечатлительностью, не блещет эпистолярными красотами, но лучше любых воспоминаний переносит нас непосредственно в те далёкие дни, в Дом печати, на выставку картин школы Филонова. Привожу письмо почти целиком.

«...Пошла на выставку школы Филонова, которую осматривала с большим интересом. Затем познакомилась с самим Филоновым, и он мне и ещё нескольким людям объяснял подробно свои воззрения и способы работы. Филонов производит необыкновенно хорошее впечатление – простое и искреннее. Одет он бедно и просто, курит махорку. Со всеми ровен и спокойно приветлив. Лицо у него худое, без особой красоты, но приятное,



Два автопортрета Павла Филонова, 1925 и 1921

внушающее доверие. Объясняет хорошо и жизненно, но даром слова не обладает. Главное в нём – чувствуешь, что этот человек искренне любит и знает своё дело и что он умён.

Вот кое-что из его «заветов». Работая в его плане, не надо быть подготовленным никакой школой – чем свежее работающий, тем лучше. И, пожалуй, главное – это глубокое изучение, исследовательский подход с самого начала, СДЕЛАННОСТЬ: картину не строят с какой-то общей, с начала намеченной композиции. Например, ты решил изобразить старика, сидящего в комнате. Если ты начнёшь, как начинают обыкновенно, разметив на полотне или другом материале и положение старика, и всё его окружение, то ты впоследствии будешь связан своей собственной разметкой. Работа сведётся к сухой и скучной, сравнительно – к разработке намеченного и уже заранее строго задуманного и представленного. Филонов говорил: начинать надо с чего угодно, хотя бы с глаза старика, не зная даже, скажем, анатомии. Если ты вырисуешь сперва зрачок, не как-нибудь схематично – кружок и точка, а так, как составлен сам зрачок в мельчайших своих подробностях. К нему пристраиваешь (но опять-таки, не как-нибудь, а крепко, обдуманно) прослеженное либо в натуре, либо в памяти – белок, веки, затем уже, естественно, по получившемуся положению – нос и другой глаз, уши и т. д., всю фигуру.

Всё вытекает ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, логично, исследовательски.

Затем изображаешь предметы, пол, окно и то, что в нём видно, и окуроч на полу, и всё, что тебе хочется, всё с одинаковым вниманием, изучением, напряжением, всё с одинаковой добросовестностью. Например, на одной картине на выставке изображена спичка: на расстоянии как бы настоящая спичка, и ткнишь в неё почти носом – тоже спичка со всеми подробностями. И, несмотря на то, что спичка эта изображена с тем же мастерством и добросовестностью, что ей уделено такое же напряжение, как и большой фигуре человека, она ничуть не выпирает, не выглядит назойливо, она занимает своё место, как и в настоящей жизни.

О композиции, или скорее об отсутствии композиции, так как в жизни композиции нет, тоже шла речь, и именно с точки зрения этого отсутствия.

Он называет своё искусство НАТУРАЛИСТИЧЕСКИМ. Все остальные способы – РЕАЛИСТИЧЕСКИМИ, так как они взяты (даже футуризм,

всякие кубизмы, Сезанн и т. д.) из того только, что нам видно. Натуралистический подход охватывает и другие внутренние процессы...»

Откладывая письмо, возвращаюсь в 70-е годы, чтобы с их позиции разобраться в терминологических неопределённостях, в разное определение, их субъективизме.

В те, двадцатые, годы реализм действительно часто отождествляли со всеми явлениями искусства, связанными с весьма примитивным понятием «реальности», даже искажённой, бессмысленной, условной (кубизм, футуризм и т. д.).

Иные считали реалистическими только произведения, в которых тщательно соблюдались законы перспективы, анатомии, формы, в которых цвет копировался художником в основном с изображаемого предмета, без всяких отклонений, избегая при этом даже реально существующих в природе необычных эффектов, сочетаний, неожиданных ракурсов.

Были и такие, которые считали реалистическим только искусство прошлого – античное, возрождения, академизм.

Единого критерия не было.

С натурализмом дело обстояло ещё сложнее, ещё разноречивее были его толкования.

Эти терминологические недоразумения, туманности и ошибки в искусстве, как и в науке, отрицательно влияли на жизнь искусства, серьёзно мешая художникам в их практической и особенно педагогической деятельности.

Безусловно, обманчивым было объединение Филоновым в рамках реализма далеко не реалистических способов в изобразительном искусстве, и уж совсем «уводящей» была трактовка натурализма...

Вернёмся к старому письму:

«...Он (Филонов) учитывает и то, что происходит с предметом или живой материей, например, температуру её. Как к этому подходит каждый мастер в отдельности, как он это передаёт, это, конечно, его дело. Один понимает так, другой иначе.

Огромные полотна расписываются маленькими кистями, точками почти неразличимыми. Эти кисти, говорит Филонов, самые подходящие, так как большие кисти дают возможность смазывать, перескакивать через что-то существенное. Каждый предмет есть сумма других предметов, которые нужно всегда учитывать, считаясь, конечно, со временем и другими возможностями... Например, полк – это много солдат. Солдат, в свою очередь, – это голова, руки, ноги, туловище, сапоги, ружьё, пятно на куртке и т. п. И именно с мельчайшего надо мастеру начать работать...»

Письмо это написано с позиции моей не очень эрудированной молодости, но под свежим впечатлением, ещё не прошедшим проверку временем.

На выставке в Доме печати

Ленинград, 1927 год, Дом печати. Здесь та самая выставка, о которой говорится в письме, о которой есть статья в сборнике «Подвиг века» (Ленинград: Лениздат, 1969, стр. 109–112). Картины и фрески на выставке не имеют ни подписей, ни дат, они просто работы «группы мастеров аналитического искусства» школы Филонова. Они различны по темам и особенно по качеству, но объединены общим принципом «сделанности» и анализа.

К СДЕЛАННОСТИ мы ещё вернёмся не раз. Возможно, это именно благодаря ей техника часто заслоняла содержание. Выставка своей необычностью, своим аналитическим началом вызывала ответную реакцию рассудочных оценок. Однако мне вспоминается одна превосходно исполненная фреска больших размеров, возбуждавшая у зрителей глубоко эмоциональный интерес. Незадолго до написания этой фрески ленинградцы были потрясены уголовным преступлением – Чубаровским делом. В Чубаровом переулке, недалеко от знаменитой в те дни Лиговки, по которой вечерами медленно колыхалась толпа тёмного люда, воров и падших женщин, изнасиловали, а затем убили девушку.

На фреске – большая, весомая мёртвая девушка во всей её филоновской сделанности. Над ней стоят убийцы. Один из них наливает в кружку воду. Вода льётся тугой струёй, и зрителю кажется – всё это только что произошло здесь, в действительности, только на время остановилось, застыло в художественном воплощении, и снова оживёт – кружка выпадет из рук убийцы, в звоне черепков вода разольётся. Насильники тяжёлой поступью перешагнут через условный порог картины, грубо растолкают зрителей, и исчезнут в весеннем тумане ленинградских сумерек. На фреске останется только мёртвая девушка. Благодаря редкому перспективному эффекту она как бы выходит из объёмного перспективного пространства картины, во всём своём мёртвом трагизме выступает вперёд, на зрителя.

У этой фрески люди молчат. Но помню неожиданно резкий, как камень, брошенный в ночную гладь чёрной витрины, голос:

– Кому это нужно?

Никто, наверное, не ожидал ответа на этот страшный вопрос, но тут же раздался спокойный, немного медлительный голос:

– Это нужно многим и, прежде всего, нашему государству. Эта картина – суд над преступностью средствами аналитического искусства.

Я не видела говоривших – диалог проплыл над нами и угас.

Других картин выставки описывать я не буду, для них характерна та рассудочность, о которой упоминала выше.

Фактор окружающей среды

Прежде чем продолжить разговор о Павле Николаевиче Филонове и его школе, необходимо вспомнить общую обстановку в изобразительном искусстве тех лет, описать некоторые характерные эпизоды.

В жизни изобразительного искусства, сложной и многообразной, происходили противоречивые процессы, возникали и гасли эстетские, узкогрупповые, формалистические течения, школы и школки, выдвигались крикливые манифесты и декларации. Искали новые формы, новые способы обработки полотен, досок, штукатурки, создавали новые инструменты, чтобы заменить ими обычные кисти и краски.

Вопросы содержания и идеологии в изобразительном искусстве обсуждали не менее бурно и разноречиво.

Среди людей, охваченных страстью разрушения и созидания, было много искренних и талантливых художников, но крикливо, назойливо выделявшиеся группы и отдельные люди, подменявшие шумихой отсутствие серьёзной техники и работоспособности, заслоняли их.

Иногда страсти разгорались до скандала, оскорблений, личных счётов, нападали друг на друга, на всех инакомыслящих, на достойных и недостойных. Доставалось и правым, и левым.

Говоря о факторе окружающей среды в изобразительном искусстве двадцатых годов, необходимо помнить, что реалистическое (в современном понимании) искусство продолжало развиваться, крепнуть и участвовать в общем развитии культуры в Советском государстве.

Кроме станковой живописи, особенно успешно развивалась реалистическая, высокохудожественная, идеологически полнокровная графика – искусство плаката, иллюстрации, политической сатиры. Обогащалось и искусство театральной декорации – это были виды искусства, непосредственно связанные с каждым человеком – через книгу, плакат, театр. Искусство соцреализма было не только способом эстетического, но и этического, идеологического общения.

Еще о факторе окружающей среды

Атмосфера, вкратце описанная в прошлой главе, формировалась десятилетиями. В качестве свежего для тех лет примера возьмём журнал «Изобразительное искусство» № 1 за 1919 год.

Интересно? Очень. Но что же дали представленные в журнале Татлин и Розанов? Много ли нового вносили Малевич и Штеренберг с точки зрения развития искусства? Было ли это началом пути в действительно новое искусство или неизбежный опыт с отрицательным результатом?

В 20-х годах эти художники оставались фигурами значительными, хотя и спорными. Сейчас, в 70-е годы, они остаются лишь как явления, актуальность которых угасла.

Является ли ПОИСКОМ известный татлинский «рельеф» – штукатурка, стекло, железо? Скучностью способов выражения? Условностью искусства? Здоровым, логично мыслящим зрителем такие «рельефы» принимались, как шутовство.

– Техника неучей и лентяев, – сказал один зритель.

Вспоминается «Музей художественной культуры» с его исследовательской лабораторией. На столе, в первом помещении музея – удлинённый картонный короб. Вокруг стола кучка зрителей. Один из них наклоняется, заглядывает в него.

– Что вы там видите? – живо спрашивает немолодой энергичный человек – это Малевич.

– Синий круг на белом фоне.

– И больше ничего?

– Больше ничего.

Малевич обращается ко мне:

– Поглядите теперь вы, только не спешите, взглядитесь.

– Вижу тоже круг на белом фоне.

– Продолжайте смотреть!

– Вижу, – говорю я, – вокруг синего круга жёлтое пятно, но, может быть, мне это кажется, я близорукая...

– Не кажется, – говорит Малевич, очень довольный. – Это правильный зрительный эффект.

– Почти все видят этот круг, – говорит заглянувший в короб до меня человек. – И я тоже видел, только посчитал это чисто техническим эффектом.

Многим и, я думаю, совершенно справедливо не нравилось и не нравится нарочитое отсутствие смысла, навязчивая безыдейность супрематизма и других декадентских течений – с познавательной, эмоциональной и эстетической стороны они ничего не дают зрителю.



Павел Филонов. Лошади, 1924–1925

Говорят, что произведение искусства трудно описать словами – его надо увидеть. Конечно, увидеть лучше, но картина, о которой почти нечего сказать, вряд ли полноценна.

И всё же в «Музее художественной культуры» мне тогда запомнилось и очень понравилось небольшое полотно Шагала: среди ветвей дерева, как птицы, маленькие скрипачи с маленькими наивными скрипочками, как-то очень «симфонично» расположенные.

Бей лордов!

Жил в те годы в Ленинграде художник М., преподавал в Художественном техникуме. Ничего значительного не создал, но до предела был начинён бредовыми идеями, трудно определяемыми, неонигилистическими. Вспоминается вечер в техникуме. М. увлечённо украшал зал своими произведениями: прямоугольные удлинённые плакаты свисают с потолка и стен, они беспредметны, маловыразительны, снабжены подписью «Нью-Йорк, М.» – очевидно, Нью-Йорк привлекал его урбанизмом и гигантской индустриализацией, он был искренне увлечён.

Однажды М. обратился ко мне:

– Английский язык знаете?

– Знаю. Читаю Диккенса и Шекспира.

– В таком случае переведите на английский язык мой манифест, – его глуповатое лицо с хитрыми глазками было торжественным.

«Манифест» начинался словами: «Бей лордов в морду по всему фронту!» Далее витиевато и грубо – о необходимости выбросить на свалку истории всё буржуазное искусство.

Тех, кто утверждает, что непереводаемых текстов не существует, приглашаю перевести хотя бы первое предложение.

Перевод у меня не получался, и я обратилась к Ивану Алексеевичу Владимирову (Владимиров И.А. 1869–1947, заслуженный деятель искусства РСФСР). Он относился ко мне по-отечески просто и доброжелательно. Это был превосходный рисовальщик-баталист, человек высокой культуры. Английский язык он хорошо знал.

– Иван Алексеевич, помогите мне, пожалуйста, сделать перевод.

– С удовольствием.

Он ввёл меня в преподавательскую техникума. Там, к моему великому смущению, находились преподаватели Эберлинг и Рерих (художник, брат Н.К. Рериха). Владимиров внимательно прочёл манифест.

- Что это такое? Бред!
- Это «Манифест» М., он обращается к лордам...
- Зачем?

Я молчала. Бумагу взял Рерих, прочитал и откровенно расхохотался. Эберлинг, не дочитав, брезгливо отвернулся. Иван Алексеевич с вежливым сожалением сказал:

– Ничем не могу вам помочь.

Когда я призналась М., что перевод не получается, он презрительно заметил:

– А ещё всяких Диккенсов читаете!

Я обиделась:

– Владимиров тоже не может перевести ваш манифест!

– Вы ему показывали?!

Он долго после этого со мной не здоровался.

Павел Филонов. Лекции о Сделанности, анализе и многом другом

Есть факты и люди искусства первого послереволюционного периода, которые и сейчас недостаточно изучены. К ним, на мой взгляд, принадлежит и Павел Николаевич Филонов. У меня сохранился, очевидно, уникальный документ – подробный конспект лекций, прочитанных им в Доме печати ученикам и товарищам по группе. Павел Николаевич написал конспект от руки и попросил меня отпечатать его на машинке. Я выполнила его просьбу, отпечатала конспект в 4-х или 5-и экземплярах, один из которых у меня сохранился.

Филонов так озаглавил конспект: «Основа преподавания изобразительного искусства по принципу чистого анализа, как высшая школа творчества. Система "Мировой расцвет"».

Лекции читали в большой комнате в верхнем этаже Дома печати. Стоял простой стол, стульев обычно не хватало, филоновцы всякий раз тащили их из других помещений, а вечером или рано утром завхоз, ворча, уносил их и ставил по местам. Под потолком – большая электрическая лампа без абажура, её завешивали газетой. Однажды во время лекции газета загорелась, кто-то вскочил на стол, сбросил на пол горящую газету, её затоптали. А Павел Николаевич, как всегда подтянутый, спокойно ожидал конца происшествия. Когда все расселись по местам, он продолжал лекцию. Читал он ровным голосом, без жестикуляции, убежденно и убедительно, слушали его внимательно и не перебивая. Филонов был из тех людей, которых не перебивают. Ему было тогда 44 года, он не казался пожилым или молодым, а был, скорее, как и многие творческие люди – писатели, учёные, артисты – вне возраста.

Павел Николаевич был художником, педагогом и философом. Через всё его сложное мировоззрение, часто противоречивое, красной нитью проходит принцип сделанности и анализа. Этот принцип относится не только к живописи и рисунку, это вполне философское понятие и зрелый, обдуманый метод преподавания. Он глубоко убежден, что мастерство в искусстве исключает небрежность, требует анализа изображаемого и изображённого. Для этого нужны упорство и работоспособность – и он упорен и работоспособен, нужна выдержка – и он выдержан. Он требует таких же качеств и от своих учеников. С этой точки зрения его искусство действительно пролетарское: он – рабочий и пролетарий в цехе искусства, он – рабочий – рационализатор и мастеровой у своего рабочего места в искусстве. Это

не просто слова: у Павла Николаевича за спиной был фронт, общественно-политическая работа, впереди была творческая цель: советское искусство должно встать в ряды лучших в мире искусств.

«...Уметь писать, значит упорно и настойчиво ДЕЛАТЬ в каждом атоме, – пишет он, – как делают сапожник и поэт, музыкант и певец, столяр, слесарь и плотник, творчество которых, как труд, равно одно другому, и ремеслу, и творчеству изобразительного искусства. Творить, значит уметь делать, а делать нужно только точно зная, что ты хочешь сделать». К этой теории глубокой сделанности, мастерства, он возвращается не раз. Высказывания его категоричны, резки, часто противоречивы. Вот, например, что пишет Филонов о левом искусстве и о своей позиции:

«... Левое искусство было совершенно не связано ни с классовой идеологией пролетариата, ни с идеологией интеллигенции или буржуазии, а было анархическим и внеклассовым, стихийно-подсознательным, ...оно частью базировалось на интеллекте каждого художника в отдельности, ...и частью на народном искусстве, вплоть до вывесок».

Далее Павел Николаевич вкратце описывает возникновение кубофутуризма среди московских художников, принявших учение Маринетти. Он пишет, что сам «в одиночку» стал в оппозицию («слева же, и всему русскому левому, и всему западному левому искусству»), выразившуюся в ряде его работ (с 1910 года). Первая из них была принята в Русский музей.

В 1913–1915 гг. он выступает с декларацией «Сделанные картины» – о принципе СДЕЛАННОСТИ и чистой действующей форме, с общим, чисто социальным и политическим лозунгом – «Мировой расцвет».

Нетерпимость Павла Николаевича часто резка, иногда оскорбительна. Например, об АХР* он пишет: «... абсолютно внеклассовая группа "АХР" объявляет себя художниками "более пролетариями, чем сами пролетарии", не имея ни классового чутья, ни классовой идеологии по искусству, не имея работ и не умея работать». Чтобы отчасти оправдать такую несправедливую позицию, надо учесть нередкие в те дни настроения ВЗАИМОИСКЛЮЧЕНИЯ. К самому Павлу Николаевичу подчас относились с такой же нетерпимостью, огульно отбрасывая наряду с отрицательным и то рациональное, глубоко логичное, что заключено в его положениях. Лекции, несмотря на некоторые шероховатости, были тщательно «сделаны», являясь одновременно результатом анализа и синтеза явлений искусства. И в этом не было противоречия – Филонов считал, что аналитическое и синтетическое восприятие – два основных принципа в искусстве. Анализ, лежащий в основе его философии, давал материал для синтеза, для выводов.

Цитирую: «СИНТЕЗ как вывод возможен лишь при напряжённом, чистом и точном АНАЛИЗЕ». И далее он обобщает: «В искусстве аналитическая сила равна точному знанию». И снова о ЛЕВОМ искусстве: «...Пусть пролетариат знает, что ЛЕВОЕ искусство всегда боролось за повышение ремесла искусства, за подведение его под научные основы, за раскрепощение от всех традиций, предрассудков и суеверия, накопившихся в искусстве и в интеллекте тех, кто имел с ним дело». И тут – всё то же отсутствие чёткости понятия, чёткости термина «левое искусство». Вины Павла Николаевича тут нет – лишь значительно позднее в этот вопрос была внесена сравнительно приемлемая ясность.

* Ассоциация художников революционной России (АХРР) возникла в 1922 году на основе «Товарищества передвижных художественных выставок» и «Ассоциации по изучению современного революционного быта». С 1928 года – АХР (Ассоциация художников революции).

Филонов – педагог и философ

Когда Павел Николаевич читал лекцию или просто беседовал (что было почти одно и то же), у него удивительно крепко получалось: «Развитие изобразительного искусства неотделимо от всего процесса развития пролетарского государства и его культуры».

«...Пролетариат имеет неоспоримое право (не только право силы) на диктатуру в искусстве», – пишет он. И добавляет: «Коллектив профессоров, мастеров, критиков и педагогов искусства права на диктатуру не должен иметь уже потому, что это именно они и закабаляли всегда творческий интеллект».

Филонов читает лекцию, он стоит высокий, почти по-военному подтянутый. Лицо у него серьёзное, доброжелательное, это лицо человека много пережившего, вдумчивого, складки у рта говорят о воле, упорстве... и горечи.

«...Творчество есть сделанность, рисунок есть сделанность, форма и цвет есть сделанность... Основа живописи есть сделанный рисунок и выявленный цвет. Живопись есть упорная работа цветом, как рисунком над формой. Живопись есть вывод из рисунка».

Он читает, как всегда, внешне спокойно, но где-то таится в нём волнение, которое ощущают и слушатели. Его слова категоричны, безжалостны, часто несправедливы.

«...Профессора живописи, находящиеся сейчас в Академии, все, без исключения, должны быть удалены, – пишет он, – так как, во-первых, не сделали как преподаватели ровно ничего, во-вторых, попали туда случайно, вне всякого плана подбора».

«...Список профессоров, выдвигаемый учащимися, в целом должен быть отвергнут, так как составлен тоже вне планового подбора». В этих требованиях нет ни жестокости, ни агрессивности, ни враждебности личного характера – на это Павел Николаевич не способен. Он просто убеждён в необходимости полной смены людей, методов преподавания и идеологии, но непременно сохранив академию.

«...Академия должна быть непременно сохранена, – пишет он. – Если, как ходят слухи, правительство хочет уничтожить её из экономии (разговоры о закрытии Академии Художеств действительно, были, но официального характера не носили. – *Р.К.*), то сумма, которая на неё пойдёт после её реорганизации, будет меньшей, чем на неё идёт теперь, да и ту можно будет вернуть частично или полностью, заставляя академические мастерские брать государственные заказы, ...а также беря в собственность государства часть картин, делаемых учениками, и пополняя ими музеи Петрограда и провинции».

И далее – о подборе преподавателей: «...Для всех приглашаемых должен быть конкурсный экзамен, то есть выставка работ и доклад по идеологии и методу преподавания искусства».

Филонов – педагог особой формации, к педагогике он относится точно так же, как к живописному мастерству: обдуманно, расчётливо, аналитически... и со всей сдержанной эмоциональностью, которая характерна для него. Он придаёт огромное значение вопросам организации преподавания. Например, он предлагает отбирать работы у всех учеников, поступающих в мастерскую того или иного профессора, и через полгода сравнивать их с их новыми работами.

«...В случае неудовлетворительного результата профессор этот, кто бы он ни был, немедленно увольняется без всякого снисхождения». Он говорит



Павел Филонов. Крестьянская семья, 1910

о необходимости государственного жюри по выбору и контролю профессоров. Но на фоне многих неосуществимых практических мер, мудро звучат слова: «Ученик изучающий – мастер с первого момента обучения».

Преподаватель – мастер-исследователь. И ещё: «Невозможно быть педагогом, не будучи мастером-исследователем и не работая по сделанности с максимумом аналитического напряжения...» Интересны чёткие, аналитически построенные формулировки: «метод – это проанализированное организационное понятие о цели, задачах, стратегии и тактике применения аналитической силы интеллекта... Система – это организованный план и выбор применения средств и дисциплин для реализации метода». Нельзя обойти вниманием ту тщательность, с которой Филонов оценивал и детализировал явления. Например, в рубрике программ «Свет и тень» приводятся следующие положения: анализ, интуиция и внемерный метод восприятия и разрешения. Анализ комплекса света и тени. Абсолютный свет. Свет как таковой и его реакции. Кубатура и сфера света и тени. Внемерный метод по отношению к свету и тени в принципе усиленной лепки. Восприятие света и тени как предиката объекта – формы, цвета и т. д. Восприятие света и тени, как явления, имеющего форму, сферу, цвет и предикаты...» Так же подробно и углублённо детализируются вопросы цвета.

Мастерство, педагогика, философия. И их взаимосвязь

О Филонове много говорили и мало писали. А между тем он как педагог, философ и мастер представляет несомненный интерес. Приведу несколько положений из его «Программы лекций», тематически важных для понимания.

«...Ложность умозаключения о существовании или возможности существования лишённого содержания так называемого «чистого искусства», как «искусства для искусства», как самоцель».

Интересен перечень некоторых тем:

«Научно-идеологическая связь искусства с задачами пролетариата».

«Об этнографическом и внеевропейском искусстве».

«Роль запаса впечатлений и жизненного опыта, полученных мастером от окружающей среды, как ОСНОВА ТВОРЧЕСТВА».

«Пролетарское общественное мнение по вопросам искусства и планомерная организация пролетарского общественного мнения в будущем и настоящем».

«Работа по искусству во имя пролетариата».

«Ложность понятия о художнике как о представителе свободной профессии...»

«Прямое назначение искусства быть фактором эволюции интеллекта».

«Работа над содержанием есть работа над формой, и обратно...»

Это конспективно. Каждая лекция была насыщена хорошо построенными доказательствами: сущность искусства, его место в боевом строю революционной идеологии, в построении искусства коммунистического общества – тесно и неотрывно связаны с идеологией художника. Верный идее пролетаризации, он по-деловому выдвигает необходимость организовывать выставки на фабриках и заводах.

Ещё один вопрос, в числе многих других, глубоко волнует Филонова, это вопрос о критике изобразительного искусства. По его мнению, небольшая группа лиц, не имея на то права, выступает в критике от имени всего русского изобразительного искусства, фактически же являясь лишь «режиссёрами чуждой им профессии».

Отсюда Филонов делает вывод: необходимо создать журнал по искусству и его хронике в государственном масштабе, с редакцией из лучших идеологов РКП(б) по вопросам искусства, из лучших мастеров. Такое требование участия лучших идеологов РКП(б) в работе на одном из важнейших участков идеологического руководства искусством характерно для позиции Павла Николаевича Филонова. Однако и в данном случае он слишком категоричен: именно в те дни в прессе по вопросам искусства выступал Луначарский, многие художники-профессионалы и представители партийной критики.

Многое в оценках Павла Николаевича Филонова спорно, но бесспорной остаётся его преданность идее пролетаризации и оздоровления искусства, аналитического мастерства и сделанности. Идею эту он стремился передать своим товарищам и ученикам, в отношениях с которыми не было ни подчинения, ни подчинённости, а была высокая требовательность с одной стороны, и величайшее уважение с другой.

Последняя страница программы лекций, прочитанных Павлом Николаевичем Филоновым в Ленинграде в Доме печати в 1927 году, заканчивается словами:

«Сейчас с огромным напряжением идёт процесс революции в искусстве и во всех его взаимоотношениях, потому что так, как жили испокон века и до сих пор, жить более нельзя».

Как больно было узнать, что этот преданный искусству человек – Художник, Педагог и Философ – погиб в тяжёлой обстановке блокады Ленинграда. И если написанное здесь хоть в какой-то мере дополнит то, что известно об этом честном человеке и честном художнике, поможет окружить его память интересом и уважением, то цель, которую я поставила перед собой, достигнута.

1927, 1973

Павел КРУСАНОВ

Родился в 1961 году в Ленинграде. Окончил педагогический институт им. А.И.Герцена (ЛГПИ) по специальности география и биология. Работал осветителем в театре, садовником, техником звукозаписи, инженером по рекламе, печатником офсетной печати. С 1989 года начал работать в издательствах на редакторских должностях. В настоящее время – главный редактор «Лимбус Пресс».

Лауреат премии журнала «Октябрь» (1999), финалист премии «Национальный бестселлер» (2003, 2006, 2010) и премии «Большая книга» (2010). Живет в Петербурге.

ДАЙТЕ ЕМУ КУСОК КАМНЯ

Обычно, когда перед записью в студии меня, словно пытаюсь погрузить в сон, просят посчитать слонов, я, вместо «раз-два-три», читаю эти строки:

Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен?

Оператор настраивает микрофон, а я настраиваю себя. Потому что нет в русской литературе другого певца отваги и света, паладина чести, доблести и долга, от одного прикосновения к поэзии которого ты сам, точно легкий шарик, наполняешься духом веселой дерзости. И если кому-то взбредет в голову отыскать в прошлом и предъявить городу и миру эталон солнечного русского, человека действия, образец беззаветного романтического служения самому понятию о благородстве, то первым кандидатом, безусловно, будет он – Николай Степанович Гумилев, поэт, странник, солдат.

Он был одним из тех редких людей, чьи поступки, равно как и сама судьба, уже при жизни (а тем более посмертно) становились материалом для мифотворчества. За его плечами, кроме его неизъяснимых стихов, три путешествия в загадочную Африку, Первая мировая, на которую он отправился добровольцем, боевые награды, публичные заявления в пору революционного террора о своих монархических взглядах, причастность к офицерскому контрреволюционному заговору, арест, приговор, расстрел. Его стихи были естественным продолжением его аристократической (по духу) натуры. Даже чекисты поразились, с каким непоколебимым достоинством он держался на следствии.

Во время последней экспедиции в Африку Гумилев, по собственному признанию («я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя»), преподнес чернокожему колдуну фотографию императора Николая II.

Преподнес, не имея дурных намерений, – так гость дарит хозяину на память частицу своего мира. Однако впоследствии этот факт лег в основу предания: колдун («вплоть до моря он славен своим колдовством») воспользовался подарком в скверных целях и совершил над изображением государя зловещий ритуал. Как следствие – революция в России и трагедия царской семьи.

После расстрела Гумилева друзья сочинили в утешение его старой матери историю, будто бы ее сын чудесным образом спасся – бежал из-под стражи и уехал из России. Старушка до конца жизни (она пережила сына на год) верила, что ее Коленька жив и странствует по далекому Нигеру, распевая в его честь гимны:

Бегемотов твоих розоватые рыла
Точно сваи незримого чудо-моста,
И винты пароходов твои крокодилы
Разбивают могучим ударом хвоста.

Впоследствии эта легенда легла в основу романа Андрея Лазарчука и Михаила Успенского «Посмотри в глаза чудовищ», самого обширного на данный момент мифологического предания о Николае Гумилеве.

Но кроме мифологии есть и биография, хотя у истории, как известно, больше доверия к прямой выдумке, чем к пресному факту. Подробности жизни Гумилева сегодня каждый может легко почерпнуть путем нежного нажатия кнопок айфона. Поэтому кратко.

Николай Степанович Гумилев появился на свет в твердыне Балтийского флота городе Кронштадте 3 (15) апреля 1886 года. Отец – военный корабельный врач. Мать – потомственная дворянка (в девичестве Львова). Говорят, акушерки в Кронштадте завязывают пуповину младенцам особым морским узлом, так что всех, кто родился в этом городе, в любом возрасте можно опознать по форме пупа. Здесь, в Кронштадте, судьба-повитуха завязала свой первый узел на линии жизни младенца Николая, вплетя в него, как напутствие, морскую романтику, доблесть и славу его малой родины. Не отсюда ли флибустьерские мотивы его поэзии, поэзии действия и воли, не потому ли стихи его – «песни битв», не отсюда ли рано проявившаяся страсть к путешествиям?

Когда отец вышел в отставку, семья Гумилевых переехала в Царское Село, символичное, прямо скажем, для русской поэзии место. Здесь Николай поступил в Царскосельскую гимназию, где должность директора исполнял «последний из царскосельских лебедей» поэт Иннокентий Анненский. Потом Николай провел два года с родителями на Кавказе, в Тифлисе, после чего семья вновь вернулась в Царское Село. В девятнадцать лет у Гумилева выходит первый поэтический сборник «Путь конквистадоров». Через год Николай оканчивает гимназию и, отказавшись от морской карьеры, которую прочил ему отец, едет в Сорбонну изучать французскую литературу. Вскоре, выпустив в Париже сборник «Романтические цветы», Гумилев, не поставив в известность даже родителей, отправляется в свое первое путешествие – Турция, Греция, Египет. После чего, в 1909–1910 годах, – новая, уже более серьезная экспедиция в Африку. Вернувшись в Россию, Гумилев женится на Анне Горенко (Ахматовой), с которой знаком еще по Царскому Селу, они вместе путешествуют по Европе, а вскоре по возвращении – ещё одна экспедиция в Африку, куда Гумилева командировет Российская академия наук для сбора этнографического материала (он привез из этой поездки роскошную коллекцию для Музея антропологии

и этнографии, известного как Кунсткамера). А в промежутках между странствиями – стихи, влюбленности, журнал «Аполлон», где Гумилев печатает свои знаменитые «Письма о русской поэзии», «Цех поэтов», в котором Гумилев становится признанным синдиком – мастером, акмеизм, издательство «Гиперборей», «Африканский дневник».

Однако же – почему Африка? Откуда такое стойкое пристрастие?

Существует мнение, что в поэзии Гумилева мало русского. Что, ловя чутким слухом художника сулящие грядущую катастрофу шумы истории, он отстранялся от действительности, творил свой поэтический, полный энергии воли и романтики мир, чтобы погрузиться в него и в нем обрести достойную себя реальность. И Африка здесь – воплощение мечты о самой дальней дали, предельной чужести, едва ли не потусторонней нездешности. Ой ли? Да, Африка далека, но почему же – мало русского? Ведь тяга к трансцендентному, к нездешности и есть по существу художественное воплощение инстинкта империи, ген которой есть в каждом русском, – объять пространство во всю его ширь и нести на плечах бремя ответственности за то, что Господь позволил тебе взять. Инфантильная безответственность, «майdan головного мозга», как удачно выразился один сегодняшний публицист, – болезнь, к которой носителю имперского духа дарован врожденный иммунитет. Гумилев был отчаянным стихийным империалистом, русским Киплингом, и нес в себе упреждающее бремя ответственности за не обретенную еще Африку, как Киплинг – за уже обретенную Индию. Много ли в «Книге джунглей» английского? Да, собственно, всё, поскольку она – порождение британского гения. Так и Африка Гумилева – порождение гения русского. В конце концов это его, Гумилева, строки:

О Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты свое возьмешь.

Даже в Африке. Да, у Киплинга было кредо имперского настоящего: «Коль кровь – цена владычеству, / То мы уплатили с лихвой!», а у Гумилева – кредо грядущего: «Правду мы возьмем у Бога / Силой огненных мечей». В конце концов Гумилев был не одинок в своем интересе – перед ним были русские офицеры-добровольцы в Абиссинии Александр Булатович и Николай Леонтьев, а также сотни русских добровольцев, отправлявшихся в Южную Африку на защиту Трансвааля во время англо-бурской войны. В их числе – основатель русской геополитики Алексей Едрихин и подполковник Ромейко-Гурко. Песня про свободный Трансвааль на стихи Глафиры Галиной была популярнейшим русским шлягером начала XX века:

Трансвааль, Трансвааль, страна моя!
Ты вся горишь в огне!

Так что не предельная чужесть влекла Гумилева в Африку, нет. Он был атомом русского мира, свободным радикалом, имперским кочевником, ищущим не покоя, но приключения (читай – неприятностей), стремящегося к расширению сферы своего присутствия. Отсюда характер – стойкий, озорной, неудержимый. Мать-сыра земля не любит кочевников, она любит пахарей, припавших к ней детей, питающихся дарами ее черного тела. Кочевников любит Отец – потому что они смотрят вдаль и вверх, в просторы небес, которым поклоняются, и по звездам которых сверяют свой путь. Путь куда? Туда, где они достигнут иной земли, которую ощутят как

продленную или вновь обретенную родину. Ощутят то, о чем написал однажды Гумилев в своем письме из Африки: «Каждый вечер мне кажется, что я или вижу сон, или, наоборот, проснулся в своей родине». Какая же это чужесть? Напротив, скорее это – зов крови. Разумеется, зов метафизический. И вполне очевидный. Ведь именно горячая кровь Африки зажгла солнце русской поэзии. Пушкин для Гумилева был неоспоримым авторитетом – как же устоять и не отправиться к истоку этой реки?

Африка и сегодня манит русских, но иначе. Сейчас для русских Африка – это Шарм-эль-Шейх, Хургада и солнечные пляжи Туниса. Сегодня русские – не имперские кочевники, они не ищут приключений (читай – неприятностей), они ищут туры «все включено» и гарантированный комфорт. Африка Николая Гумилева совершенно другая:

Мы рубили лес, мы копали рвы,
Вечерами к нам подходили львы.

Но трусливых душ не было меж нас.
Мы стреляли в них, целясь между глаз.

Африка была сначала вымечтана, а затем обретена Гумилевым. Как поэт он созидал эту романтическую мечту, как личность он ее жаждал, как трансцендентный имперский кочевник он был способен эту мечту осуществить и был одержим ее претворением.

С началом Первой мировой Николай Гумилев отправляется на фронт вольноопределяющимся. Из громко уже заявивших о себе русских поэтов их было двое, ушедших на войну добровольно, – Гумилев и Зданевич. Остальные, включая откосивших Маяковского и Есенина, предпочли остаться в тылу. Был ли у Гумилева выбор? Никакого – ведь он аристократ духа и монархист, он, как атом русского мира, несет в себе бремя ответственности за весь этот мир целиком, и все его права – лишь производная от его священного долга. Гумилев служит в кавалерии. Он мужествен и стоек, благороден и беззаветно храбр, свидетельство тому – два солдатских Георгия, которые даются только за личные боевые заслуги. Это в порядке вещей – имперский кочевник презирает смерть и героичен по определению. В 1916-м он получает чин прапорщика.

Вот она, война Гумилева:

Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня.
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.

.....

Словно молоты громовые
Или волны гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.

И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

Его война описана им в «Записках кавалериста», пронзительной документальной прозе.

Революция застала Гумилева во Франции, куда он незадолго перед тем прибыл в составе Русского экспедиционного корпуса. В 1918-м он возвращается в Петроград. Потом – ДИСК, «Всемирная литература», статьи, переводы, критика, лекции и стихи, стихи, стихи...

В начале августа 1921 года Николай Гумилев, человек редкой личной отваги, всегда ставивший честь превыше жизни, был арестован по делу об участии в контрреволюционном заговоре. Через двадцать дней, 24 августа, по постановлению Петроградской ГубЧК его расстреляли: как выяснилось, не за участие – за недоносительство. Место захоронения неизвестно.

Так ушел Гумилев – поэт, путешественник, человек, целый мир.

Его называли Андре Шенье русской революции – автор «Оды к Шарлотте Корде» пал жертвой якобинского террора. Но к чему эти сравнения? Тем более что Гумилев для русской литературы куда важнее, чем Шенье для французской. Если уступить «бесу аналогий», то Гумилев скорее – русский Киплинг. О чем уже упоминалось. То есть фигура совсем другого масштаба.

Это все о нем, о Николае Степановиче Гумилеве. А теперь о нас, многогрешных.

Для нас сегодняшних Гумилев, аристократ духа, человек действия, солнечный русский, вполне мог бы служить маяком, ориентиром, да что там – флагом, гимном и гербом одновременно. Но где алтарь этого героя? Позор на наши головы – да, у поэта нет могилы, куда очарованные звоном его лиры потомки могли бы положить цветы, но ведь во всей России ни в одном крупном городе нет места, где была бы по-настоящему достойно и ярко увековечена память о нем. Со времени его реабилитации никто – ни власти, ни очаги общественных инициатив, ни частные инвесторы, ни государственные институты (РАН, Минобороны, Географическое общество) – не предложил выделить Гумилеву и куску камня, который мог бы послужить алтарем его памяти.

В Петербурге есть памятники Пушкину (два), Лермонтову, Некрасову, Жуковскому, есть памятники Ахматовой (три), Маяковскому, Есенину, Блоку, Берггольц, есть памятники Мицкевичу, Шевченко, Джамбулу, Мусе Джалилю, Низами, есть даже памятник канадскому поэту французского происхождения Эмилю Неллигану. А что же Гумилев? Не достоин? Дайте ему кусок камня и увидите, как будет он оплакан. Или будем ждать очередной скорбной круглой даты? Что ж, мы люди терпеливые, мы подождем. Мы и Шендеровича, как белую горячку, терпим, и Федора Бондарчука, как скарлатину.

Подождем. Но место для памятника Николаю Гумилеву все-таки подыщем. Их, мест таких, в в одном Петербурге только несколько – Царское Село (Пушкин), «Тучка» (Тучкова набережная, где снимали перед войной квартиру Гумилев с Ахматовой), Невский, 15 у ДИСКа (Дом искусств), где Гумилев жил последний год и где он был арестован. Но лучше всего было бы прописать памятник в Кронштадте. Именно в Кронштадте – там, где завязали Гумилеву морским узлом пуповину. Этот город и сам по себе символ доблести и чести – они с Николаем Степановичем очень подходят друг другу. Можно сказать, они друг другу к лицу. Гумилев был сильным, злым и веселым, он был верен нашей планете – сильной, злой и веселой. Там, на балтийском ветру, камень Николая Степановича будет на месте, там ему будет хорошо.

Валерия БЕЛОНОГОВА

Окончила Ленинградский университет, работала корреспондентом в нижегородских и московских газетах и журналах, в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино». Кандидат филологических наук, критик, музеолог. Преполагает в Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского.

Автор книг «Выбранные места из мифов о Пушкине» (2003), «Болдинский ключ» (2009), «Что вам нужно в этом Нижнем? Город в зеркале литературы» (2011), статей и очерков по истории литературы и музейному делу.

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

НИЖЕГОРОДСКАЯ «МАДАМ КУРДЮКОВА»

Она была знакома с дядюшкой Пушкина и с Лермонтовым

В марте 1813 года, в разгар войны с Наполеоном, в тыловой Нижний Новгород прибыл на губернаторство действительный статский советник Степан Антипович Быховец с супругой Маврой Егоровной (урожденной Крюковой). Её дальним родственником был вице-губернатор А.С. Крюков, временно исполнявший обязанности главы губернии в самые тревожные месяцы войны.

Пятилетнее губернаторство Быховца было хлопотным: кроме забот военного времени на него пришелся пожар, уничтоживший Макарьевскую ярмарку в 1816 году, в результате ярмарку решено было перенести в Нижний Новгород. И еще один катастрофический пожар в 1817 году, в результате которого выгорел уездный город Лукоянов (это событие нашло отражение в «Истории села Горюхина» А.С. Пушкина). В 1818 году Быховец был отставлен, вскоре захворал и спустя недолгое время умер в своем имении Истомино Тарусского уезда Калужской губернии.

Однако след в благодарной памяти нижегородцев оставил не столько губернатор Быховец, сколько губернаторша Мавра Егоровна. Обладая сильным характером, она нередко вмешивалась в дела мужа и даже принимала просителей. Она была рачительная нижегородская помещица. Губернаторы по тогдашним законам не могли владеть недвижимостью в руководимых ими губерниях, а их жены могли. И в августе 1815 года ею было куплено в Сергачском уезде у отставного генерал-майора А.А. Соловца 560 крепостных душ в селе Шарипово. Но главное, она была известной в городе благотворительницей. В частности, подарила Нижегородскому Мариинскому институту благородных девиц свою обширную библиотеку, насчитывавшую 1221 книгу в 2162 томах.

«По-французски она не говорила, – вспоминал современник, – да и очевидно было, что умственным своим развитием она обязана была самой

себе». То есть чтению. Но прежде чем обратиться собственно к кругу её чтения, заметим, что судьба не раз сводила её с известными литераторами.

В 1813 году в Нижнем Новгороде на вечерах в гостеприимном доме своего родственника вице-губернатора А.С. Крюкова на Большой Покровской она имела возможность общения с писателями, оказавшимися на берегах Волги в числе московских беженцев. Среди них были Н.М. Карамзин, К.Н. Батюшков, Ю.А. Нелединский-Мелецкий, С.Н. Глинка и Василий Львович Пушкин, дядюшка великого поэта. Батюшков вспоминал потом в письмах об этих «ужинах Крюкова, где Василий Львович, забыв утрату книг, стихов и белья, забыв о Наполеоне, гордящемся на стенах древнего Кремля, отпуская каламбуры, достойные лучших времен французской монархии, и спорил до слез с Муравьевым о преимуществе французской словесности...».

Ещё одна параллель. После смерти своего супруга Степана Антиповича Быховца Мавра Егоровна благоволила к обедневшей семье его племянника – Григория Андреевича Быховца: подарила им мужнино калужское село Истомино с деревнями и 800 душ, помогала деньгами. Его дочь Екатерина богатая барыня взяла к себе в московский дом на воспитание. В молодости Екатерина Григорьевна Быховец была очень дружна со своим дальним родственником Михаилом Юрьевичем Лермонтовым, который не раз бывал в их доме в Москве. Говорили, что она напоминала Лермонтову Вареньку Лопухину, чувства к которой поэт сохранил до самой смерти. Летом 1841 года Мавра Егоровна с Екатериной были на водах в Железноводске. И буквально за несколько часов до трагической дуэли 15 июля поэт был в гостях у кухни и её благодетельницы.

В письме к своей двоюродной сестре от 5 августа 1841 года Екатерина Быховец писала: «Бесценный мой дружочек Лизочка! Как я тебе позабыла, что ты была в Успенском <...>. Ваш бал был очень хорош». И дальше – о том, как во время одной из прогулок они с Маврой Егоровной встретили случайно Михаила Юрьевича, как раз накануне гибели поэта: «Уезжавши, он целует мою руку и говорит: "Кухина, душенька, счастье-вее этого часа не будет больше в моей жизни". Это было в пять часов, а в восемь пришли сказать, что он убит». Вот такая трагическая параллель.

А чуть раньше, в 1839 году, самой бывшей нижегородской губернаторше довелось стать литературной героиней у знаменитого в первой половине XIX века автора комических поэм, эпиграмм и буффонад Ивана Петровича Мятлева, о котором Лермонтов оставил в альбоме Софи Карамзиной шуточные строчки:

Люблю я парадоксы ваши,
И ха-ха-ха, и хи-хи-хи,
Смирновой штучки, фарсу Саши
И Ишки Мятлева стихи...

Об этом повествует интересный эпизод в «Записках графа М.Д. Бутурлина», известного музыкального историка, путешественника, четвероюродного брата А.С. Пушкина.

Зимой 1839 года Мятлев и Бутурлин отдыхали во Флоренции. Среди русских дворян, приехавших туда на зимний сезон, была и Мавра Егоровна Быховец с «компаньонкой» своею Настасьей Сергеевной Голубковой. «У Мятлева были уже тогда наготове первые главы известной его юмористической поэмы "Сенсации мадам Курдюковой" и несколько отдельных отрывков для продолжения оной, – рассказывает Бутурлин. – Вследствие, может быть, дружеских отношений, существовавших некогда между нашими родителями, он сразу сделался своим человеком у нас в доме... Гуляя с нами по берегу

Арно, Иван Петрович читал нам наизусть отрывки по мере того, как вновь писал их в своей поэме, и в шутку или серьезно, но говорил, что оригиналом его Курдюковой была Мавра Егоровна Быховец, тип действительно своеобразный, но не подходивший, по-моему, к мятлевской Курдюковой...» .

Вспомним мятлевскую поэму. Комическая история о путешествии по Европе тамбовской помещицы, в безапелляционных суждениях которой о всемирно известных достопримечательностях грубость манер и языка сопровождалась ужимками барыни, подражавшей героиням сентиментальных романов.

Записалась здесь и я,
И записка вот моя:
«Акулина Курдюкова,
Рюсь, из города Тамбова,
Барыня, проприетер,
Разъезжает пур афер...»

и так далее.

А как описывает Бутурлин нижегородскую губернаторшу, приехавшую во Флоренцию? «...Женщина оригинальная в физическом и нравственном отношении. Начнем с ее наружного вида. Она стригла седые, но густые свои волосы в кружок "а ля мюжик", носила мужскую широкополную шляпу и у себя дома не выпускала почти из рук длинного черешневого чубука и трубки с Жуковым табаком. Ей было тогда, по-видимому, за 50 лет, сложения была тучного, с двойным подбородком, тонким правильным с горбом носом и держала голову откинута назад, как бы от привычки повелевать, что и действительно, если верить молве, было ей привычно в отношении к покойному ея супругу Степану Антиповичу. И вообще, осанкою и даже профилем она напоминала отчасти портрет Екатерины II. Состояние ее было довольно значительное, но та же злословная молва гласила, якобы оно небезукоризненно было приобретено во время управления ею Нижегородской губернией, номинальным губернатором коей был некогда ея супруг...»

Далее граф Михаил Дмитриевич рассказывает в своих «Записках», как мудро распорядилась Мавра Егоровна доставшимся ей от мужа наследством и как щедро одарила мужа племянника и его семью. «Таковы были светлые стороны Мавры Егоровны, – рассуждает Бутурлин, – очень же темных не было, а были лишь человеческие слабости, из коих первенствовало скряжничество в мелочных расходах, много повредившее ей в заграничных отелях. Кроме того, она подвержена была склонности к рому, и эта несчастная привычка сделалась под конец ежедневною для нее потребностью. Во всем остальном Мавра Егоровна была практичная и деловая барыня, палата природного ума <...>. Она имела привычку говорить "ты" всем мало-мальски знакомым ей людям обоего пола, но которые приходились ей по сердцу. И высказывала им без обиняков в глаза все, что не нравилось ей в их действиях. Тут уж она совершенно расходилась с мятлевской Курдюковой», – добавляет мемуарист.

Так почему же все-таки Мятлев назвал Мавру Егоровну оригиналом своей Курдюковой? Хорошо известно, как любил поэт-юморист подшутить над своими знакомыми и вывести их в комических стихах, иногда даже и не совсем похожими, но какими-то штрихами напоминающими комический персонаж. Кстати, в тех же бутурлинских воспоминаниях о Флоренции упоминается, что Мятлев и самого Бутурлина предупредил как-то о том, что собирается вывести его в поэме в виде барина, «плохо чесанного и плохо бритого» и напевающего мелодию из Моцарта. И просил не быть на него

в претензии. Правда, персонаж этот в «Сенсациях мадам Курдюковой» так и не появился, хотя Михаил Дмитриевич и не собирался обижаться.

Заключительный эпизод повествования графа Бутурлина о Мавре Егоровне Быховец: «Достопочтенный наш Ливорнский священник отец Иоахим рассказывал мне впоследствии, что когда он по рекомендательному моему письму явился в первый раз к Мавре Егоровне в Ливорно, то остолбенел при виде этой странной фигуры, сидевшей на балконе отеля в мужской широкой шляпе с чубуком в зубах, и недоумевал, к какому полу фигура эта принадлежала». Разве трудно представить себе этот эпизод изложенным шутливыми стихами Мятлева?

Оригинальная, в чем-то комичная, особенно внешне, нижегородская губернаторша с её тучностью, важностью и безапелляционностью суждений, путешествующая, как и Курдюкова, с неразлучной компаньонкой, в какой-то степени, может быть, и напоминает тамбовскую путешественницу у Мятлева. И все-таки, главного Мятлев не успел разглядеть в этой умной, просвещенной и не лишенной милосердия почтенной даме.

Вернемся к её библиотеке, подаренной Нижнему Новгороду. Её она «с любовью и наслаждением неустанно собирала в течение 40 лет», как видно из её сопроводительного письма нижегородскому губернатору князю М.А. Урусову. «Желая быть чем-нибудь полезною Нижегородскому обществу, членом которого она состоит, имея в Нижегородской губернии имение и в память мужа своего» она по духовному завещанию решила принести библиотеку в дар Нижегородскому Александровскому дворянскому институту. Однако за два года до этого секретарь Нижегородского дворянского собрания Г. Пятов уже подарил этому институту свое книжное собрание из 700 томов. Так что губернатор, поблагодарив дарительницу за её щедрое приношение, предложил ей передать книги в только что открытое Мариинское училище (впоследствии Мариинский институт благородных девиц). Мавра Егоровна изменила завещание и в 1853 году передала библиотеку туда. В том же 1853 году она скончалась.

Однако история с библиотекой на этом не закончилась. В.И. Снежневский опубликовал в «Действиях НГУАК» в 1902 году летопись Мариинского института в Нижнем, в которой писал об этом эпизоде: «Начальство института смотрело на пожертвованную библиотеку с практической стороны, с точки зрения пригодности её для учебных и воспитательных целей, каковой она, конечно, не могла вполне удовлетворить». Конечно, не могла. Потому что значительную часть собрания составляли европейские романы. Инспектор классов И.С. Сперанский, которому было поручено отобрать полезные для учебного заведения книги, доносил совету института, что библиотека М.Е. Быховец состоит из произведений, «почти исключительно принадлежащих прошлому столетию (то есть XVIII. – В.Б.), большею частью переводных с иностранных языков таким слогом, который скорее принесет вред, чем пользу воспитанницам».

Надо сказать, что руководство женского института «ведомства императрицы Марии» в Нижнем Новгороде в первые годы существования имело своей целью всячески оберегать институток от окружающей жизни. На улице институтки появлялись только по дороге в Вознесенскую церковь, да и то в сопровождении пристава и трёх городских. Из 1221 книжного названия (в 2162 томах) подаренной Быховец библиотеки были отобраны только 114 названий в 309 томах. Остальные книги, по сути, львиная доля собрания, были проданы «за ненадобностью».

Остается только сожалеть, что подаренная библиотека не дождалась прибытия новой директрисы института. Ею стала Мария Александровна Доро-

хова, дочь поэта, музыканта и театрала А.А. Плещеева, жена знаменитого партизана 1812 года Руфина Дорохова, приятельница многих декабристов. В Нижний она привезла с собой из Иркутска, где была начальницей Восточно-Сибирского института благородных девиц, свою воспитанницу Аннушку, которая являлась внебрачной дочерью декабриста И.И. Пущина и сибирячки «из простых». Возглавив в 1855 году Нижегородский женский институт, Мария Александровна во многом изменила его устав. В учебную программу были введены, например, физкультурные занятия для институток на открытом воздухе, концерты с приглашением гостей и тому подобное. Конечно, она не допустила бы «распыления» замечательного книжного собрания.

Из чего же состояла библиотека Мавры Егоровны Быховец? К сожалению, полного её каталога не было и вряд ли вообще его можно теперь составить. Как писал нижегородский собиратель книг Г.И. Родзевич, в конце XIX века местные библиофилы за бесценок «скупали на Балчуге разрозненные, даже петровские, издания этой когда-то богатой библиотеки М.Е. Быховец». Сам Родзевич, врач по профессии, приобрел из неё книги медицинской тематики. Потом они были переданы им в фонды Нижегородской областной научной библиотеки.

Сейчас там хранится еще несколько книг Быховец, попавших туда от других коллекционеров и библиофилов. Каждая из них снабжена оттиском или наклеенным печатным ярлычком: «Из библиотеки М.Е. Быховец» (и дальше идет номер книги). Встречается три слегка различающихся варианта надписи. Что же это за книги? Семь из девяти томов «Деяний Петра Великого, мудро-го преобразователя России» И.И. Голикова (1788–1797). Вот еще несколько названий.

«Образование древних народов, сочиненное Дандреом Бардоно (обычай духовные, гражданские, домашние и воинские греков, евреев, римлян и т. д.)», 1795.

«О младенческих болезнях, с подробным показанием причин, отличительных знаков и приличнейших средств оных лечить». Перевел с английского на французский медицины доктор Иоганн Кок, а на русский язык Марк Гороховский. Москва, 1789.

«Наука сделатья доброю девицею, доброю супругою, матерью и хозяйкою, или Ручная книга для девиц, супруг и матерей». Сочинение Эвалда. Москва, 1804.

«Животный магнетизм, представленный в историческом, практическом и еретическом содержании», автор Данило Велланский, доктор медицины и хирургии, профессор Императорской Медико-хирургической Академии. С посвящением доктору Антону Месмеру. Год издания – 1818.

«Источник здравия, или Словарь всех употребительных снедей, приправ и напитков из трех царств природы». Извлеч из лучших и новейших медико-физических сочинений и в пользу пекущихся о здравии своем особо издал П.П. Сумароков. Москва, 1800. И так далее.

Книги из библиотеки Мавры Егоровны Быховец и сейчас встречаются в нижегородских частных собраниях. По неподтвержденным данным, среди них выдели и первые издания глав пушкинского «Евгения Онегина» с экслибрисом М.Е. Быховец. Книги с этим знаком, свидетельствует другой очевидец, имеются, например, в Воронежской областной библиотеке. Возможно, они есть и в других книжных хранилищах.

В целом же, судьба собрания Мавры Быховец – это пример утраты замечательных провинциальных частных библиотек. По-видимому, не единственный.

Эдуард КУЗНЕЦОВ

Родился в 1941 году в Горьком. Окончил химический факультет Горьковского госуниверситета и более 40 лет проработал на Горьковском автомобильном заводе.

Крупнейший в России коллекционер пародии, эпиграммы, шаржа, исследователь сатирических жанров, автор 12 книг по этой тематике и более сотни статей в российской периодической печати. Лауреат премий им Горького (2006, 2012) и «Бриллиантовый дюк» (Одесса, 2013).

Живет в Нижнем Новгороде.

«ОБЛАДАЯ СТРАШНЫМ БАСОМ...»*

Фёдор Шаляпин в эпиграммах и шаржах

Прошло уже более ста лет с тех пор как утвердилась всемирная слава Фёдора Ивановича Шаляпина (1873–1938). За это время появилось немало выдающихся басов, но равному ему не было и нет. Как писал композитор и близкий друг певца Сергей Рахманинов, «в преклонении перед его талантом сходились все: и обыкновенные люди, и выдающиеся, и большие. В высказанных ими мнениях всё те же слова, всегда и везде: необычный, удивительный». И спустя сто лет Шаляпину посвящаются вдохновенные строки, которые не могли бы появиться без глубочайшего уважения к его творчеству.

В. Скиф:

Он – земное светило! Российская слава!
 Не бывало на свете подобных светил.
 Он явился горячий и пылкий как лава.
 Гром небесный, наверно, его породил...

Слава певца была безмерна. Сегодня просто трудно представить её масштабы – не было газеты или журнала, в которых бы из номера в номер не мелькало его имя.

Самуил Маршак о временах своей юности писал:

«Шаляпин»... Вижу пред собой,
 Как буквами большими
 Со стен на улице любой
 Сверкает это имя...

* Строчка из эпиграммы на Шаляпина, опубликованной в журнале «Ёжик» № 5 за 1914 год.

Косвенно о популярности Шаляпина можно судить по совсем необычным фактам: с его портретами выпускалось мыло, духи, водка, конфеты, коробки с папиросами и мундштуки, продавались карточные колоды с изображением певца на тузе пик, в Москве фармацевты печатали объявления о карамелях «от кашля, хрипоты и отделения мокроты» под названием «Шаляпин».

Его слава и достижения в искусстве были тем более удивительны, что был он, по выражению Максима Горького, «простым человеком низов жизни». Он всю жизнь занимался самообразованием и с глубочайшим интересом относился к любому человеку, способному его чему-либо научить. Савва Мамонтов с восхищением говорил, как Шаляпин «жрёт» знания. Михаил Нестеров отзывался ещё более лестно: «В смысле даровитости природы выше всех я должен поставить Шаляпина, необыкновенно быстро схватывающего всё и столь же ярко отражающего собой красоту и всяческую прелесть жизни в своём творчестве».

Многим обязан Шаляпин в становлении своего таланта – артистам, художникам, писателям, меценатам, но особую роль в своей судьбе певец отводил Нижнему Новгороду: по его словам, до Нижнего он жил не задушиваясь, здесь же он научился мыслить. Город сразу очаровал его (как он писал в книге «Страницы из моей жизни») «оригинальной красотой, стенами и башнями кремля, широтой водного пространства и лугов». Именно в нижегородском ярмарочном театре в 1896 году пение малоизвестного артиста получило высокую оценку рецензентов, напророчивших ему видное положение среди русских басов.

Но, конечно, главное, чем одарил Шаляпина Нижний Новгород, была дружба с Максимом Горьким. У них было немало общего: трудное детство, непростой путь в профессию, широкое признание, всероссийская (а позже – мировая) слава. Оба – и Шаляпин, и Горький – были любимыми персонажами карикатуристов. Несмотря на огромную популярность, карикатурная интерпретация их личностей чаще сопровождалась негативной оценкой, нежели одобрением или восхищением. Объяснение лежало на поверхности: им не могли простить нестандартный путь наверх. Какая-то часть публики восхищалась их восхождением от низов до гениев, но ещё большая не могла с этим фактом примириться. Снобы считали, что «выскочки из народа» не должны и не имеют право забывать о своём низком происхождении. Так и продолжалось всю их жизнь: сатирики не упускали случая напомнить им, что они оказались «с суконным рылом в калашном ряду». Им не прощалось то, на что у других не обратили бы внимания.

Шаляпин и Горький были персонажами многих карикатур – и добродушных, и злых. Какие-то из них воспринимались как текущая хроника, какие-то выражали личные оценки карикатуристов, какие-то выполняли конкретный заказ издателей, редакторов и тех слоёв населения, для кого пресса предназначалась. Большинство рисунков делалось без особенных затей: давались более-менее похожие портреты друзей, а под ними – диалог, расшифровывающий причины появления (или смысл) карикатуры. То Горький похвалялся перед Шаляпиным, что купил именные, то Шаляпин хвастался, что «пощипал» Москву и направляется за тем же в Питер и так далее. Можно было видеть, как друзья сидели за самоваром, играли в чехарду, плясали, направлялись в баню, выступали в ролях балерин, фотографировались, катались на тележке, стояли на сцене, участвовали в маскараде...

Комментировались и текущие события, участниками которых были и Горький, и Шаляпин. Вот например, как описывался на страницах журнала

«Рампа и жизнь» бенефис Шаляпина. Отзыв Lolo (Л. Мунштейна) был облечён в форму куплетов на мотив арии Мефистофеля «На земле весь род людской...»:

Я на первый бенефис
 Сто рублей за вход назначил,
 Москвичей я одурачил:
 Деньги все ко мне стеклись!
 Мой великий друг Максим
 Заседал в бесплатной ложе,
 «Полугорьких» двое тоже
 Заседали вместе с ним.
 Мы дождались этой чести,
 Потому, что мы друзья,
 Это знает вся Москва.
 Мы снимались даже вместе,
 Чтоб москвич увидеть мог
 Восемь пар смазных сапог...

В этих куплетах сошлось многое, по мнению их автора, присущее и Шаляпину, и Горькому. Во-первых, любовь к гонорарам, затем – хитрость и оборотистость в делах, неразборчивость в знакомствах, плебейская экипировка... Надо сказать, что попутчиками Шаляпина и Горького (в «смазных сапогах») были не какие-то забулдыги, а широко известные литераторы Леонид Андреев и Скиталец*. Главное, конечно, что прочитывалось за текстом куплетов – высокомерие автора и большей части публики. Испытывая интерес и к личностям писателя и певца, и к их творчеству, они тем не менее относились к ним свысока.

Анализируя нюансы подобного поведения, Шаляпин в «Страницах из моей жизни» писал: «Публика невольно стремится принизить личность до себя. Чтобы не "высовывалась"». Этим же объясняется и некоторое панибратство, с которым обращались репортёры бульварных газет (а одновременно и сатирики) к Шаляпину. Низводя его до своего уровня, обращались к певцу – Фёдор, Федя, Шаляпкин, дядя Федя... Вот типичный отзыв на выступление певца, опубликованное без подписи в журнале «Ёжик»:

Обладая страшным басом,
 Телом, ростом и лицом,
 Вы кричите контрабасом,
 Словно мира пред концом...

Дядя Федя, не кричите,
 Разодрали уши всем!
 Дядя Федя, отдохните,
 Оглушили ведь совсем!

Стоит ли говорить, что после таких «комплиментов» Шаляпин весьма настороженно относился как к похвалам, так и к критике. Очень часто он чувствовал себя на публике неуютно, о чём не раз писал, например, в автоэпиграмме о гастролях в Италии:

* «Полугорькими» (а также «подмаксимовками») их называли из-за подражания М. Горькому и в творчестве, и в манере поведения.

Я здесь в Милане – страус в клетке
 (в Милане страусы так редки);
 Милан сбирается смотреть,
 Как русский страус будет петь.
 И я пою, и звуки тают,
 Но в воздух чепчики отнюдь
 Здесь, как в России, не бросают.

Вообще взаимоотношения публики и знаменитости во все времена бывали непростыми. Сегодня кумира носили на руках и были готовы исполнить любую его прихоть, а завтра обрушивали на него раздражение, злобу, неприятие. Уж, казалось бы, Шаляпиным была завоевана популярность, никто не сомневался в его таланте, его выступления встречали с восторгом*, но чуткий актёр понимал, что почитание это относительно. Он писал: «Я знал, что публика любит меня, но чем больше любили меня, тем более становилось мне как-то неловко и страшно». От любви до ненависти – один шаг. Шаляпин в полной мере испытывал на себе эти перепады. Какие только характеристики не приходилось ему выслушивать и вычитывать со страниц прессы.

Lolo:

Он попал в число избранных
 И давно глядит с высот,
 Как толпа пленённых данников
 Щедро дань ему несёт.
 Наша радость, утешение,
 Гордость наша!.. Но судьба
 Сочетала в русском гении
 Полубога и раба!

Те, кто только что восхищенно отзывались о Шаляпине, могли за день переменить своё мнение. Вот характерная метаморфоза, произошедшая с известным журналистом Власом Дорошевичем, отмеченная в эпиграмме Гри-Гри (Г. Альтерсона):

...Что с Власом сделалось, скажите ради бога?
 Ах, он совсем не тот (переменился за ночь!).
 Похвал заслуженных он «Феде» не поёт,
 Не «Федя» у него, а «Фёдор», да «Иваныч»,
 И с пеною у рта наш бедный Влас
 Доказывает тщетно:
 «В Шаляпине лишь голоса запас,
 Таланта вовсе не заметно...»

Среди многочисленных обвинений публики наиболее часто звучали упоминания о баснословных гонорарах Шаляпина, о его капризах, саморекламе, необоснованных притязаниях. «Человек без слепой кишки» (Ф. Благов) в 1911 году из номера в номер журнала «Будильник» давал беглые характеристики людям литературы и искусства от их собственного

* В Америке на сцене «Метрополитен Опера» в конце 1907 года выступление певца привело публику в такой восторг, что (по словам нью-йоркского критика) «театр положительно напоминал сумасшедший дом».

имени. За подписью «Фёдор Великий» были помещены стишки на мотив куплетов Мефистофеля:

На земле весь род людской
Чтит всегда одну рекламу...
Только было б больше гаму –
И польёт поток златой!..

Ах, в попытках бесконечных
Новый шум себе создать
Уж не прочь дрессировать
Тараканов я запечных...

Иль на «Райте» полетать,
Или медиумом стать?..

Сатана, что предпринять?
Сатана, что предпринять?
Что предпринять?
Что предпринять?

Тот же Благов от лица певца выказывал недовольство результатами своего очередного выступления:

В моей душе немножко лихо:
Прошёл «дебют» мой как-то тихо.

Все эти шпильки певцу приходилось терпеть, не обращать на них внимания, но бесследно они не проходили. В одном из зарубежных интервью он говорил: «Мне завидуют и стараются как-нибудь укольнуть. Удивительные эти русские люди! То на руках носят, то готовы в лицо плюнуть». В чём-то Шаляпин, конечно, был прав, но дыма без огня не бывает. Для многих нападок со стороны он сам давал повод. Его «звёздность» не раз подчёркивали сатирики и в насмешливом, и в издевательском тоне.

Lolo:

Ваши слёзы, ваши стоны
Душу тронули мою...
На статьи и фельетоны,
Так и быть – я наплюю!
Еду, еду – не свищу,
Как наеду – не спущу!

Словно гений исполинский,
Обессмертил я Москву.
Знаменит бульвар Новинский
Тем, что я на нём живу!
Здесь в столетний юбилей
Мне воздвигнут мавзолей!

Я устал, весь мир объехав,
Дивный голос издержав...

Русь – в лучах моих успехов –
Стала первой из держав!
Преде мною Лев Толстой,
Извините, – звук пустой!

Пел я прежде «Марсельезу»,
О «Дубинушке» стихи...
А теперь из кожи лезу,
Чтоб загладить все грехи...
Я пою при королях!
Все колени в мозолях...

Много претензий и негативных оценок вложил Lolo в «Куплеты Шаляпина». Здесь прочитываются знакомые упрёки в самомнении, зазнайстве, в равнодушии к критике и даже в небрежении к своему голосу, но, может быть, главное заключается в последней строчке. Мозоли на коленях образно напоминали о неприятном инциденте 6 января 1911 года, происшедшем в Мариинском театре после спектакля «Борис Годунов». По инициативе хора все исполнители спектакля (включая Шаляпина) встали на колени перед присутствующим в царской ложе Николаем II. За это коленопреклонение Шаляпину сильно досталось и от друзей, и от недругов. М. Горький в письмах назвал его «дураком», а всё происшедшее «дикими глупостями». В. Серов в письме к Шаляпину был более краток: «Постыдился бы!» Что говорить о сатириках: певца рисовали не то что на коленях, а просто на карачках. Остроту сюжета добавляло одеяние певца: ведь он преклонил колено будучи в образе другого царя – Бориса Годунова.

И таких происшествий в судьбе Шаляпина было немало: он часто совершал неблагоприятные поступки, абсолютно не задумываясь об их последствиях. Например, постоянным общественности стали его повторяющиеся столкновения с дирижёрами. Общеизвестно, что певец прерывал репетиции, указывал дирижёрам на неверную интерпретацию музыки – темпа, громкости, пауз... Взаимонепонимание выросло до скандалов и брани. Это смаковали сатирики. В басне В. Буренина «Шаляпин и хулиган» хулиган так обращался к певцу:

Шаляпин Фёдор, вы у нас,
У хулиганов – во в каком почёте!
Но не за то, что хорошо поёте,
Что Бог талант вам редкий дал:
Мы любим вас отменно за скандал
И за чудесный богатырский норов,
С каким бросаетесь так часто вы
На дирижёров
В театрах Петербурга и Москвы.

На карикатурах дирижёры оснащались едва ли ни дубинками не то для того, чтобы укрощать Шаляпина, не то для того, чтобы защищаться от него. Одна из таких карикатур сопровождалась надписью:

Смирить его жестокий «норов»
Бессильны стёки дирижёров,
Но если б сделать их длиннее,
Он стал держаться б поскромнее.

Подоплёкой скандалов было требование Шаляпина к дирижёрам неукоснительно соблюдать его указания. Он часто бывал неудовлетворён консервативными трактовками сценического действия, ему хотелось каждый раз по-новому, наиболее эмоционально и выразительно преподнести свою роль. Объясняя эти срывы, Шаляпин писал: «Очень вероятно, что часто я веду себя на репетициях нервозно, может быть, деспотично, грубо и даже обижаю больших и маленьких людей – об этом так много говорят, что я сам готов поверить в это...» Оправдывает певца то, что случались все эти стычки не просто из-за его плохого настроения, а в интересах дела, к которому Шаляпин относился с неизменной любовью.

Упрёки в грубости постоянно преследовали Шаляпина в течение всей его карьеры. Уже во времена его молодости были в ходу куплеты (исполнялись Ю. Убейко):

Если б был я как Шаляпин Федя,
Я рычал бы на манер медведя,
Распевал бы всюду громким басом
И хористок бил бы по мордам.

Но и в зрелом возрасте (даже в эмиграции) мало что изменилось. Известна ядовитая эпиграмма И. Бунина:

Хорошо ты водку пьёшь.
Хорошо поёшь и врёшь.
Только вот что, mon ami,
Сделай милость, не хами.

И эти обстоятельства по-своему объяснял Шаляпин: «По природе моей я несдержан, иногда бываю резок и всегда нахожу нужным говорить правду в глаза. К тому же я впечатлителен, обстановка действует на меня очень сильно, с "джентльменами" я тоже могу быть "джентльменом", но среди хулиганов – извините – сам становлюсь хулиганом».

Карикатурная иконография Шаляпина велика. Мало какая творческая личность может похвастаться таким обилием шаржей – разве только друг певца Максим Горький. Но в восприятии сатирических изображений у них было принципиальное расхождение. Если Горький не любил шаржи на себя и обижался на них (вообще плохо воспринимал юмор), то Шаляпин понимал, что карикатуры – это бесплатная реклама, лишняя порция славы и успеха.

Наибольшее число шаржей гротескно отражало внешний облик певца, начиная с юных лет (Н. Ходотов: «Неуклюжий верзила, скромный, застенчивый, голубоглазый») и до пожилого возраста (с редкими волосами, с тяжёлыми чертами лица). Он мог быть одет по разному – и небрежно (в каких-то обносках) и аристократично (во фраке и цилиндре), но всегда выглядел статно и импозантно. Никакие сатирические преувеличения не могли обезобразить его мощную фигуру. Внешнее сходство почти всегда художники улавливали с высокой точностью: даже без подписи Шаляпин угадывался на карикатурах безошибочно.

Кроме «чисто портретных» шаржей появлялось немало таких, на которых обыгрывались многочисленные увлечения певца. Его можно было наблюдать за занятиями спортом, за музицированием, рисованием, лепкой, гримированием... Но чаще всего его изображали в образе героев, исполняемых им ролей – он представлял в костюмах и гриме Демона, Дон

Кихота, Мефистофеля, дона Базилио, Ваарлаама, Ерёмки и др. Любили карикатуристы нарисовать широко распахнутый рот поющего («орущего») певца; каждый давал волю своей иронии, но, что главное, – любое преувеличение не перечёркивало внешнего сходства. Бывали и совсем забавные шаржи, когда Шаляпина изображали за выпивкой, дуракавалянием или в роли продавца грампластинок, а то в виде кентавра или персонажа церковной иконы.

Надо сказать, что сам Шаляпин любил шутку, веселье, всегда готов был к розыгрышам и подначкам, бывал центром любой компании. К шаржам и карикатурам он относился легко, даром что и сам великолепно рисовал. Он оставил множество зарисовок и портретов: себя (в жизни и в ролях), людей, с которыми тесно общался. Это могли быть вполне серьёзные, почти академические изображения, а могли быть и шаржи – как безобидные, так и насмешливые.

Известно большое число автошаржей Шаляпина, которые он рисовал мгновенно, почти не глядя – так отработан был его росчерк. Главные черты повторялись от раза к разу: приподнятая голова, взбитый над лбом кок, большие ноздри. Иногда этими деталями рисунки и ограничивались.

Шаржи певца на многих деятелей литературы и искусства как минимум узнаваемы: сходство Шаляпин схватывал мгновенно – глаз у него был точен, его модели с удовольствием отмечали мастерство портретиста. Пробовал Шаляпин писать маслом, лепить – в художественном таланте ему трудно было отказать. Сам он неоднократно сожалел, что карьера певца не позволила ему в полной мере реализоваться как художнику. На эту тему известна эпиграмма Ф. Благова, написанная от имени певца:

Всем заявить готов я без прикрас:
В моей душе талантов ералаш...
Когда б я не был знаменитый бас,
Я был бы Серов или Каран д'Аш*.

Приравнивание Шаляпина к классикам искусства носило, конечно, иронический характер, напоминало о гоноре певца, но, с другой стороны, свидетельствовало о действительном наличии нестандартных способностей. «Ералаш талантов» не ограничивался пением и искусством. Шаляпин обладал даром литератора, мог (иногда экспромтом) выразить в стихотворной форме своё мнение по любым вопросам. Известны его автоэпиграммы, сделанные довольно ловко и получившие распространение. В молодости Шаляпин пописывал всякие стихотворные мелочи и даже иногда публиковал их в юмористических журналах (например, в «Развлечении»). Позже он стал автором двух книг: «Страницы из моей жизни» и «Маска и душа». Многогранность его способностей не вызывает сомнения.

Немало язвительного звучало в прессе в адрес Шаляпина в дореволюционное время, но особенно ему досталось в годы эмиграции. Нежелание певца возвращаться в советскую Россию вызывало резкие нападки. Особенно отличился В. Маяковский. Он призывал правительство:

* С Валентином Серовым, знаменитым художником, Шаляпин был весьма дружен, много времени они проводили вместе. Художник выполнил несколько великолепных портретов певца. Каран д'Аш был французским художником, мастером карикатуры и шаржа, автором многочисленных альбомов и целых томов карикатур, восхищавших всю Европу.

С барина
с белого
сорвите, наркомпросцы,
Народного артиста
красный венок*!

Он же в «Письме писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому» саркастически резюмировал:

Или жить вам,
как живёт Шаляпин,
раздушёнными аплодисментами оляпан?
Вернись
теперь
такой артист
назад
на русские рублики –
я первый крикну:
– Обрато катись,
народный артист Республики!

Шаляпин тосковал по Родине и мечтал о приезде в Россию, но не видел способа этим мечтам сбыться. Он понимал, что остаться самим собой в Советском Союзе ему не удастся, и в конечном итоге пришёл к выводу о невозможности возвращения. Обыграл это решение певца Lolo (тоже находившийся в эмиграции) в придуманной им анкете «Когда мы вернёмся в Россию»:

Я в политике профан.
Мне богами голос дан, –
Я его храню, лелею, –
Не пропал бы к юбилею.
Что? Вернусь ли?.. Нет, мерси:
Я попробовал однажды...
Не испытываю жажды
Очутиться на Руси...
Я горжусь своей «программой»!
Но деталей не проси, –
Я отвечу звонкой гаммой:
До-ре-ми-фа-соль-ля-си!

Эмиграция смазала впечатление о славе певца у многих поколений советских людей. Долгое время имя певца замалчивалось, его творчество уходило в какое-то далёкое прошлое. Тем не менее, несмотря ни на что, Шаляпин остался одним из самых заметных русских талантов. «Для будущих поколений он будет легендой» – писал о нём Сергей Рахманинов. Можно с уверенностью сказать, что его предсказание сбылось.

* Что и было сделано. На родине Шаляпина лишили гражданства и звания народного артиста.

Круг чтения

Юрий НЕМЦОВ

Родился в 1950 году в Кинешме Ивановской области. Окончил Горьковский госуниверситет (филологический факультет), преподавал в средней школе литературу и русский язык, работал журналистом.

Шеф-редактор публицистического вещания ННТВ, редактор видеожурнала «Строй!». Лауреат премий им. М. Горького и Нижнего Новгорода, гран-при телефестиваля «Вся Россия» (программа «Парад побед», 1995), гран-при фестиваля «Зодчество-98» («Архотека»).

Заслуженный работник культуры РФ. Живет в Нижнем Новгороде.

СЛЕДОВАТЕЛЬНО – СУЩЕСТВУЮ

Кто научит смотреть и видеть? Может быть – книжки...

Алексей Иванов. «Сердце Пармы». Есть в этой книге эпизод, который мне хочется здесь привести, но сначала – два слова о книге и авторе. Алексей Иванов – наш земляк. И если бы он в свое время не уехал с Волги на Каму, возможно, написал бы нечто подобное о нашей, нижегородской земле. Может быть, это называлось бы не «Сердце Пармы», а «Черная рамень», например, или «Бабья Гора». У нас ведь тут, от устья Оки до устья Ветлуги, до Северных Увалов, до южной засечной черты такие творились дела. Тут тебе и варяги, и меря-мурома-мещера, загадочные буртасы и волжские булгары, марийские войны, Арап-Шах и Пьянское побоище, Бату-хан и городецкое пожарище. Но писатель Иванов поселился в Перми, его воображением завладели персонажи других событий, другая лексика наполнила язык его романа.

«Зеленое золото Вагирйомы тускло отблескивало сквозь прорези в кожаном шатре, расшитом понизу багрово-красными ленточками. Шатер стоял на помосте, укрепленном на спинах двух оленей, что устало шагали за конем хонтуя. Позади остался длинный извилистый путь от родного Пелыма: через многие хонты своей земли, через священное озеро Турват, на жертвенники у Ялпынга, по отрогам Отортена и на полдень по Каменной Ворге до самых Басегов».

Каково?! Язык сломаешь? Наоборот: отточишь. И концу романа все эти хонтуи, хаканы, памы, вогулы, ламии и хумлялыты будут тебе как родные. Недаром по этой книге в Перми проводились ежегодные фестивали. Это не фэнтези, не мистический триллер, это классический исторический роман о том, как московская Русь крестом и мечом утверждала свое владычество в Стране Каменных Гор, где стоял на реке Колве и доселе стоит древний город Чёрдынь.

Вогулы – это манси, воинственные племена, которые сопротивлялись русской колонизации, язычники, не желавшие менять своих идолов на русского бога. Но город Чердынь, самое сердце Великой Перми, к XV веку уже стал русской крепостью. Там был русский монастырь, там стоял русский князь Михаил со своим гарнизоном. Там закладывались основы для движения Российской империи на восток, за Урал, на Камчатку, Аляску...

И вот вогулы, страшные в своих звериных шкурах и своей лютой ненависти к пришельцам, атакуют Чердынь. Они уже прорвались в город, уже горит монастырь, как вдруг чердынцы, словно обретя второе дыхание, бросаются спасать монастырь. Что случилось, откуда в них эта новая сила и радость победы?

Князь Михаил понимал, что «какая-то причина этой радости должна все же быть, и, наверное, уже есть, но пришлось даже трижды оглянуться, чтобы осознать увиденное: за дальним частоколом и дальними башнями во всю ширь Колвы разметнулись струги, ладьи, барки, лодки, плоты с распушенными парусами и растопыренными веслами.

– Русь! Русь пришла!.. – закричал Михаил».

Я хотел вам это процитировать, потому что для многих из нас ожидание прихода Руси – то есть возвращение гордости за свою родину – стало объединяющим чувством. Многим даже кажется, что Русь уже пришла, вернулась, но как? Какая? В каком обличье? На танках, с «искандерами» и «тополями»? С древними песнями в хороводах? За штурвалом комбайна, с добрым крестьянским лицом? За рулем «бентли континенталь» с девицей на заднем сиденье? В балаклаве, с плакатом «Россия для русских»?

Кто объяснит? Кто научит смотреть и видеть, понять – и не ошибиться в очередной раз? Книжки? Может быть – книжки...

* * *

Зимой хорошо, сидя в тепле и уюте, читать Бунина. А зима нынче будет на редкость холодной. Страшно за бездомных людей и собак. А выйти на улицу в 30-градусный мороз и сказать: идите ко мне греться, люди, собаки! Элементарный эгоизм не дает этого сделать.

Я первый раз прочитал бунинские строки в письме, которое мне прислала одна девушка, ставшая впоследствии моей женой. Да, представьте себе: в нашей молодости красивые девушки читали и переписывали стихи Ивана Алексеича Бунина. Вот одно из них. Называется «Святой Прокопий». Про любовь, конечно. Девушки во все времена думают только про любовь.

Бысть некая зима
 Всех зим иных лютейша паче.
 Бысть нестерпимый мраз и бурный ветр,
 И снег спаде на землю превеликий,
 И храмины засыпа, и не токмо
 В путех, но и во граде померзаху
 Скоты и человецы без числа,
 И птицы мертвы падаху на кровли.
 Бысть в оны дни:
 Святый своим наготствующим телом
 От той зимы безмерно пострада.
 Единожды он нощию прииде

Ко храминам убогих и хоте
Согретися у них; но, ощутивше
Приход его, инии затворяху
Дверь перед ним, инии же его
Бияху и кричаще: – Прочь отсюду,
Отыде прочь, Юроде! – Он в угле
Псов обрете на снеге и соломе,
И ляже посреде их, но бегоша
Те пси его. И возвратися паки
Святой в притвор церковный и седе,
Согнуся и трясыйся и отчаяв
Спасение себе. Благословенно
Господне имя! Пси и человецы –
Единое в свирепстве и уме.

Да, про любовь. А как вы думаете? Впустить в свой дом грязного, вшивого, трясущегося от холода человека – это и есть высшее проявление любви. Впустить – или не выпустить. Любить – или не любить. Вот у нас XXI век, компьютеры, атомные электростанции, смываемые кондиционеры для тела увлажняют кожу прямо в душе! А для души – ничего нового. Постучится в морозную ночь и встанет на пороге чужая беда – и вот вы один на один с совестью, и неважно, какой век на дворе. И мраз, и глад, и снег, и ледяные звезды в небесах – на все времена.

Я вот только одного не пойму: ведь у Бунина была собака. Вот же он пишет о ней:

Мечтай, мечтай. Все уже и тусклей
Ты смотришь золотистыми глазами
На выюжный двор, на снег, прилипший к раме,
На метлы гулких, дымных тополей.

Вздыхая, ты свернулась потеплей
У ног моих – и думаешь...

Так как же он мог написать, что пси и человецы – единые в свирепстве и уме. Нет, не единые, Иван Алексеевич! Собака умнее и добрее человека.

* * *

Сергей Беляков. «Гумилев, сын Гумилева». Я прочитал эту книгу в прошлом году, еще до того, как все началось. Если бы кто-то мне сказал тогда, что Киевский суд примет постановление о принудительной доставке для ареста министра обороны Российской Федерации, я бы решил, что это бред сумасшедшего. Но заключительные слова этой книги уже тогда звучали злоеще: «Я только узнал, что люди разные, и хотел рассказать, почему между народами были и будут кровавые скандалы». Лев Гумилев. Сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева, историк, этнограф, писатель, философ, географ, поэт, археолог, фронтовик, заключенный Камышлага.

Это самая полная биография одного из самых оригинальных русских ученых прошлого века, открывшего свою пассионарную теорию, лежа под нарами в лагерном бараке. А кроме того – это еще и критическая оценка всего огромного наследия Гумилева. Автор – историк, литературовед

Сергей Беляков – не скрывает симпатии к своему герою, но и не скрывает его ошибок.

«Татаро-монгольское иго под его пером превратилось в союз с Ордой или русско-татарский симбиоз. Оккупанты стали защитниками Руси от немецкой и литовской угроз, а Куликовскую битву, как оказалось, выиграла потомки крещеных татар, перешедших на службу к московскому князю. Более того, великий князь Дмитрий Иванович на Куликовом поле сражался с «агрессией Запада и союзной с ней ордой Мамаю».

Не с легкой ли руки Льва Николаевича Гумилева из школьных учебников истории вот-вот исчезнет само понятие монголо-татарского ига? Ученый в исторических бестселлерах Гумилева часто уступает место писателю-фантасту, но это не отменяет важности открытия законов этногенеза для всего человечества. «Его книга "Этногенез и биосфера Земли" содержит немало оригинальных идей, над которыми стоит задуматься. Гумилев глубоко прав, когда утверждает, что этнос не связан ни с расой, ни с языком, ни даже с религией». В самом деле: под Донецком стреляют друг в друга люди, говорящие на одном языке. И крестятся они справа налево. В чем же истинная, глубинная причина кровавого скандала между братьями-славянами? Был бы жив Гумилев, он бы объяснил. Впрочем... Он сам предостерегал от иллюзий всезнания. «Когда я умру, не говорите, что я был милым ворчливым стариком, знающим всё про всё. Вранье».

Он не кокетничал. Он сам прекрасно понимал, что лишь приподнял завесу великой тайны, объясняющей причину бесконечной череды международных кровопусканий без особого повода. «Должен сказать серьезно: предмет моей науки довольно строг, хотя и не общепринят; предмет мой – разнообразие».

Я читал эту книгу в Индии. На побережье Аравийского моря стояла жаркая зима, пляжное население северного Гоа готовилось к встрече Нового года, и поскольку это население в основном уже русское, новый год там встречают дважды: сначала по местному, а потом, через полтора часа, по московскому времени. А в остальном – полный симбиоз культур и национальностей. Все говорят по-английски, все голые, загорелые, все занимаются йогой. Один немец на пляже объяснял мне, что он не хочет не только возвращаться на родину, но даже и говорить по-немецки: английский проще, выразительней. Другой, русский по происхождению, жалел, что на планете не ввели единый язык эсперанто. Никто не хотел национального разнообразия. Но каждый хотел быть личностью, каждый хотел выделиться.

А я читал Белякова. «Будущее России и Европы, наша судьба и судьба наших детей зависят от национальной политики. Критики называют теорию Гумилева мрачной, но станем ли мы ругать врача, который просто ставит больному диагноз? Лучше знать горькую правду, чем утешать себя сказками и побасенками про дружбу народов и свет просвещения, который должен рассеять мрак невежества и ксенофобии. Впрочем, я все-таки не согласен с критиками Гумилева. Его взгляд на мир вовсе не мрачен. Да, межнациональные конфликты неизбежны. Да, народы не вечны. Зато вечно этническое разнообразие. Нет ничего печальнее и примитивнее, чем скучный мир глобализации...»

Не прошло и полгода, как глобальный мир затрещал по швам. Сотни, тысячи семей, говорящих на русском языке, потеряли дом, друзей, самых близких, родных людей. Можно ли, этично ли сейчас задаваться вопросом, что лучше: скука глобального мира или разнообразие кровавых скандалов? А третьего – не дано?

* * *

Сквозь волнистые туманы пробирается луна. На печальные поляны льет печально свет она. Какие туманы – зимой? Облака? Так бы и написал – облака. Нет вот – туманы. И два раза печально – тоже неслучайно.

А нас-то в школе как учили? Радостно и бойко! Пушкин же!

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

Ведь сказано же: и поляны печальные, и свет печальный, и дорога скучная, и колокольчик – однозвучный, и не звенит, а гремит утомительно... А мы все так же бодро скакали по зимней дороге: что-то слышится родное в долгих песнях ямщика! Эх, прокачу!

А ведь это одно из самых печальных, даже мрачных стихотворений Александра Сергеевича. Да, он был человеком дороги, она его звала, волновала, манила как всякого русского человека. Да если еще тройка борзая, да морозная ночь, да накатанная колея!

Но в этой зимней дороге – никакой радости.

Ни огня, ни черной хаты...
Глушь и снег... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадают одне.

Здесь для нас, школьников, стихотворение заканчивалось. Видимо, составителей учебной программы смутила строчка «И докучных удаляя, полночь нас не разлучит!» А Пушкина-то как раз эта строчка и грела. Кто эти докучные? Гости, конечно. Засиделись до полуночи. Но вот часы бьют раз, два, три, четыре... И все замолкают, и смотрят на хозяев, и видят короткий взгляд, которым они обменялись. Пора уходить, пора их оставить одних, потому наступило их время. «Полночь нас не разлучит!» – значит, мы хозяева этого дома, муж и жена. Нам никуда не нужно уходить, уезжать по холодной зимней дороге.

Бездомность Пушкина, его мечты о любимой жене, о многолюдной семье – факт его биографии. Он найдет себе жену-красавицу, и дом на набережной в центре столицы, и она нарожает детей, и они будут счастливы, пока не появится на горизонте француз, красавец-кавалергард, но это будет потом. А сейчас он едет по зимней дороге лунной ночью, мечтая о красивой женщине, теплом доме с камином, о часах с боем, ему 27 лет, вся жизнь впереди! Отчего же такая грусть-печаль, и тоска, тоска... Предчувствие?

Скучно, грустно... Завтра, Нина,
Завтра, к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь не наглядясь.

Звучно стрелка часовая
 Мерный круг свой совершит,
 И, докучных удаляя,
 Полночь нас не разлучит.

Грустно, Нина: путь мой скучен,
 Дремля смолкнул мой ямщик,
 Колокольчик однозвучен,
 Отуманен лунный лик.

Так вот зачем были нужны туманы вместо облаков. Ради этой последней фразы – ледяной, тоскливой, безнадежной. Отуманен лунный лик.

Может быть, я это все сам придумал, и не было у Пушкина желания нагнать такого мраку на читателя своего. В конце концов каждый по-своему читает и слушает, и понимает. Или не понимает. Я – так читаю. Я так устроен. Даже когда читаю любовные стихи, я стараюсь их понять. Я мыслю. Следовательно – существую

* * *

Из книжки, прорвав обложку, на меня смотрит глаз старого человека. Видимо, он и есть – Лавр. Но в начале появляется другой старик, дед главного героя, Христофор.

«8 мая 1441 года в Кирилло-Белозерском монастыре семья отслужила благодарственный молебен. Приложившись после молебна к мощам преподобного Кирилла, Арсений с родителями отправились домой, а Христофор, его дед, остался в монастыре. На следующий день завершился седьмой десяток его лет, и он решил спросить у старца Никандра, как ему быть дальше.

В принципе, ответил старец, мне нечего тебе сказать. Разве что: живи, друже, поближе к кладбищу. Ты такой дылда, что нести тебя туда будет тяжело. И вообще: живи один.

Так сказал старец Никандр».

1441 год... Кирилло-Белозерский монастырь... «В принципе, мне нечего тебе сказать...» Ну-ка, что там еще...

«Помогал Христофор и в делах постельных. Он был убежден, что правил личной гигиены следует придерживаться и в Средневековье. Что убо о сем речеси, записывал он в сердцах на куске бересты. И как это женщины таких к себе подпускают? Кошмар».

Евгений Водолазкин. Ученик академика Лихачева, доктор филологии, специалист по литературе Древней Руси всерьез полагает, что в 1441 году кто-то писал на куске бересты фразу типа «и как это женщины таких к себе подпускают», да еще с восклицанием: кошмар!

Интересно, как реагирует Интернет:

«Не понравилось, совсем... Особенно активное неприятие вызвал стиль изложения и язык: то древнерусский, то современный полубандитский сленг. Может, это художественный прием, призванный усилить впечатление, но не мое. А как вам пластиковые бутылки в средневековом лесу, которые показались из-под снега весной? А почему не окурки?»

Осталось открыть 82-ю стр, найти эти злополучные бутылки на снегу XV века, в сердцах захлопнуть книжку и... совершить глупейшую ошибку, потому что в этом фантастическом соединении древности и современности – стилистическое и смысловое очарование книги. Мне странно

слушать, когда говорят: закройте отсеки прошлого и будущего, живите здесь и сейчас. Потому что время нелинейно. И прошлое, и будущее, и настоящее живут здесь и сейчас. И русский язык не делится на древнерусский, современный русский, литературный, нелитературный – это единое и неделимое пространство мировой культуры. И чудесная, трогательная, трагическая любовь Арсения и Устины тоже живет здесь и сейчас.

Арсений, который в старости станет Лавром, великим врачом, в юности захотел любви для себя. Никому не хотел показывать свою Устину, свою тайную любовь. И погубил свою любовь ради тайны. И стал юродивым. Это книга о великой любви, о чувстве великой вины, которое гонит человека по дороге великих страданий, потому что искупление возможно только через любовь ко всем людям, а такая любовь требует полного самоотречения, что в русской традиции означает юродство. Полный отказ от материального, телесного. «Знаешь, со всем этим бараклом мы вослед за вознесшимся Спасителем не вознесемся. У человека, любовь моя, много ненужного имущества и привязанностей, которые тянут вниз».

Я только с третьего захода понял, о чем эта книга. А может быть, не понял. Может быть, она о другом. Не важно. Главное – я читаю, и перечитываю, и мыслю. Следовательно – существую.

* * *

Роман Захара Прилепина «Обитель» – о Соловках. О Соловецком лагере особого назначения – сокращенно СЛОН.

Как и многие из вас, я был на Соловецких островах, поднимался на Секирку, – это горка такая, на вершине которой стоит храм с маяком, в этом храме чекисты сделали штрафной изолятор. Я слушал рассказы экскурсоводов, смотрел фотографии, говорил себе: здесь был концлагерь, здесь убивали и мучили... Но в тот день так грело солнышко, с Секирной горы открывался такой потрясающий вид на леса и озера, в Белом море игрались белухи, над горизонтом вставали миражи... Я видел только красоту. А вот что увидел автор этой книги, однажды приехав на Соловки:

«Полезли невесть откуда всякие гады: жабы и слизняки, скорпии и глисты, хамелеоны и ящерицы, пауки и сороконожки, одной половиной ползущие вперед, а другой назад, крысы, вывернутые наизнанку, с животом, увешанным еще не дозревшими крысиными младенцами, тарантул на старушечьих пальцах вместо лап... еще крутился, потерявший свой звериный зад, волосатый хвост...»

Что это? «Ад» Иеронима Босха? Нет, это ад Захара Прилепина. На Секирке чекисты придумали такую забаву: открывать двери храма и уводить на расстрел очередного зека под звон колокольчика. И вот однажды этот звон будто окружил весь храм, раздавался сразу со всех сторон, заключенные в смертном ужасе бросились к двум священникам, которые там же сидели, эти двое начали готовить обезумевшую толпу к причастию.

«– Мы перечислим грехи человеческие, а вы раскаивайтесь и говорите "грешен", – взмахнув рукой с зажатым в ней крестом, велел владычка Иоанн».

Вот тут и полезли жабы, крысы, тарантулы и скорпионы – грехи человеческие.

«Весь пол был покрыт слизью, человеческой рвотой и всей мерзостью, что способно исторгнуть тело. У кого-то из пупка лезла неестественно длинная, волосатая, шерстяная гусеница: человек смотрел на нее в муке, ожидая, что она кончится, а она все не кончалась и не кончалась».

У другого на пальце сидел червь, всосав палец целиком, лагерник пытался его стянуть – но оказалось, что червь глубоко врос в кожу и палец переваривает...

– А теперь, милые мои, все наклоните свои главы: и мы, властью Божией, данной нам, прочитаем над вами отпущение грехов, – попросил владычка Иоанн.

Шея его истончилась, и были видны три синие жилы, готовые оборваться. Стало тихо. Все склонили головы. Возле каждого затылка звенел колокольчик...»

А в это время Артем, главный герой романа, увидел за окном собаку, бегавшую вокруг церкви. На шее у нее дребезжал колокольчик. Чекисты придумали себе новое развлечение.

Есть в романе и светлые места. И любовь, и самопожертвование во имя любви. Но что для меня самое удивительное... Захар Прилепин – мой современник, мой земляк. С ним можно встретиться на улице, пересячься на пресс-конференции, пожать руку: Здравствуй, Захар! Прилепин младше меня на четверть века. Но я на Соловках любовался красотой природы, а он стал заключенным 12-й роты Соловецкого лагеря особого назначения. Был там, все видел, слышал и все описал. Непостижимо! И теперь я, открывая его книгу «Обитель», слышу крики чаек, стоны, выстрелы, лай собак, хруст костей, злой хохот и любовный шепот, и я живу в этой книге, и дышу спертым воздухом барака, и мыслю – следовательно, существую.

Эрик-Эммануил ШМИТТ:

ЧИТАЮЩИЙ РЕБЁНОК – ЭТО СПАСЁННЫЙ РЕБЁНОК

В сентябре в Нижний Новгород приезжал Эрик-Эммануил Шмитт, известный французский писатель и драматург, автор большого количества романов и пьес, переведенных во многих странах мира. И на российских театральных площадках идут его пьесы. Доктор философии, лауреат многочисленных литературных и театральных премий, Эрик Шмитт живёт и работает в Брюсселе.



Благодаря помощи французского культурного центра «Альянс Франсез – Нижний Новгород» нам удалось взять интервью у Эрика Шмитта, а также осуществить перевод на русский язык.

Читали ли вам в детстве книжки вслух? Кто: папа, мама, бабушка, воспитательница? Какие это были книжки? Вы их помните?

Мне читала моя старшая сестра, которая на пять лет старше меня. Я садился к на колени, окутанный её теплом, и мы вместе смотрели книгу. Именно в этот момент, ещё до школы, находясь рядом ней, я и научился читать. Она меня накачивала сказками, французскими, русскими, китайскими, японскими, индийскими. И однажды, когда она меня угощала Тинтином в «Голубом лотосе»*, я исправил фразу, которую она мне читала, потому что она сделала ошибку, на которую я показал пальцем. В гневе она меня оттолкнула и закричала: «Но ты же умеешь читать! Ах ты, обманщик...» Вместо того чтобы меня поздравить, а ещё лучше порадоваться, что её младший брат уже может читать тексты, она меня обозвала лицемером. Потом долго я сожалел и скучал по тем нежным моментам, когда она держала меня в своих объятиях, к наслаждению от самих историй добавлялось приятное состояние, осязаемое и эмоциональное. После этого раза я немного рассердился на книги, лет до восьми; читать одному мне казалось слишком уж одиноким занятием.

Когда вы начали читать сам? Какие были первые книги, прочтённые вами самостоятельно? Ваши любимые детские и подростковые авторы?

Я не любил читать до восьми лет, потому что мои родители и учителя не предлагали мне ничего, кроме романов для детей, которые мне казались по-настоящему идиотскими. Потом мои родители переехали, я потерял всех своих друзей, и вот тогда в этом большом доме, холодном и новом, я обратился к книгам, чтобы себя занять. И к счастью, первый том, который

* «Голубой лотос» – пятый альбом классических комиксов Эрже о приключениях Тинтина.

я вытащил с полки родительской библиотеки, был роман «Три мушкетёра» Александра Дюма. Роман меня воодушевил. Я прочитал два других тома и оплакивал горькими слезами смерть д'Артаньяна, который уже стал моим другом. Моими авторами в детстве были Александр Дюма, Жюль Верн, Агата Кристи, Андерсен, Шарль Доде и Льюис Кэрролл.

Достаточно быстро семейная библиотека стала для меня недостаточной, и меня записали в три общественных библиотеки, чтобы удовлетворить мою ненасытную потребность к романам. Я их пожирал по несколько за неделю, часто один роман в день. Когда взрослые мне давали денег, я их сразу же тратил на книги и диски. Я вам признаюсь, что часто ходил с мамой за покупками лишь с одной целью – чтобы попытаться её убедить купить мне очередную книгу. Кроме этого, я пользовался «Историей литературы» в нескольких томах как туристическим гидом, который мне указывал места, которые следовало посетить. Даже сегодня я её помню практически наизусть.

Считаете ли вы, что родители должны прививать детям любовь к чтению, или это не самое важное?

Читающий ребёнок – это спасённый ребёнок. Спасённый от равнодушия, потому что он интересуется другими. Спасённый от глупости, потому что он открывает для себя мысли других. Спасённый от чрезмерной простоты, потому что он приобретает словарный запас, идеи и делает эластичными свои фразы. Спасённый от скуки, наконец! Ребёнок-читатель отправляется на поиски самого себя и других. Здесь родители играют большую роль: они должны не только показывать, что любят читать, но найти время в жизни своего ребёнка и сделать так, чтобы он повернулся к книгам. Практически нужно создать атмосферу безделья, освободить ребёнка от всего, чтобы он имел возможность читать.

Может ли электронная книга в ближайшем будущем вытеснить печатную? Пользуетесь ли вы электронными гаджетами для чтения художественной литературы?

Слишком рано об этом говорить... Я не Кассандра в вопросах технологий. Что касается меня, мне уже поздно: я люблю книгу-предмет, я люблю бумагу, мне необходимо держать в руке роман, делать в нём пометки, загибать углы страничек. Мне также необходимо иметь книги на полках: либо для того, чтобы они мне заново давали приятные воспоминания, поскольку я их прочитал, либо потому, что они обещают мне свидания, поскольку я их буду читать. Я не знаю лучшего живительного способа украсить свой интерьер, чем книгами. Что произойдёт с новыми поколениями? Материальная книга или книга нематериальная? Главное то, что люди продолжают читать...

Сколько книг в вашей домашней библиотеке? Что она из себя представляет: художественная литература, справочники, книги с автографами, антикварные издания?

У меня есть книги во всех комнатах всех моих домов – я живу в четырёх разных местах. Я не знаю, сколько это составляет тысяч томов... Сосчитать их все – это меня привело бы в уныние, потому что для меня важны впечатления от книг, которые остаются у меня, а не их количество.

Что вы сейчас читаете – классику, любимых авторов, новых писателей? Хватает ли времени на чтение для удовольствия? Кто из современных не французских авторов кажется вам интересными и вы следите за их творчеством?

В настоящий момент я затеял феноменальное чтение: все романы «Человеческой комедии» Бальзака в том порядке, в котором автор задумал,

чтобы мы их прочитали. Это необыкновенно сильно и великолепно. Не-объятный гений Бальзака заставляет биться моё сердце. С того момента, как я открываю очередной том, у меня бегают мурашки по телу и в душе, как если бы я шёл на любовное свидание. Рядом с Бальзаком мы все просто карлики.

Я испытываю наслаждение от чтения, я читаю для удовольствия, но это удовольствие всегда сдержано критическим взглядом, взгляд одного ремесленника по отношению к другому ремесленнику. Либо я восхищаюсь работой, либо я её оспариваю: в любом случае я её анализирую. Я больше не читатель, я становлюсь писателем, который читает. Прощай, невинность! Прощай, безучастность!

Я часто читаю классиков, писателей прошлого, которым есть что рассказать для каждой эпохи, даже то, чего они сами не знали. Из современных не французских авторов мне интересны Исмаэль Кадарэ, Джон Ирвинг, Филип Рот. Что касается русских современников, вы мне поможете! Согласны?

ВКУС КЛАССИКИ

Дайджест от редакции

Имея дело с массой рукописей, в том числе талантливых, но не очень выверенных, а то и просто не вычитанных авторами, временами ощущаешь, как сбивается точка отсчета, размываются критерии качества. И начинаешь сомневаться: а может, это вот неверное словоупотребление, логическая бессвязность, невладение фактурой темы повествования – вовсе не признак писательской незрелости, а этакая авторская вольность, простительная и допустимая?

Лечишься русской классикой.

На ней воспитанные, мы со школьной скамьи привыкли к её высокой планке. Но со временем забываем, насколько она высока, и прощаем себе мелкие огрехи. Прощаем и своим товарищам по литературному цеху – неточное слово, шаткость сюжета, небрежность в изложении. Понятно – не хочется обидеть...

А если вот так – просто напомнить, как писали они, классики? Вместе перечитать маленький отрывок, абзац, фразу. А чтоб интереснее – пусть будет тематическая подборка: про еду, про погоду, про рыбалку, про охоту.

Сегодня – про еду.

Читаем.

Вкусно?

Олег РЯБОВ

А. П. Чехов

Сирена

...– Все мы сейчас желаем кушать, потому что утомились и уже четвертый час, но это, душа моя Григорий Саввич, не настоящий аппетит. Настоящий, волчий аппетит, когда, кажется, отца родного съел бы, бывает только после физических движений, например, после охоты с гончими, или когда отмахиваешь на обывательских верст сто без передышки. Тоже много значит и воображение-с. Ежели, положим, вы едете с охоты домой и желаете с аппетитом пообедать, то никогда не нужно думать об умном; умное да ученое всегда аппетит отшибает. Сами изволите знать, философы и ученые насчет еды самые последние люди и хуже их, извините, не едят даже свиньи. Едучи домой, надо стараться, чтобы голова думала только о графинчике да закусочке. Я раз дорогою закрыл глаза и вообразил себе поросеночка с хреном, так со мной от аппетита истерика сделалась. Ну-с,

а когда вы въезжаете к себе во двор, то нужно, чтобы в это время из кухни пахло чем-нибудь этаким, знаете ли...

– Жареные гуси мастера пахнуть, – сказал почетный мировой, тяжело дыша.

– Не говорите, душа моя Григорий Саввич, утка или бекас могут гусю десять очков вперед дать. В гусяном букете нет нежности и деликатности. Забористее всего пахнет молодой лук, когда, знаете ли, начинает поджариваться и, понимаете ли, шипит, подлец, на весь дом. Ну-с, когда вы входите в дом, то стол уже должен быть накрыт, а когда сядете, сейчас салфетку за галстук и не спеша тянетесь к графинчику с водочкой. Да ее, мамочку, наливаете не в рюмку, а в какой-нибудь допотопный дедовский стаканчик из серебра или в этакий пузатенький с надписью «его же и монаси приемлют», и выпиваете не сразу, а сначала вздохнете, руки потрете, равнодушно на потолок поглядите, потом этак не спеша, поднесете ее, водочку-то, к губам и – тотчас же у вас из желудка по всему телу искры...

Секретарь изобразил на своем сладком лице блаженство.

– Искры... – повторил он, жмурясь. – Как только выпили, сейчас же закусить нужно.

– Послушайте, – сказал председатель, поднимая глаза на секретаря, – говорите потише! Я из-за вас уже второй лист порчу.

– Ах, виноват-с, Петр Николаич! Я буду тихо, – сказал секретарь и продолжал полушёпотом: – Ну-с, а закусить, душа моя Григорий Саввич, тоже нужно умеючи. Надо знать, чем закусывать. Самая лучшая закуска, ежели желаете знать, селедка. Съели вы ее кусочек с лучком и с горчичным соусом, сейчас же, благодетель мой, пока еще чувствуете в животе искры, кушайте икру саму по себе или, ежели желаете, с лимончиком, потом простой редьки с солью, потом опять селедки, но всего лучше, благодетель, рыжики соленые, ежели их изрезать мелко, как икру, и, понимаете ли, с луком, с прованским маслом... объединение! Но налимья печенка – это трагедия!

– М-да... – согласился почетный мировой, жмуря глаза. – Для закуски хороши также, того... душоные белые грибы...

– Да, да, да... с луком, знаете ли, с лавровым листом и всякими специями. Откроешь кастрюлю, а из нее пар, грибной дух... даже слеза прошибает иной раз! Ну-с, как только из кухни приволокли кулебяку, сейчас же, немедленно, нужно вторую выпить.

– Иван Гурьич! – сказал плачущим голосом председатель. – Из-за вас я третий лист испортил!

– Чёрт его знает, только об еде и думает! – проворчал философ Милкин, делая презрительную гримасу. – Неужели, кроме грибов да кулебяки, нет других интересов в жизни?

– Ну-с, перед кулебякой выпить, – продолжал секретарь вполголоса; он уже так увлекся, что, как поющий соловей, не слышал ничего, кроме собственного голоса. – Кулебяка должна быть аппетитная, бесстыдная, во всей своей наготе, чтоб соблазн был. Подмигнешь на нее глазом, отрежешь этакий кусище и пальцами над ней пошевелишь вот этак, от избытка чувств. Станешь ее есть, а с нее масло, как слезы, начинка жирная, сочная, с яйцами, с потрохами, с луком...

Секретарь подкатил глаза и перекосил рот до самого уха. Почетный мировой крикнул и, вероятно, вообразая себе кулебяку, пошевелил пальцами.

– Это чёрт знает что... – проворчал участковый, отходя к другому окну.

– Два куса съел, а третий к щам приберег, – продолжал секретарь вдохновенно. – Как только кончили с кулебякой, так сейчас же, чтоб аппетита

не перебить, велите щи подавать... Щи должны быть горячие, огневые. Но лучше всего, благодетель мой, борщок из свеклы на хохлацкий манер, с ветчинкой и с сосисками. К нему подаются сметана и свежая петрушечка с укропом. Великолепно также рассольник из потрохов и молоденьких почек, а ежели любите суп, то из супов наилучший, который засыпается кореньями и зелеными: морковкой, спаржей, цветной капустой и всякой тому подобной юриспруденцией.

– Да, великолепная вещь... – вздохнул председатель, отрывая глаза от бумаги, но тотчас же спохватился и простонал: – Побойтесь вы бога! Этак я до вечера не напишу особого мнения! Четвертый лист порчу!

– Не буду, не буду! Виноват-с! – извинился секретарь и продолжал шёпотом...

Н. В. Гоголь

Мёртвые души

...дверь растворилась. Ротозей Емельян и вор Антошка явились с салфетками, накрыли стол, поставили поднос с шестью графинами разноцветных настоек. Скоро вокруг подносов и графинов обстановка ожерелье тарелок со всякой подстрекающей снедью. Слуги поворачивались расторопно, беспрестанно принося что-то в закрытых тарелках, сквозь которые слышно было ворчавшее масло. Ротозей Емельян и вор Антошка справлялись отлично. Названья эти были им даны так только для поощрения. Барин был вовсе не охотник браниться, он был добряк. Но русской человек уж любит прянное слово, как рюмку водки для сваренья в желудке. Что ж делать, такая натура: ничего пресного не любит.

Закуске последовал обед. Здесь добродушный хозяин сделался совершенным разбойником. Чуть замечал у кого один кусок, подкладывал ему тут же другой, приговаривая: «Без пары ни человек, ни птица не могут жить на свете». У кого два, подваливал ему третий, приговаривая: «Что ж за число два? Бог любит троицу». Съедал гость три, он ему: «Где ж бывает телега о трех колесах? Кто ж строит избу о трех углах?» На четыре у него была тоже поговорка, на пять – опять. Чичиков съел чего-то чуть ли не двенадцать ломтей и думал: «Ну, теперь ничего не приберет больше хозяин». Не тут-то было: не говоря ни слова, положил ему на тарелку хребтовую часть теленка, жареного на вертеле, с почками, да и какого теленка!

«Два года воспитывал на молоке», сказал хозяин: «ухаживал, как за сыном».

«Не могу», сказал Чичиков.

«Вы попробуйте да потом скажите: не могу».

«Не взойдет, нет места».

«Да ведь и в церкви не было места. Взошел городничий – нашлось. А была такая давка, что и яблоку негде было упасть. Вы только попробуйте: этот кусок тот же городничий».

Попробовал Чичиков – действительно, кусок был в роде городничего. Нашлось ему место, а казалось, ничего нельзя было поместить.

...А за ужином опять объелись. Когда вошел Павел Иванович в ответную комнату для спанья и, ложась в постель, пощупал животик свой:

«Барабан!» сказал: «никакой городничий не взойдет!» Надобно такому стечению обстоятельств, что за стеной был кабинет хозяина. Стена была тонкая, и слышалось всё, что там ни говорилось. Хозяин заказывал повару, под видом раннего завтрака, на завтрашний день решительный обед. И как заказывал! У мертвого родился бы аппетит.

«Да кулебяку сделай на четыре угла», говорил он с присасываньем и забирая к себе дух. «В один угол положи ты мне щеки осетра да визиги, в другой гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молоко сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого, какого-нибудь там того. Да чтобы она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да исподку-то, пропеки ее так, чтобы всю ее прососало, проняло бы так, чтобы она вся, знаешь, этак растого – не то, чтобы рассыпалась, а истаяла бы во рту как снег какой, так чтобы и не услышал». Говоря это, Петух присмактывал и подшлепывал губами.

«Чорт побери, не даст спать», думал Чичиков и закутал голову в одеяло, чтобы не слышать ничего. Но и сквозь одеяло было слышно:

«А в обкладку к осетру подпусти свеклу звездочкой, да сняточков, да груздочков, да там, знаешь, репушки, да морковки, да бобков, там чего-нибудь этакого, знаешь, того растого, чтобы гарниру, гарниру всякого побольше. Да в свиной сычуг положи ледку, чтобы он взбухнул хорошенько».

Много еще Петух заказывал блюд. Только и раздавалось: «Да поджарь, да подпеки, да дай взопреть хорошенько». Заснул Чичиков уже на каком-то индюке.

На другой день до того объелись гости, что Платонов уже не мог ехать верхом. Жеребец был отправлен с конюхом Петуха. Они сели в коляску. Мордатый пес лениво пошел за коляской: он тоже объелся...

И. Шмелёв

Лето Господне

...Великий Пост: раскатишься – и сломаешь ногу. От «масленицы» нигде ни крошки, чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурными пятнышками-щербинками, – великопостные. В передней стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, – такая прелесть. Я хватаю щепотками, – как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черносливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розовые баранки, «кресты» на Крестопоклонной... мороженная клюква с сахаром, заливные орехи, засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябиновая, постный сахар – лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва... А жареная гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с луком по субботам... а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндальное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а... великая кулебяка на Благовещение, с визигой,

с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, с маринованными огурчиками... а моченые яблоки по воскресеньям, а талая, сладкая-сладкая «рязань»... а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой внутри!.. Неужели и т а м, куда все уходит из этой жизни, будет такое постное! И почему все такие скучные? Ведь все – другое, и много, так много радостного. Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы, – весь двор завалят. Поедем на «постный рынок», где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был...

А. Мельников-Печерский

В лесах

– После баньки-то выкушать надо, – молвил игумен, наливая рюмку сорокатравчатой, – да и за стол милости просим. Не взыщи только, любезненькой ты мой Патап Максимыч.

Обед был подан обильный, кушаньям счету не было. На первую перемену поставили разные пироги, постные и рыбные. Была кулебяка с пшеном и грибами, была другая с вязигой, жирами, молоками и сибирской осетриной. Кругом их, ровно малые детки вкруг родителей, стояли блюда с разными пирогами и пряженцами. Каких тут не было!.. И кислые подовые на ореховом масле, и пряженцы с семгой, и ватрушки с грибами, и оладьи с зернистой икрой, и пироги с тельным из щуки. Управились гости с первой переменою, за вторую принялись: для постника Стуколова поставлены были лапша соковая да щи с грибами, а разрешившим пост уха из жирных ветлужских стерлядей.

– Покушай ущицы-то, любезненькой мой, – угощал отец Михаил Патапа Максимыча, – стерлядки, кажись, ничего себе, подходящие, – говорил он, кладя в тарелку дорогому гостю два огромных звена янтарной стерляди и налимыи печенки. – За ночь нарочно гонял на Ветлугу к ловцам. От нас ведь рукой подать, верст двадцать. Заходят и в нашу Усту стерлядки, да не часто... Растегайчиков к ущице-то!.. Кушайте, гости дорогие. Отработал Патап Максимыч и ветлужскую уху и растегайчики. Потрудились и сотрапезники, не успели оглянуться, как блюдо растегаев исчезло, а в миске на доньшке лежали одни стерляжьи головки.

– Винца-то, любезненькой ты мой, винца-то благослови, – потчевал игумен, наливая рюмки портвейна. – Толку-то я мало в заморских винах понимаю, а люди пили да похваливали. Портвейн оказался в самом деле хорошим. Патап Максимыч не заставил гостеприимного хозяина много просить себя. Новая перемена явилась на стол – блюда рассольные. Тут опять явились стерляди разварные с солеными огурцами да морковью, кроме того поставлены были осетрина холодная с хреном, да белужья тёшка с квасом и капустой, тавранчук осетрий, щука под чесноком и хреном, нельма с солеными подновскими огурцами, а постнику грибы разварные с хреном, да тертый горох с ореховым маслом, да каша соковая с маковым маслом. За рассольной переменной были поданы жареная осетрина, леши, начиненные грибами, и непомерной величины караси. Затем сладкий пирог с вареньем, левашники, оладьи с сотовым медом, сладкие

кисели, киевское варенье, ржевская пастила и отваренные в патоке дыни, арбузы, груши и яблоки. Такой обед закатил отец Михаил... А приготовлено все было хоть бы Никитишне впору. А наливки одна другой лучше: и вишневка, и ананасная, и поляниковка, и морошка, и царица всех наливок, благовонная сибирская облепиха (Поляника, или княженика, – *rubus arcticus*; облепиха – *hipporhae rhamnoidel*, растет только за Уральскими горами.). А какое пиво монастырское, какие меда ставленные – чудо. Таково было «учреждение» гостям в Красноярском скиту. Насилу перетащились от стола до постелей. Патап Максимыч, как завел глаза, так и пустил храп и свист на всю гостиницу. Отец Михей да отец Спиридоний едва в силу убрались по кельям, воссылая хвалу создателю за дарование гостя, ради которого разрешили они надокучившее сухоядение, сменили гороховую лапшу на диковинные стерляди и другие лакомые яства.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Олег Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Дмитрий Бирман

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Приволжскому федеральному
округу ПИ № ТУ 52–00924
от 20 февраля 2014 г.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Кирилл Анкудинов (Майкоп)

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Нина Зверева

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Роман Сенчин (Москва)

Евгений Эрастов

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Рукописи принимаются
по электронной почте:
zemlyaki-nn@yandex.ru
или по адресу:
издательство «Книги»
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2.
Тел. (831) 412-16-04

Редакция не вступает в переписку.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Ответственность
за достоверность фактов несут авторы
материалов. Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.
При перепечатке материалов ссылка
на журнал «Нижний Новгород»
обязательна.

Подписано к печати 19.11.2014
Тираж 1100 экз.
Цена свободная

12+

Отпечатано в типографии «Растр НН»
603024, Нижний Новгород,
ул. Белинского, 61